

*СТРАНИЦЫ
МИЛБУРНСКОГО
КЛУБА, 4*

*The Annals of the Millburn Club, 4
Slava Brodsky (ed.)*



2014



Надежда
Брагинская



Слава
Бродский



Игорь
Ефимов



Наталья
Зарембская



Петр
Ильинский



Зиновий
Кане



Яна
Кане



Мир
Каргер



Игорь
Мандель



Юрий
Окунев



Элизер
Рабинович



Юрий
Солодкин



Владимир
Шнейдер

ISBN 978-1-936581-13-9

90000



9 781936 581139

*СТРАНИЦЫ
МИЛБУРНСКОГО
КЛУБА, 4*

*The Annals of the Millburn Club, 4
Slava Brodsky (ed.)*



*Под общей редакцией
Славы Бродского*

Manhattan Academia

Страницы Миллбурнского клуба, 4
Слава Бродский, ред.
Анастасия Мандель, рисунок на титульном листе

The Annals of the Millburn Club, 4
Slava Brodsky (ed.)
Stacy Mandel, drawing on the title page

Manhattan Academia, 2014
www.manhattanacademia.com
mail@manhattanacademia.com
ISBN: 978-1-936581-13-9
Copyright © 2014 by Manhattan Academia

В сборнике представлены произведения членов Миллбурнского литературного клуба: Славы Бродского, Игоря Ефимова, Натальи Зарембской, Петра Ильинского, Зиновия Кане, Яны Кане, Мира Каргера, Игоря Манделя, Юрия Окунева, Элизера Рабиновича, Юрия Солодкина и Владимира Шнейдера.

This collection features works by members of the Millburn Literary Club: Slava Brodsky, Igor Efimov, Petr Ilyinskii, Zinovy Kane, Yana Kane-Esrig, Mir Karger, Igor Mandel, Yuri Okunev, Eliezer Rabinovich, Vladimir Shneider, Yuri Solodkin, and Natalie Zarembsky.

Содержание

Предисловие редактора _____	5
<i>Владимир Шнейдер</i>	
Памяти Надежды Семеновны Брагинской _____	9
<i>Слава Бродский</i>	
Московский Бридж. Начало _____	21
<i>Игорь Ефимов</i>	
Ричард Бартон (1925-1984) _____	81
<i>Наталья Зарембская</i>	
Определяя время _____	107
<i>Петр Ильинский</i>	
Век просвещения _____	120
<i>Зиновий Кане</i>	
Стихотворения _____	157
<i>Яна Кане</i>	
Гравюра _____	164
<i>Мир Каргер</i>	
Стукачи в интерьере _____	171
<i>Игорь Мандель</i>	
Писатель и социосистемика: прозрения Владимира Сорокина ____	201
<i>Юрий Окунев</i>	
Некто Розинер _____	249
<i>Элиэзер Рабинович</i>	
«Гамлеты в хаки стреляют без колебаний» _____	273
<i>Юрий Солодкин</i>	
Его божеством было Слово _____	290

Предисловие редактора

Я начинаю предисловие к четвертому выпуску сборника «Страницы Миллбурнского клуба» с печальных слов. 10 апреля этого года, не дожив немногим более месяца до своего девяностолетия, скончалась Надежда Семеновна Брагинская – известная и как выдающийся, авторитетный пушкиновед, и как ведущая передачи «Живое слово» на русском радио в Америке. Надежда Семеновна (Надежда – как мы называли ее в кругу близких друзей) сделала, по некоторым прикидкам, около пятисот передач на радио. И если эти студийные записи были бы когда-то упорядочены, то они могли бы составить серьезное литературоведческое собрание.

Надежда стояла у истоков зарождения Миллбурнского клуба. 5 августа 2004, когда состоялось его первое заседание, она представила свою новую книгу «О Пушкине». И потом, на следующих заседаниях, она нередко выступала с сообщениями. Она была автором публикаций во всех сборниках клуба, вышедших к настоящему моменту.

Июньское заседание клуба было посвящено памяти Надежды Брагинской. С воспоминаниями о ней выступили ее друзья и просто те, кто ее знал – Владимир Шнейдер, Елена Алексеева, Раиса Сильвер, Юрий Магаршак, Ирина Гоберник. Конечно, я тоже говорил о Надежде в тот вечер.

Надежда была моим близким другом. Мы познакомились с ней в 2001 году, на дне рождения Володи Шнейдера. С тех пор и начал существовать наш «тройственный союз». Мы часто встречались только втроем. Пили водку (а Надежда именно водку предпочитала всем другим алкогольным напиткам) и вели «умные беседы». Чаще всего такие встречи происходили в квартире Надежды, на Рузвельт-Айленд. И в своих воспоминаниях в этом сборнике Володя такие встречи подробно описывает. Иногда мы встречались где-то еще (обычно у меня дома), и тогда уже – в расширенной компании.

В 2002-м, 19 октября, в день Лицея, мы (Надежда, Володя, Джулиан Лоуэнфельд и я) решили поехать в *Arrow Park, Monroe, NY*. За тридцать лет до этого там был создан сад поэтов (*poet's garden*). В нем были установлены бюсты Александра Пушкина, Тараса Шевченко, Янки Купалы и Уолта Уитмена (*Walt Whitman*). Когда мы туда приехали, парк был закрыт. Но мы этого тогда не знали. И ничего не подозревая, расположились за столиком рядом с бюстом Пушкина, намереваясь отпраздновать лицейскую годовщину. К нарушению порядка, состоящему в том, что мы находились в закрытом для посетителей парке, мы собирались добавить еще одно

общественное нарушение – распить две бутылки вина, которые принесли с собой.

В этот момент перед нами появилась служительница парка. Она объявила, что парк закрыт, и попросила нас немедленно его покинуть. Мы, конечно, были ужасно расстроены таким поворотом событий. Пытались уговорить ее дать нам возможность провести в парке хоть какое-то время. Пытались объяснить ей, что значит имя Пушкина для любого русского человека. Хотя русскими нас (особенно Джулиана) можно было считать все-таки с некоторой натяжкой. Пытались мы ей также сказать что-то о том, какой особый это был день. Но она продолжала довольно жестко настаивать на своем. В какой-то момент она все-таки посмотрела туда, куда смотрели все мы, на памятник Пушкину, и ее жесткость вдруг исчезла.

«Откуда эти прекрасные цветы?» – спросила она. Мы начали что-то лепетать. Говорили, что сегодня особый день – день Лицея. Что мы не знали, что парк закрыт. Что мы только хотели принести сюда цветы... И тут служительница парка сказала, что она уходит, а мы можем оставаться так долго, как мы этого пожелаем. Она даже согласилась сфотографировать нас у памятника. На снимке – Джулиан (в верхнем ряду), я (в темных очках), Надежда и Володя, позирующие перед объективом фотоаппарата в руках служительницы парка.



Служительница ушла. И в дело пошел штопор. Мы стали поднимать бокалы, поименно вспоминать всех лицеистов и, по-

моему, даже кричать «ура!» после каждого имени.

На этой странице вы видите Надежду и Володю, читающих выдержки из книги К. Я. Грота «Пушкинский Лицей (1811 – 1817)».



Фотография Надежды на задней обложке нашего сборника была сделана мной тогда, 19 октября 2002 года. Этот день я часто потом вспоминал. Но сейчас, когда Надежды уже больше нет среди нас, я вспоминаю о нем с особой теплотой и, конечно, с грустью.

* * *

А теперь о сборнике 2014 года, который впервые выходит без участия Надежды Брагинской. Он собрал двенадцать авторов. Помимо Владимира Шнейдера, который до сих пор никогда не публиковался в сборнике (хотя всегда принимал активное участие в работе клуба), у нас два дебютанта – Зиновий Кане и Юрий Окунев.

В этот раз в сборнике пять литературоведческих работ – Натальи Зарембской, Игоря Манделя, Юрия Окунева, Элизера Рабиновича и Юрия Солодкина. В поэтическом жанре выступают Зиновий Кане и Яна Кане. Представили в сборник свои работы и наши прозаики – Игорь Ефимов и Петр Ильинский. Еще готовя сборник 2013 года, я призывал членов нашего клуба к написанию воспоминаний, связанных с их профессиональной деятельностью (имея в виду в основном советский период). На мой призыв тогда откликнулись Мир Каргер и Михаил Малютов. В этот раз Мир Каргер опять выступил со своими воспоминаниями. А вот Михаил Малютов написание мемуаров отложил до лучших времен (когда ему за один месяц не надо будет закончить четыре научные статьи).

Зато я сам решил откликнуться на свой призыв. Хотя то, что я публикую в этом сборнике, лишь условно может быть отнесено к воспоминаниям, связанным с профессиональной деятельностью.

Одно общее замечание. В сборнике довольно много цитат. И в них иногда можно найти стилистические или пунктуационные шероховатости. Однако все эти цитаты даются, как правило, без редакционной правки.

Наш четвертый сборник выходит в тот момент, когда мы отмечаем десятилетие клуба. И я надеюсь, что сборник будет принят читателями с не меньшим (по сравнению с предыдущими выпусками) интересом.

В заключение я хочу поблагодарить Рашель Миневиц за большую помощь, которую она оказала мне в процессе подготовки сборника к публикации.

Слава Бродский
Миллбурн, Нью-Джерси
19 октября 2014 года



Владимир Шнейдер - по образованию, искусствовед, историк архитектуры. Закончил искусствоведческое отделение «Академия Художеств» - института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Перед этим закончил технологический институт. До переезда в США работал экскурсоводом в Санкт-Петербурге. В Америке с 1995 года. Занимается антикварным бизнесом. Женат. Живет в Нью-Йорке.

Памяти Надежды Семеновны Брагинской

*Женский голос, как ветер, несется,
Черным кажется, влажным, ночным,
И чего на лету ни коснется –
Все становится сразу иным.
Заливает алмазным сияньем,
Где-то что-то на миг серебрит
И загадочным одеяньем
Небывалых шелков шелестит.
И такая могучая сила
Зачарованный голос влечет,
Будто там впереди не могила,
А таинственной лестницы взлет.*

Анна Ахматова

10 апреля 2014 года скончалась Надежда Семеновна Брагинская, мой дорогой и светлый друг. Всего полтора месяца не дожидаясь она до своего 90-летия и почти до самого конца сохраняла присущую ей жизненную бодрость и хорошее расположение духа - и это несмотря на тяжкие страдания, которые причиняла ей болезнь. Мне выпало счастье знать Н.С. на протяжении последних пятнадцати лет ее нью-йоркской жизни. Поэтому здесь я буду говорить лишь о том, свидетелем чему был сам. Наверняка, другие люди, знавшие Н.С. дольше и лучше меня, расскажут о ней полнее.

С ее уходом не стало одной из самых замечательных - а для тех, кто знал ее ближе, - и колоритных фигур русскоязычной эмиграции. Когда я говорю «колоритных», это вовсе не означает, что Н.С. отличалась экстравагантностью внешнего облика или какой-то особой манерой одеваться. Но вся ее удивительная, чрезвычайно живая и отзывчивая натура обладала каким-то

редкостным и многогранным богатством палитры. Имея репутацию признанного ученого-пушкиниста, была она еще и публичным человеком – то есть человеком, чей голос, чей облик были известны многим людям в Америке благодаря ее еженедельным литературным передачам на русском радио «Надежда», телевизионным выступлениям и статьям в русскоязычной прессе. Она была автором вышедшей в Нью-Йорке книги о Пушкине.¹

Попала Н.С. в Америку сравнительно недавно, в 1992 году, приехав ненадолго погостить к своему любимому американскому ученику, которому еще в России, в Петербурге, давала уроки русского языка. По причине внезапно обнаружившейся тяжелой болезни сердца она «задержалась» здесь до конца своих дней.

Впервые я увидел Надежду Семеновну в ее небольшой квартирке (по-нью-йоркски – студии) на Рузвельт-Айленде в Нью-Йорке в 1999 году, когда приехал передать ей запоздалый на целых четыре года привет от общего знакомого по Петербургу. Предстала она передо мной этакой весьма пожилой, тучной и несколько манерной «матроной», повадкой похожей на Анну Андреевну Ахматову последних лет. Говорила негромко, медленно, нарочито растягивая слова. Было заметно, что она играет. Поглядывала она на меня с некоторым недоверием, всем своим видом словно говоря: «А это еще кто напросился ко мне в гости? Знакомство со мною нужно, молодой человек, заслужить! Вы, наверное, даже не подозреваете, с кем говорите!» Именно этой мыслью поначалу Н.С. и пыталась меня, не без успеха, ошеломить. Полагаю, я был далеко не первой ее жертвой в этом роде.

Н.С. изволила начать беседу в тоне *causerie* (светской болтовни), под кружевом которой то и дело мелькали громкие имена ее «друзей-небожителей». При этом известные актеры Басилашвили и Лановой именовались Басиком и Васькой. «Я была на всех репетициях, когда Гога ставил в БДТ "Пиквикский клуб"», – говорила Н.С. Нередко она оставляла мне самому догадываться *who is who*, когда ученые-пушкиноведы, оперные исполнители, писатели, директора музеев и заповедников запросто величались Яшкой, Димкой, Наташей, Ниночкой, Артурчиком, Тамарочкой и т. д.

Некоторые ее характеристики отличались неподражаемой оригинальностью. Так, услышав имя известного ленинградского поэта, я, улучив момент, сказал, что тоже был с ним знаком. В ответ Н.С. после многозначительной паузы вымолвила: «О, это был ходок... великий ходок!» Говорила она и о своей полной опасностях правозащитной деятельности, за что была удостоена «сахаровской медали», которую несколько раз грозилась показать, но так и не показала.

Обстановка в ее единственной комнате, в которой помещалось

¹ Брагинская Н.С. О Пушкине. Green Lamp Press, New York, 2004.

сразу все – тахта-кровать, письменный рабочий стол, обеденный стол, диван, два книжных шкафа, пузатый телевизор (каких здесь давно уже нет) и крохотная кухонька за перегородкой, где сама Н.С. едва ли могла передвигаться свободно, – была более чем скромной. Единственное окно, с горшочками цветов на подоконнике, выходило на речку, или канал, отделявший ее остров от района Квинс. Причем весь вид, иначе бы живописный, портили громадные, ярко раскрашенные и вечно дымящиеся трубы какого-то предприятия. Н.С. любила повторять, что цыганка нагадала ей, что она будет жить и умрет на острове. На стене у книжного шкафа в рамке висел портрет Пушкина – тропининский; между кроватью и ее рабочим столом – раскрашенный акварелью графический портрет самой Н.С., выполненный в жанре дружеского шаржа ее другом Славой Бродским (впрочем, едва ли отвечавший ее собственным художественным пристрастиям); несколько графических картинок-коллажей; диплом Российского фонда культуры с признанием заслуг Н.С. в связи с 200-летием со дня рождения Пушкина; небольшая черно-белая фотография неизвестного мужчины над письменным столом – по-моему, ее брата (иногда она упоминала имя своей племянницы, живущей где-то в России, которую тоже зовут Надежда). Помню еще стоявшую в рамке на книжной полке фотографию Иосифа Бродского с дымящейся сигаретой в руке – если не ошибаюсь, с дарственной надписью.

Наш разговор поначалу не клеился – полагаю, из-за самой Н.С., – но вскоре она сменила гнев на милость. Поменялась и тональность. (Потом я не раз был свидетелем таких превращений.) Надменность куда-то исчезла, и она вдруг стала простой, милой и сердечной. Трогательно рассказала о себе, о своей непростой жизни, к тому же сыгравшей с ней на старости лет коварную и нелепую шутку, забросив ее сюда, в Америку, в совершенно чуждые ей условия жизни. Причем, обиднее всего было то, что ехала она сюда еще вполне здоровым, полным сил человеком, и вдруг, в один миг, сделалась почти прикованным к постели инвалидом.

С этого вечера мы стали друзьями, несмотря на значительную разницу в возрасте. Н.С. была ровесницей моих родителей. Мои дружеские чувства к Н.С. были основаны как на взаимной симпатии, так и на беззаветной любви к Пушкину. И, конечно, еще на многолетней сердечной привязанности к пушкинским местам Петербурга, Царского Села и Псковщины, которые мы оба хорошо, почти досконально, знали. Н.С. когда-то работала в Пушкинском заповеднике, а мне эти места были знакомы по экскурсоводческой деятельности. Это была наша общая с ней *родина*, которую мы навсегда и безоговорочно приняли в свое сердце, самозабвенно любили и о которой могли говорить без усталости. Особенно интенсивно все это переживалось здесь, на «других берегах». Это были наши общие с ней «все яблоки, все золотые шары».

В этот же первый приход к Н.С. я выслушал сагу о ее *гениальном* ученике и переводчике Пушкина на английский язык Джулиане Лоуэнфельде и его многочисленных *коварных* женах. К женам же, как *виду*, Надежда Семеновна питала нескрываемую ненависть. В том числе это относилось к жене самого «верховного божества» – Пушкина, для характеристики которой применялись редкие в лексиконе Н.С. выражения: «Вы только представьте себе: эта ... возила детей в Сульц, к дяде Джоржику!» Затем, по мере убывания, следовали жены Джулиана (на моей памяти их было четыре или пять). Разумеется, все эти годы не оставалась в стороне и моя собственная жена, а также жена Славы Бродского – как, наверное, и многие другие, мне лично неведомые жены.

Н.С. была человеком *позы* и применительно к собственной персоне практиковала единственную форму отношения: трепетного, благоговейного преклонения. Все должны были хорошенько усвоить, что Н.С. и Пушкин находятся в совершенно особых, недоступных для простых смертных, отношениях – отсюда вытекали и правила поведения. Впрочем, я охотно допускаю, что не для всех ее друзей это было так. Что греха таить, Н.С. была весьма непростым человеком. Следовало сделать усилие (впрочем, не слишком обременительное), чтобы до конца ее принять и полюбить.

По какой-то, ей одной известной, причине предпочитала она меня видеть непременно в компании со Славой Бродским, нашим общим другом. При этом тщательно оберегала нас от излишних, по ее мнению, знакомств с другими ее друзьями. Особенно ревниво она прятала от нас Джулиана. Справедливости ради, следует упомянуть единственный случай, когда Джулиан тоже присоединился к нам, но это была особая, «внеплановая» встреча: мы выезжали за город, в небольшой парк неподалеку от городка *Монроэ* в штате Нью-Йорк, к памятнику Пушкину, где отмечали 19 октября – лицейскую годовщину. Было это в 2002 году, если память мне не изменяет.

Приходили мы к ней примерно раз в месяц, иногда чаще, пока обстоятельства позволяли. Это были не просто дружеские застолья, а еще и своего рода литературные посиделки, где Слава и Н.С. – люди активно пишущие – охотно отдавали на общий суд свои еще не опубликованные тексты. Она любила слушать наше мнение, ибо мы мыслили по-разному, и всерьез принимала замечания, если таковые были. Наверняка, помимо нас у нее были и другие слушатели и советчики. Но по всему было видно, что мы ей тоже были нужны. Конечно же, мы еще много болтали о том – о сем, как это обычно водится за столом с водочкой: шутили, смеялись, сплетничали, рассказывали анекдоты. В этом смысле наша компания мало чем отличалась от любой другой дружеской компании, где людей связывали взаимная симпатия и общность интересов. Но был еще и свой, особый, во многом неповторимый

шарм в нашем «тройственном союзе», который мы все очень скоро научились ценить и любить. Должен признаться, что только с уходом Н.С., когда наши встречи прекратились, я по-настоящему понял, насколько они были мне дороги и нужны. Не сомневаюсь, что и Слава полностью разделяет эти мои чувства.

Разумеется, я видел Н.С. и помимо наших встреч у нее. Не раз я возил ее к Славе на заседания Миллбурнского литературного клуба, где нередко она была докладчиком. Была она несколько раз и у меня. Ходили мы с ней в оперу, в театр, в музеи и на выставки, когда здоровье ей позволяло. Иногда выезжали за город. Но это было редко. Конечно, мы чуть ли не ежедневно общались по телефону, но это было другое.

Возвращаясь к посиделкам у нее, следует сказать, что за ее обеденным столом мы сидели на своих, раз и навсегда строго отведенных местах; пили чудесную Славину «клюковку» из маленьких хрустальных рюмочек, ели разные вкусности, которые готовила сама Н.С.; что-то всегда приносили и мы. Принимая нас, Н.С. входила в образ хлебосольной хозяйки, считая своим долгом накормить нас до колик. Она не желала и слушать наши протесты – что мы, дескать, уже сыты и «больше уже не можем» – и заставляла нас есть снова и снова. Я потом пару дней приходил в себя после ее традиционных блинчиков; на другой день обязательно полагалось звонить и за них благодарить – это было обязательной частью церемонии.

Величала нас Н.С. ласково-уменьшительными именами: Славочка и Володечка, при этом постоянно путая наши имена. Это превращало нас со Славой чуть ли не в одно лицо, но мы не были в обиде и не протестовали. Мы скоро привыкли к ее невинным, в сущности, чудачествам, даже любили их и с удовольствием ей подыгрывали. Нередко она впадала в позу ревностного хранителя каких-то, одной ей ведомых, традиций: «Вы что, с ума сошли, Славочка, – говорила, обращаясь ко мне, Н.С. – Как вам могла прийти в голову мысль внести в мой дом бумажные тарелки! Вы бы еще чай в пакетиках принесли! Я бы вас сразу навсегда выпроводила за дверь. Прощаю вас на этот раз только потому, что это не ваша вина, а, скорее, ваших родителей, которые не привили вам правила хорошего тона». Все это нисколько не мешало нам потом пользоваться бумажной посудой и заваривать чай из пакетиков. Или, садясь за стол: «Володечка, Славочка, – мальчики, обязательно попробуйте вот эту бесподобную селедочку!» – и в тот самый момент, когда мы в предвкушении кулинарного блаженства подносили вилки с «бесподобной селедочкой» ко рту, следовал грозный окрик: «А вы руки помыли, прежде чем плюхнуться за стол? Немедленно мыть руки! Смотрите мне – в последний раз прощаю! В другой раз непременно выпровожу обоих за дверь!»

Следует сказать, что Н.С. просто обожала откровенный подхалимаж. При этом она, как правило, начинала восхвалять себя

сама, не дав нам еще и открыть рот. Ей почему-то обязательно нужна была такая «разминка». «Вы только подумайте, мальчики, – говорила она с пафосом, – 20 лет безвозмездной деятельности на радио!» Или: «У меня все спрашивают: Н.С., когда вы все успеваете? Как вам все удается?» Или: «Мне только что позвонили из Пушкинского дома и сказали, что моя последняя статья – совершенно новое слово в пушкиноведении...»; «Меня наградили почетной медалью...»; «Меня выбрали действительным членом...»; «Мне позвонил из Вашингтона посол...»; «На Мойке, 12 мне сказали, что никогда ничего подобного еще не слышали...»; «Мне позвонили из Италии и спросили...» и т. д.

Все это время мы должны были дружно восклицать «О!», цокать языком, строить слащаво-умилительные рожи, всячески поддакивать и кивать головами. Эта разминка обычно продолжалась несколько минут.

Наряду с первой была еще и вторая «вступительная» тема: Н.С. всегда в нашем присутствии, говоря словами Михаила Михайловича Зощенко, отчаянно кокетничала. Переходом к теме служило как бы невзначай брошенное: «Перед вашим приходом я посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась. Нет, ни за что! – решила я. Я не могу показаться моим мальчикам в таком жутком виде. Я уже было собиралась вам звонить и отменить встречу». Уразумев, в чем дело, мы тут же в один голос, с наигранным энтузиазмом, пытались убедить Н.С. в обратном. Уверяли ее, что она прекрасно выглядит, и все тому подобное. Н.С. отмахивалась: «Ой, перестаньте, даже противно слушать!» В рамках этой второй разминки обычно отпускались колкости в адрес наших жен – типа: «Володечка, Боже мой, как вы похудели! Что, Танечка совсем перестала вас кормить?» Или: «Славочка, скажите, с каких это пор вы отрастили эту безобразную бороду, которая вас так уродует? Не могу понять, как Наташенька вас еще терпит!» При этом робкое лепетание провинившегося Славы, что, дескать, бороду он не сбывая носит уже более 30 лет, совсем не принималось в расчет. Покончив с «обязательной программой», мы переходили к «произвольной», которая и составляла основное содержание встречи. На дни рождения Н.С. мы со Славой всегда вместе с шуточным стихотворным поздравлением в духе куртизанских од, где славословия, восхваления и чудовищные преувеличения всевозможных заслуг и достоинств Н.С. почти выходили за всякие пределы, вкладывали в поздравительный конверт деньги – на подарок. В тот момент, когда она это замечала, непременно разыгрывалась сцена жестокой, кровной обиды, навечного вычгеркивания наших имен из числа ее друзей. Тайфун «благородного негодования» обещал вот-вот смести все преграды на своем пути. Но вдруг, каким-то чудом, все улаживалось, и Н.С. нас прощала, бормоча что-то насчет нашей недостаточной интеллигентности и дремучей невоспитанности. Эта сцена, с

некоторыми вариациями, повторялась из года в год.

Надежда Семеновна любила играть роль хранительницы традиций, уклада – некоей жрицы, служительницы на алтаре своего божества, строго следящей за пунктуальным соблюдением культа. Мы были обязаны, под страхом «вечного отлучения», помнить и поздравлять Н.С. с лицейской годовщиной, с днем рождения Пушкина, который совпадал с днем рождения самой Н.С. (впрочем, если не брать в расчет разницу в стилях летоисчисления), чем она невероятно гордилась. Мы были обязаны также помнить день и час смерти Пушкина и многое, многое другое. По правде говоря, на все это мы мало обращали внимания, что служило поводом для неминуемого упрека во время очередной встречи: «Володечка, а вы знаете, что вы единственный, кто не поздравил меня с ...»

Ритм жизни Н.С. задавался литературным календарем: датами рождений и смерти русских писателей. В соответствии с этим она и делала свои передачи. Ее деятельность на русском радио в Америке была подвигом. И дело не только в количестве передач, которых было чуть ли не 600, а в той самоотверженной и всецелой отдаче делу служения на алтаре великой русской литературы. Н.С. тщательно готовила свои выступления и всегда очень волновалась. Она говорила из дома в телефонную трубку и никогда не знала, сможет ли довести передачу до конца из-за скверного самочувствия, а нередко продолжала говорить прямо во время сердечного приступа. Н.С. рассматривала свои радиопередачи как высокое жертвенное служение, как то главное, ради чего жить стоит. «Живу от передачи к передаче», – говорила она. Несколько раз она и меня приглашала в свой эфир в качестве гостя, но при этом не давала вымолвить и слова, беспрерывно перебивала и все время говорила сама. Выступал у нее и Слава. Уж не знаю, так же ли она обходилась с «генералами» (известными писателями, пушкинистами, директорами музеев и т.д.), которые нередко составляли своего рода «декорум» ее передач.

Хотя, по большому счету, я глубоко убежден, что вся уникальность ее передач заключалась именно в ней самой – даже не в теме передачи и не в ее гостях. У Н.С. был дар: настоящий, особый, единственный, только ей присущий. Я бы определил его как способность жить так, как *будто ничего не случилось*. Она вела свои передачи так, как если бы навсегда застряла где-то, в каком-то одном времени. К примеру, о дуэли или смерти Пушкина она говорила так, как будто была их очевидцем. Все дело было в точности и подлинности интонации, то есть в том, что разучить или придумать нельзя. Она начинала примерно так: «29 января 1837 года, в 2 ч. 45 мин. пополудни, перестало биться сердце Александра Сергеевича Пушкина», – далее следовала долгая пауза и глубокий вздох с еле слышным грудным звуком, что-то среднее между «н» и «м». И этот звук, это придыхание каким-то непостижимым образом все меняли! О, на сей раз это не была поза или отработанный

прием. Это, воистину, «чудотворила» сама Надежда Семеновна Брагинская! И каждый, кто слышал ее в этот момент, неизбежно попадал под ее чары и уже не мог больше оставаться равнодушным слушателем. Происходило именно самое настоящее чудо, и чудотворцем была Н.С. Я не думаю, что в моих словах есть преувеличение. Ей потом часто звонили ее слушатели и в один голос повторяли нечто вроде того, что они ничего подобного никогда в своей жизни не слышали и что они еще живы только потому, что есть она, ее передачи и т.д. Ей был важен такой *feedback*.

При этом Н.С. в своих литературных передачах не сообщала чего-то такого, что не было известно ранее, а ее собственные воззрения были давно установившимися и неизменными. Насколько я могу судить, ее представления о том, *что могло быть на самом деле*, редко выходили за пределы целомудрия советского разлива. Ей ненавистна была мысль, что Марина Ивановна Цветаева могла испытывать сильные чувства не только к лицам противоположного пола. В ее передачах то и дело мелькали советизмы типа «самодержавный режим», «декабристская эпоха», «вольнолюбивые стихи». Но все это, в сущности, не имело никакого значения, ибо материалом чуда было не то, что Н.С. говорила, а сама Н.С.

Самым удивительным во всем ее облике, во всей ее манере *жить* было то, что она позволяла себе роскошь *не замечать* Америку.² Когда я говорю «не замечать», это отнюдь не означает, что Н.С. игнорировала страну, в которой ей суждено было прожить остаток своих дней. Напротив, она очень любила Америку и высоко ценила ее *исконные начала*. Я хочу лишь сказать, что все то, что Америка обычно делает с людьми, в нее приехавшими, неизбежно меняя их на тот или иной американский лад, ее не касалось. Она не только не позволила Америке себя изменить – но, оказавшись здесь помимо своей воли, она намеревалась ни больше ни меньше как изменить саму Америку.

Н.С. решительно отказывалась смириться с тем, что по улицам Нью-Йорка как ни в чем не бывало бродили улыбчивые, добродушные люди всех цветов кожи, которые, однако, никогда не читали Пушкина. Это приводило ее в отчаяние. Она всерьез задавалась вопросом: в чем же истинный смысл жизни, скажем, такого полезного и деятельного человека, каким был бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, если он ничего не слышал о Пушкине.

² Это, в частности, выражалось в том, что все не сговариваясь согласились величать ее уважительно, по имени-отчеству: «Надежда Семеновна», что звучит совсем не по-американски. Я, признаться, не помню другого случая в моем окружении, где бы человека, жившего в Америке более 20 лет, продолжали называть по имени-отчеству. В ее телефонном автоприветствии было записано по-русски: «Здравствуйте, это Надежда Семеновна...»

Н.С. не скрывала своих «прозелитских» намерений в отношении «земли пребывания», хотя и понимала, что ее «миссионерские» возможности весьма ограничены, поскольку она, в сущности, не знала английского языка. Впрочем, это ее не смущало. Высота цели оправдывала недостаток средств. Я был свидетелем одной из «миссионерских атак» Н.С., целью которой была ее темнокожая *home-attendant*. Н.С. с пафосом говорила ей, указывая на портрет Пушкина: «*Pushkin – Russian poet, black ... nigger... hannibal*». Одному Богу известно, что бедная женщина могла вынести из этой «проповеди», не приди я ей на помощь.

Но Н.С. не унывала. Она знала, что в ее арсенале имеется оружие куда более крупного калибра. И вот тут-то на поле битвы выступал ее американский воспитанник Джулиан. Она хотела верить, что переводы Джулиана откроют Пушкина Америке и спасут хотя бы немногих избранных. И тем самым дело ее жизни, особенно после столь коварного поворота судьбы, не останется бесплодным. Было что-то воистину трогательное и даже трагичное в этом ее донкихотстве. Всем памятна ее любимая присказка: «Ох, и попил же он моей кровушки!» Я слышал эту фразу не раз во время их совместной работы над книгой джулиановских переводов из Пушкина «Мой талисман», которая, по замыслу Н.С., призвана была покорить Америку.³

Н.С. держала Джулиана, или Джулианчика, как она его ласково называла, от всех отдельно, только для себя, словно любимую дрессированную собачку или диковинную птичку в клетке, ревниво оберегая своего «мальчика» от ненужных, по ее мнению, встреч. Она очень им гордилась и делала все, что было в ее силах, чтобы обеспечить ему русскую карьеру. В этом смысле ее деятельность увенчалась полным успехом. Помню, с какой гордостью она мне рассказала, что известный пушкинист В.С.Непомнящий где-то сказал, что, дескать, раньше все в один голос говорили, что Пушкин непереволим, и потому только одни русские ставят его выше всего, а вот теперь мы имеем переводы Джулиана Лоуэнфельда... Или: «Володя, ты представляешь: Пушкин впервые в Америке на английском языке! Я так счастлива, что дожила до этого дня!»...

³ *My Talisman / Мой талисман: The Poetry of Alexander Pushkin by Julian Henry Lowenfeld. New York: Green Lamp Press, 2003.* К чести Америки следует заметить, что она и сегодня, через десять лет после появления «Моего талисмана», «спокойно совершает свое поприще», безмятежно пребывая во мраке, непроницаемом для лучей «солнца русской поэзии». Несправедливо утверждать, что эту книгу здесь совсем не заметили. Разумеется, заметили – те, кому замечать положено, пара профессорско-славистов, написавших свои рецензии: язвительно-ругательную (Carol Apollonio Flath, Duke University. Rev. of *My Talisman. The Poetry of Alexander Pushkin*, trans. J. H. Lowenfeld «*Pushkin Review*», 8-9 (2005-06), 153-157) и снисходительно-хвалебную (Adrian Wanner, University of Pennsylvania. J. H. Lowenfeld, trans., *My Talisman: The Poetry of Alexander Pushkin. «Slavic and East European Journal»*, 52, no. 3 (Fall 2008), pp. 458-459).

«Меня все только и спрашивают: Надежда Семеновна, как вам удалось найти и воспитать такого гениального мальчика?» Она очень хотела во все это верить, и, разумеется, зная Н.С. и искренне любя ее и щадя, я никогда не мог при ее жизни позволить себе «крамолу» публичного сомнения в справедливости таких высказываний.⁴

Было что-то болезненное в их отношениях, ибо Н.С. любила Джулиана той самоотверженной и требовательной любовью, которая не оставляла места для «мирного» сосуществования с другими близкими ему людьми. Я часто слышал от нее жалобы и упреки в адрес Джулиана. Она очень страдала от того, что не получала от него и малой доли ответного внимания и тепла. По душевному великодушию, Н.С. склонна была видеть в этом признаки *гениальности* Джулиана.

«Понимаешь, Володечка, – говорила она мне, – он ведь гений! А гений – это не простой человек. Какой с гения спрос?!» Она заранее готова была простить ему все. Помню, с какой горечью и недоумением она однажды призналась мне, что лишь случайно, в самый последний момент перед публикацией, обнаружила в гранках русской части второго издания «Моего талисмана» исчезновение нескольких строчек, с упоминанием ее имени и посвящения ей всей книги. Увы, у нее были все основания считать, что это не случайный недосмотр.

Впрочем, на публике, когда они появлялись вместе, все обстояло вполне благополучно. Джулиан не переставая рассыпался в комплиментах в адрес Н.С. Он часто называл ее «моя вторая мама». При этом я не помню ни одного случая, чтобы Н.С. *на людях* назвала Джулиана сыном. Хотя я глубоко убежден, что в сердце своем она питала к нему самые глубокие, истинно материнские чувства, и весь свой огромный *нерастраченный* дар материнской любви всецело и безусловно отдала одному ему. Было что-то глубоко трагичное в этом их странном, «полупроводниковом» тандеме, ибо Н.С. не

⁴ Пожалуй, ни один переводчик Пушкина еще не имел такого успеха в России, какой сегодня имеет Джулиан. Я слышу немало восторженных отзывов о его переводах. Все они – из *русского лагеря*. Действительно, многих изумляет сочетание легко узнаваемой ритмики пушкинских строфы с буквальной точностью самого перевода. Отсюда с фантастическим легкомыслием делается вывод: наконец-то и американцы имеют теперь возможность почувствовать то, что чувствуем мы, и тем самым открыть для себя гений Пушкина! Именно здесь, в этом месте, и делается большая ошибка! В том-то и дело, что ничего *такого* они не чувствуют! Когда я слышу подобные высказывания, у меня возникает ощущение, что речь идет о переводах на русский язык, а не наоборот. Ибо то, что звучит сладкой музыкой радостного узнавания для русского уха, имеет совершенно иной эффект для уха американского. И дело совсем не в том, насколько эти переводы удачны или наоборот, а в том, что при переводе неизбежно теряется сам Пушкин! И если кому-то еще интересно, как реагируют американцы на все эти *русские восторги*, то в ответ они услышат, в лучшем случае, то же, что слышали и раньше: смущенное недоумение.

понимала по-английски и потому не могла, по существу, видеть то, что происходило на самом деле. О Боже, какая же во всем этом была ирония!

Чтобы покончить с грустными вещами, упомяну еще одну большую область ее жизни, служившую источником постоянных огорчений и слез. Я перехожу к теме России, без которой мой рассказ о Н.С. был бы неполным. И здесь судьба вновь сыграла с ней злую шутку. Уезжала-то она, в свое время, погостить, еще из ельцинской, скажем так, «приемлемой» России, куда и собиралась непременно вернуться, если здоровье позволит.⁵ Но с Россией, пока она оставалась в Америке, случилась очередная печальная метаморфоза: она стала вдруг стремительно меняться – увы, в ту самую, еще не забытую, бесноватую сторону, о которой ой как хотелось бы всем поскорее забыть! Я видел, как близко Н.С. принимает к сердцу все то, что там происходит, и предостерегал ее от чрезмерной поглощенности «плохими» новостями. Она назвала меня однажды черствым и бесчувственным человеком в ответ на мои философские разглагольствования – что, дескать, нельзя жить одним негативизмом и что есть еще масса иных, приятных, новостей.

Расскажу об одном, не лишенном занимательности, но и весьма характерном для понимания ее гражданского самочувствия, эпизоде. Как-то я обмолвился Н.С. в телефонном разговоре, что только сейчас, случайно, узнал, что сегодня вечером в одной из православных церквей Нью-Йорка будет проходить заочное (по просьбе вдовы) отпевание Александра Литвиненко, совсем недавно отравленного в Лондоне. Н.С. немедленно сказала: «Я пойду!» Я, признаюсь, был удивлен ее мгновенной реакции, ибо знал, что Н.С. была глубоко равнодушна ко всяким проявлениям «профессиональной мистики», неважно какого толка. «Володя, я пойду!» – решительно повторила она еще раз. И мы пошли. Там нас, помимо священнослужителя, совершавшего обряд, было всего трое: Н.С., я и еще один человек, приехавший специально для этого из Лондона.

Когда я навестил ее в больнице, примерно за две недели до смерти, она только и говорила, что о крымских новостях.

В заключение хочу взять на себя смелость сказать, что Н.С., невзирая на все превратности судьбы, в глубине души могла искренне считать себя очень счастливым человеком, которому удалось с большой полнотой исполнить свое жизненное

⁵ Увы, здоровье так никогда ей и не позволило. По свидетельству близкого друга Н.С., Елены Владимировны Алексеевой, однажды были предприняты практические шаги к такому возвращению: собрали необходимые бумаги, запаслись дефибриллятором, кислородными баллонами, наняли сопровождающего врача и т. д. Отмечу здесь, что Е. В. Алексеева, литературовед, является автором статьи «Граф Нулин – хромой Тарквиний 1825 года», опубликованной под одной обложкой в вышеупомянутой книге Н. Брагинской «О Пушкине» (стр. 236-264).

предназначение. Дожив до весьма преклонных лет, она совсем не утратила юношеский пыл творческого горения, до самых последних дней обдумывала темы новых радиопередач и работала над своими статьями. Выпавшая на ее долю череда серьезных жизненных испытаний, казалось бы, могла сломить и самого крепкого человека. Но ничего похожего на уныние или горечь скепсиса в ее характере не было. Напротив, все помнят ее чрезвычайно радостным, сердечным, сострадательным, живым и остроумным человеком – человеком, которого искренне любили и ценили очень многие люди по обе стороны океана. Сколько подлинной радости, тепла и самой искренней любви получили мы от нее за эти годы! Хочется верить, что и наша ответная дружба служила для нее истинным утешением и отдохновением от всяческих тягестей и страданий, которые в изобилии выпали на ее долю.

Последний раз втроем мы виделись по случаю дня рождения Н.С. в мае 2013 года. Слава сочинил в ее честь очередное очень остроумное поздравительное послание, которое мы несколько раз читали ей по очереди. Н.С. заразительно смеялась и просила читать его снова и снова. В тот раз я впервые, незаметно, снимал ее на видео, совсем не предполагая, что это наша последняя общая встреча. Как жаль, что мы никогда больше не услышим ее голос, ее смех, не увидим ее замечательное лицо, в тот момент озаренное истинным счастьем и любовью.

19 октября 2014 г.
Нью-Йорк



Слава Бродский – выпускник

Московского университета (математического отделения мехмата). Автор многочисленных работ в области прикладной математической статистики. С 1991 года живет в Соединенных Штатах. Свою трудовую деятельность в Америке начал в небольшой компьютерной фирме штата Нью-Джерси, выполняющей заказы компаний Уолл-стрита. Через два года перешел в *Chase Manhattan Bank*. С тех пор работал в крупнейших финансовых компаниях Манхэттена. В 2004 году он начал

свою писательскую карьеру. Тогда была опубликована его первая повесть «Бредовый суп». Затем вышли и другие его книги. Он работает также в различных стилевых направлениях изобразительного искусства. Но особое место в его творчестве занимает керамика, над которой он трудится в керамической мастерской своего дома. Живет с женой в Миллбурне (штат Нью-Джерси). Его веб-сайт: www.slavabrodsky.com.

Московский Бридж. Начало*

В этой небольшой книге опубликованы мои воспоминания о том, как начинался московский спортивный бридж. Я пишу о первых шагах бриджа, о первом десятилетии, с конца 60-х годов до конца 70-х годов двадцатого столетия, когда разрозненные малочисленные группы московских игроков встретились друг с другом в матчах, выехали на свои первые всесоюзные соревнования (в бывшей советской стране) и одержали там первые победы. Также я рассказываю о том, как зарождались первые московские турниры по бриджу. Рассказываю и о людях – ведущих игроках московского бриджа тех лет.

В самых первых всесоюзных турнирах московские команды были единственными представителями российских бриджистов. К тому же из российских игроков именно москвичи одержали первые победы на всесоюзных соревнованиях. Поэтому, наверное, можно сказать, что московский бридж находился у истоков российского бриджа. Хотя довольно скоро к москвичам на всесоюзных турнирах присоединились ленинградцы, которые всего через пару лет стали представлять собой грозных соперников.

С начала 80-х годов я еще время от времени играл в бридж, но мои интересы сместились совсем в другую сторону. Я отдавал все свое свободное время пчеловодному товариществу и всему тому, что с ним было связано. И это продолжалось вплоть до 1991 года, до моего отъезда из России, куда я больше никогда не возвращался. Поэтому все, что происходило в московском и российском бридже,

* Отрывки из одноименной книги о первых шагах спортивного бриджа в советской России (Manhattan Academia, 2014).

начиная с конца 70-х годов, вышло за рамки моего рассказа.

Я пополняю свой рассказ о событиях, в которых участвовал непосредственно, воспоминаниями моих товарищей по московскому бриджу (взятых в основном с сайта www.bridgeclub.ru). Я пишу о событиях печальных, иногда трагичных. Пишу и о событиях радостных, иногда смешных. Пишу я и о людях, большей частью не ординарных. Но более всего мне хотелось передать атмосферу романтики бриджа – самой интеллектуальной игры, когда-либо изобретенной человеком.

О БРИДЖЕ И ПЕРЕТЯГИВАНИИ КАНАТА

В течение многих лет я слышал о бридже. Понятия не имел, что это за игра. Но был заинтригован. Потому что, по слухам, эта игра была на несколько порядков выше преферанса. Позднее кто-то сказал, что в интеллектуальном отношении бридж настолько же выше преферанса, насколько преферанс выше перетягивания каната. И я со временем осознал справедливость этого высказывания.

Я со своими друзьями стал делать первые шаги в бридже в 1966 году. Но насколько популярна в мире эта игра, мы узнали намного позднее.

Сейчас считается, что в бридж играют более 200 миллионов человек. Бридж – это вид спорта, по которому проводятся национальные и мировые первенства. И хотя бридж никогда не включался в программу Олимпийских игр, Всемирная федерация бриджа была признана Международным олимпийским комитетом как международная спортивная организация.

Поклонниками бриджа были (или являются и до сих пор) такие известные люди, как 34-й президент Соединенных Штатов Америки Дуайт Эйзенхауэр, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании более поздних лет Маргарет Тэтчер, один из лидеров коммунистического Китая Дэн Сяопин, один из самых богатых людей на планете Уоррен Баффет, основатель компании *Microsoft* Билл Гейтс, известный сценарист и режиссер Джордж Кауфман, чехословацкая и американская звезда тенниса Мартина Навратилова, чемпионы мира по шахматам Эмануэль Ласкер, Хосе Рауль Капабланка, Александр Алехин, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Борис Спасский, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров, а также такие выдающиеся шахматисты, как Виктор Корчной и Леонид Штейн.

Заключая мой короткий список знаменитостей, которые играли в бридж, я хочу назвать еще два имени. Эти два человека считаются сильнейшими в мире игроками в бридж. Однако они имели бы мировую известность, даже если бы никогда в бридж не играли.

Выдающийся египетский и французский актер Омар Шариф известен по главным ролям во многих голливудских фильмах. Русский зритель наверняка знает фильм «Доктор Живаго», где Омар Шариф сыграл заглавную роль. Омар Шариф в течение

многих лет считался одним из наиболее сильных бриджистов мира. Он был организатором команды "*Omar Sharif Bridge Circus*", которая в 1967 году выступала против самых грозных команд: американских «Далласских тузов» ("*Dallas Aces*") и итальянской «Голубой команды» ("*The Blue Team*" – "*Squadra azzurra*").

Вторая знаменитость – это звезда первой величины Ирина Левитина. Первые 36 лет она жила в России. С 1990 года живет в Соединенных Штатах Америки. Сначала она добилась выдающихся успехов в шахматах. Она побеждала в четырех чемпионатах бывшего Советского Союза (1971, 1978, 1979, 1981). Выигрывала в составе женской команды Олимпиаду (1972, 1974, 1984). Была чемпионкой Америки (1991, 1992, 1993). Имеет звание международного гроссмейстера.

Потом Ирина Левитина добилась не менее выдающихся успехов в бридже. Она выиграла пять мировых чемпионатов среди женщин (*World Women Team Olympiad* – в 1996 году, *Transnational Mixed Teams* – в 2000-м, *McConnell Cup* – в 2002-м, *World Women's Pairs* – в 2006-м и *Venice Cup* – в 2007 году). Более двадцати раз занимала первые и вторые места на турнирах высшего ранга в Америке.

Ирина Левитина – единственный человек в мире, который выигрывал мировые турниры самого высокого ранга в шахматах и в бридже.

В 66-м, когда мы только начинали играть в бридж, мы всего этого не знали. Ну хотя бы потому, что многие события к тому моменту еще не наступили. Единственное, что мы знали, – то, что, по данным Британской энциклопедии, в бридж играли 17 миллионов человек. Хотя никто из нас тогда Британскую энциклопедию в глаза не видел. Но слух такой до нас дошел. А действительно ли в Британской энциклопедии было такое написано, я и до сих пор не знаю. Но каждый раз, когда тот, кому мы говорили о бридже, спрашивал, а что это такое, мы отвечали: ну как же, мол, ты не знаешь, что такое бридж, ведь в бридж, по данным Британской энциклопедии, играют 17 миллионов человек!

«ПРАВИЛА ИГРЫ В БРИДЖ ПО КУЛЬБЕРТСОНУ»

В начале шестидесятых я принадлежал к одной немногочисленной университетской компании (мы учились на мехмате), мужская часть которой время от времени играла в преферанс: Валя Вулихман, Марик Мельников, Леша Поманский, Аркадий Шапиро и я. И вот в 1966 году, когда мы уже закончили университет, в самом начале лета мы оказались в гостях на одной подмосковной даче на Николиной Горе с Михаилом Романовичем Шурой-Бурой – известным математиком, чуть ли не первым тогда в России человеком в вычислительной математике и программировании. Всего несколько лет до этой встречи он читал нам на мехмате курс по программированию. Встреча с ним на даче была запланированным мероприятием. Мы узнали, что Михаил Романович играет в бридж, и надеялись, что он нас этой игре

обучит.

Михаил Романович научить нас играть в бридж согласился. Он объяснил нам основную идею игры. Поведал, что такое гейм и шлем. Сказал, к большому нашему удивлению, что «kozyрем бить не обязательно». И потом научил торговаться. Надо было «открыть» торговлю в самой длинной масти, если на руках было несколько тузов и королей. А партнер открывшего должен был назвать масть, где у него был туз. Остальное не объяснялось. После этого мы начали играть в бридж, торгуясь, как Бог на душу положит.

Но это продолжалось недолго. Буквально через пару недель Валя Вулихман принес с работы какую-то распечатку под названием «Правила игры в бридж по Кульбертсону». Валя сказал мне, что пытался понять эти правила, но так ничего и не понял. Он только понял, что это совсем не то, о чем нам рассказывал Шура-Бура. И предложил мне попытаться разобраться в этой абракадабре. Я стал читать эти странички и в какой-то момент сделал предположение, что это были не правила игры как таковые, а рекомендации, как вести торговлю. Ведь до той поры мы даже не представляли себе, что могут быть какие-то развернутые соглашения о том, как в процессе торговли передавать партнеру специальным образом закодированную информацию о своей карте. Моя догадка о том, что на самом деле представляют собой «Правила игры в бридж по Кульбертсону», оказалась правильной. После этого освоение бумаг стало иметь вполне определенный смысл.

Кто такой Кульбертсон, мы, естественно, тогда не знали. Произносили мы эту фамилию (в соответствии с тем, как она была написана на распечатке) со второй буквой «у» и мягким «л» и ударение делали то на «е», то на «о». И, конечно, представления не имели о том, что *Ely Culbertson* – легендарная личность, основатель контрактного бриджа.

Вскоре через Аркашу Шапиро мы познакомились с одной девушкой из Венгрии. Она очень хотела играть в бридж. И у нее была какая-то ценная книжка по бриджу. Но содержания ее она не понимала. У нас был энтузиазм, но не было никакой книжки. И мы (Аркадий, Валя, Леша и я) стали ходить к этой девушке раз в неделю. Она жила в высотном здании на Котельнической набережной. Девушка переводила с венгерского на русский, что было написано в ее книге. А мы объясняли ей, что это все значит. А заодно и сами учились.

Это была система Чарлза Горена с открытиями от четверок в мажорных мастях (червах и пиках). Хотя уже в то время, и тем более позднее, мало кто открывал четверками в мажоре. Пятикартная масть стала уже почти стандартом для открытия на первом уровне.

В первую нашу встречу девушка угостила нас сушеными фруктами. И это было для нас спасительной подсказкой. Ну и стали мы носить к ней на Котельническую набережную сушеные фрукты. Где-то через пару месяцев хотели мы поменять что-то, но так ни на что и не решились – ни на осетрину, ни, тем более, на копченую

колбасу. Так и таскали ей, наверное целый год, сухофрукты.

Те, кто прослушивал наши разговоры на Котельнической набережной (а в том, что они прослушивались, я думаю, сомневаться не надо), тоже могли, вполне возможно, начать играть в бридж. А вот не догадался я тогда присмотреться к тем московским бриджистам, которые играли от четверок в мажоре!

ПЕРВЫЙ ФОРСИНГ И БУКС

Девушка из Венгрии уехала домой. И мы перестали ходить на Котельническую набережную. А я на основе открытий в мажоре от четверок стал мастерить свою систему. И назвал ее БУКС – Бродского Универсальная Колоссальная Система. Назвал я ее так в шутку. Однако название это закрепилось за системой. Оригинальность БУКС'а состояла (во многом), в защитной системе. Это была очень сложная, но точная система, позволяющая вмещаться в торговлю с четверками. Мы ее называли «Малый БУКС».

Летом 1967 года мы с Валею Вулихманом «обкатывали» БУКС на случайных раскладах. Валя написал программу, которая их создавала и распечатывала. И вот около сотни раскладов были Валею (на его работе, естественно) заготовлены.

На лето мы разъехались. Расклады поделили на две части. И я посылал Валею по почте пятьдесят раскладов с моими очередными заявками в торговле, а он мне – свои пятьдесят. Это продолжалось долго. Но в итоге к концу лета у меня накопился хороший материал для анализа и корректировки системы. И вот по этому БУКС'у стала играть наша пятерка.

Через какое-то время, когда начались первые чемпионаты Москвы, я предложил для нашей команды название «Форсинг», которое всеми было принято. Хотя в то время, когда команда стала так называться, Аркадий Шапиро уже практически отошел от бриджа. От его игры у меня осталось только одно воспоминание: когда Аркаша разыгрывал козырной контракт и начинал отбирать козырей, он всегда сопровождал это словами «проверка документов!».

Зимой 1967 – 1968 гг. мы узнали о существовании университетской команды. Это были молодые ребята с мехмата. Они оканчивали университет на несколько лет позже нас. В команде МГУ было две пары (по крайней мере мы познакомились тогда с двумя парами): Дьячков – Одуло и Малиновский – Петров. От них мы узнали о том, что проводятся всесоюзные турниры в Вильнюсе и Таллине. И они нам сообщили о только что состоявшемся в Таллине турнире 1967 года. Следующий турнир состоялся ранним летом 1968 года в Вильнюсе. Мы узнали, что организаторы Вильнюсского турнира готовы принять команду из Москвы. Это была ошеломляющая новость. И мы определенно загорелись желанием поехать на такой турнир.

Ранней весной 68-го мы еще раз обсудили с командой МГУ

создавшуюся ситуацию. Ведь на поездку в Вильнюс претендовали четыре пары: наши две пары и две пары из их команды: Дьячков – Одуло и Малиновский – Петров. Поэтому мы решили, что сыграем с ними отборочный матч. Этот матч, который состоялся весной 68-го, мы выиграли. И тогда было решено, что в Вильнюс поедет наша команда, пополненная одной парой из команды МГУ.

ПЕРВЫЙ ТУРНИР

И вот в первых числах июня 68-го мы отправились в Вильнюс на наш первый турнир. Московская команда в Вильнюсе была представлена тремя парами: двумя нашими – Марик Мельников играл с Лешей Поманским, а я с Валей Вулихманом – и одной парой из команды МГУ – Аркадий Дьячков играл с Сашей Одуло.

В Вильнюсе еще до самого первого матча мы познакомились с одной приезжей парой. Это были молодые ребята из Львова – Витольд Бруштунов и Дарий Футорский. Они отнюдь не были новичками в бридже. И они нас просто поразили своей эрудицией. Мы жадно проглатывали всю бриджевую информацию, которой они нас щедро снабжали. А такие терминологические перлы, как блетка, фоска, убитка, приводили нас просто в восторг.

От них мы узнали, что в Прибалтике еще в довоенное время существовали клубы бриджа. И что первый турнир прибалтийских стран состоялся в 1934 году в Риге, где команда Литвы заняла первое место, команда Латвии – второе и команда Эстонии – третье. Но что теперь лидерами являются бриджисты Эстонии. И что на турнире в Таллине 1967 года команда «Таллин-1» заняла первое место, «Таллин-2» – второе и «Таллин-3» – третье место. И что Таллинский турнир рассматривается всеми как наиболее престижный всесоюзный турнир и является по существу неофициальным чемпионатом Союза.

Первый матч Вильнюсского турнира мы играли с командой Харькова и выиграли со счетом 8:0. (Все матчи игрались тогда по формуле 4:4, 5:3, 6:2, 7:1, 8:0.) За нашим столом в одной из сдач произошел такой инцидент. В геймовом контракте 4 пики разыгрывающий, отдав уже три взятки, пошел последней пикой, имея на столе туза, даму и маленькую в трефах. У меня в это время была старшая черва и две маленькие трефы. Стало ясно, что король треф находится у моего партнера – Вали Вулихмана. И, таким образом, разыгрывающий может легко взять остальные взятки. Также стало ясно, что если бы король треф был у меня, то я попал бы в сквиз. К сожалению, на тот момент никто нам не объяснил, что такой прием, как психологическое раздумье, это супротив правил. Не знал этого тогда и я. И поэтому решил немного подумать. И я надеялся, что разыгрывающий поймет, в какой ситуации я мог бы оказаться, если бы у меня был король треф. По-видимому, я думал достаточно долго для того, чтобы разыгрывающий это понял. Затем я снес одну из моих маленьких треф. Разыгрывающий сыграл тузом треф сверху, и контракт пошел без одной.

Оказалось, что не только я, но и противники наши не знали правил. Никто из них не выговорил мне за мое неэтичное поведение. Никто не вызвал судью. Не знали правил и болельщики. Один из них (судя по акценту – местный) приблизился ко мне, похлопал меня одобрительно по плечу и сказал: «Психология!»

Вечером я рассказал об этом Витольду. И ожидал от него какой-то похвалы. Но к моему удивлению, он это дело не одобрил. Он рассказал про *Fair play*. И сказал, что думать в ситуации, когда не над чем думать, неэтично. Например, неэтично думать, если у тебя в масти только сингль. И если кто-то задумается, то противник может спросить: «А у вас было над чем думать?» И игрок, если он играет по правилам *Fair play* и если ему не над чем думать, должен был сказать, что, мол, нет, не было над чем думать.

Я слушал Витольда раскрыв рот. Настолько все, что он говорил, было необычно. И я впитывал все, как губка впитывает воду. И что еще меня поразило, так это то, что Витольд был настроен только на победу, только на первое место. И считал это вполне реальным.

Наши дела после матча с командой Харькова пошли не вполне удачно. Пару следующих матчей мы проиграли. И тут нам надо было играть против команды «Таллин-1» – бесспорного фаворита турнира. Ее возглавлял Бернхард Якобсон.

В первой половине матча мы сидели с Валею Вулихманом против пары Якобсона и ждали, когда нас начнут громить. Но ничего такого плохого для нас за столом не происходило. Более того, мне даже стало казаться, что наши дела идут вполне неплохо. За другим столом за нас играли Аркадий Дьячков и Саша Одуло.

После первой половины счет был в нашу пользу с небольшим перевесом. Мы все просто ошалели от такого оборота дела, ходили вокруг столов, разговаривали друг с другом, обсуждая какие-то недавние сдачи, и улыбались счастливыми улыбками. Якобсон был явно недоволен происходящим и что-то сердито выговаривал своим товарищам по команде.

Результат первой половины был настолько неожиданным для всех нас, что мы долго совещались, что же делать дальше. И тут Марик предложил, чтобы мы продолжали играть в прежнем составе. Так мы и продолжили: я с Валею Вулихманом, за другим столом – Аркадий Дьячков и Саша Одуло. Во второй половине мы выиграли еще несколько очков. Этого было достаточно, чтобы победить со счетом 6 : 2.

Валерий Седов в своей замечательной и яркой заметке о бридже на сайте www.bridgeclub.ru пишет о «прекращении безоговорочной гегемонии непобедимых на рубеже 80-х бриджистов Эстонии». В этом Валерий не вполне точен. На самом деле бриджисты Эстонии перестали быть непобедимыми гораздо раньше. И начало их поражений от московских команд произошло как раз в том матче, в Вильнюсе, ранним летом 1968 года, когда еще за московскую команду играл Валя Вулихман. За этим последовала серия поражений эстонских бриджистов от московских команд в том же

году, а также в 1969-м и 1970 годах.

С Вале́й Вулихманом мы жили в одном московском дворе (недалеко от площади трех вокзалов) и были знакомы почти с пеленок. Мы жили с ним в достаточно благополучном доме. Но совсем рядом находилась Пантелеевская улица. И вот оттуда, с Пантелеевки, в наш двор время от времени заходила пантелеевская шпана. В карманах у них были ножи. И говорили они с такими интонациями, от которых у тебя все холодело в животе. Кто бы мог подумать тогда, что через полвека они станут хозяевами страны. Их интонации теперь несутся в эфир со всех каналов российского телевидения. «Пиво для культурного отдыха», «Смотрите на первом канале» – эти фразы произносятся сейчас один к одному с интонациями пантелеевской шпаны пятидесятых годов. Ну и не только это, конечно, изменилось в русском языке. Воровское «присаживайтесь» заняло теперь прочное место на российском телевидении (да и, по слухам, вообще везде в России) вместо нормального «садитесь». И многое другое еще завоевала Пантелеевская улица. Но больше об этом я здесь говорить не хочу.

Десять лет мы учились с Вале́й в одной школе. Я хорошо знал его родителей, он хорошо знал моих. В доме у Вали (а лучше сказать, в его комнате – ведь все наши семьи жили тогда в комнате в коммунальной квартире) его отцом поддерживалась замечательная библиотека. Там было много интересных и редких книг. И я иногда брал там что-то почитать.

Годы шли. В пятом классе я отличился. Новая учительница математики спросила, сколько будет, если пять разделить на ноль. Я поднял руку. И все в классе подняли руку. Но отвечали все как-то неправильно. Я был выше всех в моем классе и сидел в последнем ряду. Поэтому меня спросили последним. И я ответил, что на ноль делить нельзя. Учительница тут же объявила мне, что я должен стать математиком. И сказала, что через два года я должен начать ходить в математический кружок при Московском университете. Я передал это Вале. И мы стали ждать. Ждали два года. Потом, начиная с 1955 года, мы вместе с Вале́й ходили четыре года в математический кружок при Московском университете и знали, что будем поступать на мехмат.

В девятом классе Валя научил меня играть в преферанс. Мой отец умел играть в преферанс. Но когда я просил его научить меня, он отказывался. Говорил, что пусть я лучше занимаюсь математикой. Мое увлечение математикой отец вполне одобрял. Он говорил, что математика нужна везде. И что она мне очень пригодится, если я когда-нибудь уеду в Америку.

В 59-м мы с Вале́й поступили на мехмат. В том году и следующие пару лет евреев принимали в университеты. Так получилось, что мы оба, Валя и я, в это время переехали в район арбатских улиц. Так что в университет последующие пять лет мы ездили вместе. А на мехмате большей частью учились в одной группе.

Мы дышали с Вале́й одним воздухом. Одинаково ненавидели

все советское. И были абсолютными единомышленниками.

После серии разводов семидесятых годов наша компания стала распадаться. Стали мы реже встречаться и с Валею. Последний раз мы встретились незадолго до моего отъезда из России в 91-м. Хотя это и не совсем точно. И вот почему. Кажется, в 2003 году мне случилось быть в Кармеле, в Калифорнии, где (помните?) Роберт Кон, который любил и умел играть в бридж, начинал свою издательскую деятельность. И вот, проходя по одной из улиц, я увидел человека, похожего на Валею. Я посмотрел на него внимательнее и понял, что я ошибся. Человек этот не был так уж сильно на него похож. И тут я подумал, что прошло много лет с тех пор, как мы не виделись. А что, если Валея сильно изменился? Наверное, я не могу просто так уйти и не проверить, он это или не он. Я пробежал несколько шагов назад и пошел навстречу этому человеку. И когда я с ним поравнялся, стал смотреть ему прямо в глаза. Ну и по этой причине он тоже посмотрел мне прямо в глаза и через пару секунд отвел взгляд. Нет, значит, это был не Валея. (Я тогда, видимо, полагал, что я за последние годы совершенно не изменился.)

Через какое-то время я позвонил Валею. Мы с ним поболтали о том – о сем. И он мне сказал, что недавно был в Америке. Где? В Калифорнии. А был ли ты в Кармеле? Да, был. Когда? Он назвал мне ту самую дату. Почему же ты мне не позвонил, что будешь в Америке? Мне кажется, что мы там с тобой виделись.

И я попытался рассказать ему, что случилось там, в Кармеле. Но Валея как-то не мог понять, о чем я говорю. По-видимому, все это звучало слишком нереалистично для него. «Слава, – сказал он мне, – ты не можешь себе представить, какие там замечательные гостиницы!»

Ну что ж, очень жалко, что мы разошлись с Валею тогда в Кармеле. Это была для нас последняя возможность повидаться.

* * *

В заключительном матче Вильнюсского турнира наша команда играла против команды Бруштунова. К началу этого матча львовяне потеряли шансы занять первое место. И стимула бороться за победу против нас у них оставалось мало. Они проиграли нам со счетом 8 : 0. Думаю, в какой-то мере это произошло потому, что Витольд относился к нам с большой теплотой и хотел как-то поддержать начинающую команду. Наверное, львовяне не проиграли нам матч совсем уж нарочно, но отношение Витольда к нам, думаю, во многом предопределило результат.

Соревнования в Вильнюсе мы закончили, находясь в середине турнирной таблицы, и были этим вполне довольны.

«МУЖИКИ»

Как и для всех наших, бридж не был для меня основным занятием в жизни. В 1968 году я бегал по различным ученым советам, пытаюсь найти место для защиты своей диссертации. Бегал

я вместе с Таней Голиковой (моей будущей женой), тогда – сотрудницей знаменитой Колмогоровской лаборатории статистических методов при Московском университете. Она работала в отделе Василия Васильевича Налимова, который был заместителем Колмогорова в его лаборатории и являлся для меня в тот момент научным гуру.

Это была идея Налимова, что мы должны защищаться вместе. И он активно помогал нам искать место защиты. Летом 1968-го мы выступили в ЦЭМИ (Центральном экономико-математическом институте), в отделе Евгения Григорьевича Гольштейна. Там все наши идеи понравились, и мы встали в очередь на защиту. Ученым секретарем секции совета Гольштейна был Юрий Константинович Солнцев. Но я тогда еще не знал об этом. Так же как и не знал, что будет означать это имя в московском бридже и как близко сведет меня с ним вскоре бриджевая судьба.

Все шло своим чередом. И вот, наконец, произошло то, что должно было произойти. Таня сказала мне, что знакома с одним ее сокурсником по университету, компания которого играет в бридж. Как его зовут? Его зовут Вилен Нестеров.

Они закончили астрономическое отделение физфака (мехмата до 1956 года) в 1957 году. После окончания университета Таня и Вилен вместе работали в ГАИШ'е – Государственном астрономическом институте им. Штернберга (одном из подразделений Московского университета).

Я попросил Таню связать меня с Виленом. Заодно просил ее сказать ему, что играем мы очень здорово и что уже ездили на всесоюзный турнир в Вильнюсе. Таня все это Вилену передала. Что сказал Вилен? Вилен сказал, что не может себе представить, что кто-то играет лучше, чем они. И еще сказал, что не верит, что проведятся всесоюзные турниры по бриджу.

Ну что ж, я позвонил Вилену. Все ему рассказал. Разговор был очень приятным. Мы разговоривали с ним так, как будто были давно знакомы. Я сообщил ему о планируемом турнире в Таллине. Вилен выразил готовность в нем участвовать.

Мы затеяли первый московский отбор. Решили просто провести три матча между тремя нашими командами: МГУ, «Форсингом» и командой Вилену.

В первом матче мы играли против команды МГУ и, как и ожидалось, легко выиграли. Потом играли против «мужиков» (так стали мы называть команду Вилену, поскольку все они были значительно старше нас). И они нас просто разгромили. Оказалось, что мы скверно отыграли все резкие раздачи. Наш протокол выглядел примерно так: плюс два, плюс три, минус тринадцать, плюс пять, минус семнадцать.

Это поражение было хорошей наукой для нас. Стало ясно, что играть нам надо гораздо более агрессивно. И этому агрессивному стилю надо было учиться.

Кто принадлежал к «мужикам», кроме Вилену (Вилену

Валентиновича) Нестерова? Во-первых, Юрий Константинович Солнцев – ученый секретарь секции совета, где я собирался защищаться. Юрий Константинович был ключевой фигурой в компании «мужиков». И считался на тот момент, пожалуй, самым крепким игроком.

Кто был еще в их компании? Там был Леон (Лев Михайлович) Голдин. «Отец Леонтий» – так, по какой-то причине, представлялся Леон незнакомым ему людям. Еще там был Патя – Петр Александрович Слостенин (многие звали его «полковником»). Также в этой компании были Слава-мальчик (Вячеслав Владимирович Пржбыльский), Сергей Борисович Русецкий, Тарас Ермолаевич Прохорович и Генрих Евгеньевич Грановский. Наиболее устоявшимися парами были Нестеров – Слостенин, Грановский – Русецкий, Голдин – Нестеров, Голдин – Солнцев. Впрочем, они все могли играть друг с другом в любой комбинации. Как они играли против нас в том первом матче, сейчас трудно сказать. Но Тараса Прохоровича среди них в тот раз не было.

После того как мы выиграли у МГУ, а «мужики» выиграли у нас, оставалась пустая формальность – матч «мужиков» с командой МГУ. И тут случилось непредвиденное: команда МГУ выиграла у «мужиков»!

Здесь скажу, что в этом был стиль «мужиков». Для блестящей игры им было нужно вдохновение. И если особого стимула для победы не было, то вдохновение пропадало – и они могли проиграть матч более слабой команде. Хотя, конечно же, я понимаю, что сильная команда – это та, которая выигрывает матч. Но все-таки факт остается фактом: в Московских турнирах «мужики», хоть и считались лидерами, побеждали далеко не всегда. «На выезде» те, которым случалось победить «мужиков» в Москве, играли довольно слабо. Это, кстати, сквозит во многих воспоминаниях бриджистов начала семидесятых.

Вот, например, что пишет Саша Рубашов, известный московский игрок: «Мы играли с Лешей [Зотовым. – С.Б.] его систему "Терц-дубль", которая давала нам немалые дивиденды в московских турнирах, но в Таллине оказалась совершенно несостоятельной».

А вот что пишет Слава Демин, не менее известный московский бриджист: «...мы четырежды выигрывали первенство Москвы... А на выездах нам не везло, мы только один раз заняли третье призовое место на Всесоюзном турнире».

* * *

Итак, «мужики» разгромили нас, мы выиграли у МГУ, а студенты обыграли «мужиков». Что было делать в такой ситуации?

Тут стало известно, что Таллин выделил для москвичей два места в командном турнире. Поэтому мы решили, что образуем две команды (из трех пар каждая), которые мы укомплектуем шестью парами (по две пары из каждой московской команды – нашей,

команды МГУ и команды «мужиков»).

Я не помню, как мотивировали устроители Таллинского турнира 1968 года свое решение пригласить две московские команды. По всей видимости, именно поражение команды «Таллин-1» от нас на Вильнюсском турнире произвело на них определенное впечатление. Скорее всего, так оно и было. Во всяком случае, никакого другого объяснения этому, даже гипотетического, я сейчас выдвинуть не могу.

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗНОГО РОДА

Когда прошло какое-то время после первого московского отбора, встал вопрос о том, а как же реализовать такое решение: сформировать две команды из шести пар.

Мне позвонил Вилен и сказал, что он хотел бы, чтобы мы с Мариком объединились и влились в их команду. Я сказал об этом Марику. Подумав, мы отвергли предложение Вилена. Мы посчитали, что приняв это предложение, мы в какой-то мере обидим Валю и Лешу.

В этот момент как-то стало очевидным для всех, что, наверное, не стоит разбивать две пары «мужиков» по двум разным командам. И, значит, оставалось только решить, какая пара будет делегирована в команду «мужиков». Но тут выяснилось, что никто из команды МГУ не хочет присоединяться к команде Вилена. По всей видимости, там понимали, что никакая из их пар не сможет играть на «мужиковском» уровне. И они так думали при том, что только что выиграли матч против команды Вилена!

Я сказал Марику, что мне не хочется присоединяться к «мужикам». Я тоже считал, что мы с Валею не сможем поддержать высокий уровень игры команды Вилена. Марик смотрел на все это дело проще и не стал сильно возражать против присоединения к ним. В итоге в команду «мужиков» были делегированы Марик Мельников и Леша Поманский, чего, судя по тому, как стали разворачиваться дальнейшие события, не надо было делать.

* * *

Мы приехали в Таллин. Турнир начался. В первом матче мы с Валею играли в открытой комнате. Марик с Лешей первую половину отдыхали. «Мужики» (Голдин – Нестеров, Русецкий – Солнцев) выиграли первую половину матча. Причем выиграли ее с хорошим результатом. И теперь в бой должны были вступить Марик с Лешей. Мы с Валею их подбадривали. А они заметно нервничали. Ведь после выигранной с большим преимуществом первой половины им надо было суметь поддержать высокий «мужиковский» уровень игры.

Вторую половину мы играли в закрытой комнате и поэтому не знали до самого конца, что произошло в команде «мужиков». Когда мы вышли из закрытой комнаты, мы увидели совершенно подавленных Марика и Лешу. На наши вопросы, что случилось,

они отвечали, что произошло что-то совершенно невероятное. «Мужики» не дали им играть и выперли их из команды. По всей видимости, все «мужики» были едины в своем решении, но надо было еще найти исполнителя этого действия. Таковым оказался Сергей Русецкий. Он вел себя очень жестко. Чуть ли не силой спихивал Марика с Лешей с их мест за столом и говорил судьям, что вообще не знает, кто они такие, эти Марик и Леша. А когда Марик заартачился, он ему прошипел: «Ты еще не знаешь моих возможностей!» Наивный Марик отвечал: «А ты не знаешь моих возможностей». На что Русецкий произнес очень запомнившуюся нам всем фразу: «Возможности бывают разного рода!» И сопроводил это жестом пальцами, который, говорят, обрел сейчас второе дыхание в России.

Марик пытался апеллировать к Вилену. Но Вилен только пожимал плечами. Марик был очень зол на него и поклялся больше с ним дел не иметь – никогда и никаких.

Кто бы мог предположить тогда, что ровно через год мы в паре с Мариком будем играть в команде-победительнице в Таллине вместе с Виленом, а Русецкий, в числе болельщиков, будет искренне за нас переживать.

Что было делать тогда, когда Марик с Лешей оказались в таком дурацком положении? Выход был только один: включить их четвертой парой в нашу команду. Это было против правил. Но судьи решили не обращать на это много внимания, поскольку наша команда с самого начала расположилась где-то на скромных местах в середине турнирной таблицы. Так, в середине таблицы, мы и закончили этот турнир. А «мужики», сражаясь отчаянно, все время шли на первых местах и к концу турнира делили по набранным очкам с командой Тарту первое и второе места. Однако по коэффициенту Бергера победа в этом турнире досталась команде Тарту. «Мужики» заняли второе место. Это уже был настоящий успех. Кстати (к вопросу о прекращении безоговорочной гегемонии бриджистов Эстонии), ни одна из таллинских команд не попала тогда, в 1968 году, в тройку призеров. Хотя, вообще говоря, таллинские команды всегда представляли собой грозных и умелых соперников, против которых было трудно и в то же время приятно бороться.

Я испытывал двойственные чувства, когда следил за успехами команды Вилена на этом турнире. С одной стороны, мне, конечно же, совсем не понравилось то, как они поступили с Мариком и Лешей. Но, с другой стороны, я был в восхищении от их игры. И я вполне допускал, что этого успеха не было бы, если бы к ним присоединилась любая другая из наших трех московских пар.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

В преддверии Таллинского турнира 69 года мы с Мариком решили все-таки объединиться, то есть играть вместе в паре. Это было несколько болезненное изменение, поскольку надо было

разбивать уже как бы устоявшиеся пары. Более того, это изменение делалось на основе пожелания Виленя, с которым у Марика отношения установились прохладные. Тем не менее, мы с Мариком такое решение все-таки приняли. И вот в нашей московской команде мы стали играть с Мариком, а Валя Вулихман – с Лешей Поманским. В то время, когда мы с Валею обкатывали систему и играли самые первые матчи в Прибалтике, Марик играл по БУКС'у с Лешей. Хотя это, наверное, был какой-то «урезанный» БУКС. После нашего объединения с Мариком, мы, естественно, стали играть по БУКС'у.

И вот наступил октябрь 69-го года. И то объединение, к которому призывал нас с Мариком Вилен Нестеров, произошло. Объединенная московская команда поехала на турнир Таллин-1969. Кроме нас с Мариком, московскую команду в Таллине представляли Вилен Нестеров с Леоном Голдиным и Юрий Константинович Солнцев со Славой Пржбыльским. Почему именно Солнцев и Пржбыльский объединились в пару, я сказать сейчас не могу. Почему, скажем, Юрий Константинович не играл с Сергеем Русецким? (Сергей, кстати, на турнир приехал. Но приехал он на него только в качестве наблюдателя.) По всей видимости, на это были какие-то причины. Не исключено, что кандидатура Русецкого была отвергнута из-за того жесткого конфликта Сергея с Мариком. А может быть, Юрий Константинович и Русецкий стали несовместимыми. Ведь был зафиксирован такой диалог между ними. Когда Сергей как-то выступил против Константиныча, причем, в довольно резкой форме, Константиныч ему заметил: «Какой же вы, Сережа, все-таки некорректный человек. Ну просто хам». Причем слово некорректный Константиныч произнес с буквой «э» и раскатывая букву «р» – «некоррррэктный». На что Сергей отвечал: «Какой же вы, Юрий Константинович, все-таки неумный человек. Ну просто м***к».

Так или иначе, но Константиныч на этом турнире играл со Славой-мальчиком, а Сергей Русецкий был среди наблюдателей. Мы считали наш состав сильным. Мне казалось, что мы будем бороться за первое место. Наверное, и другие члены нашей команды были настроены примерно так же.

Играли турнир тяжело. Естественно, не без ошибок. Где-то в середине турнира в одном из матчей Марик спасовал на вопрос о королях – 5 бубей. После матча Марик сказал мне, что когда он спасовал, он поднял глаза и увидел искаженное от ужаса лицо Сергея Русецкого, который наблюдал за нашей игрой. Когда спасовали все, один из противников сказал Марику: «Посмотри, я тебе что-то покажу». И показал ему пятикартную бубну, плотно возглавляемому онёрами.

В другой раздаче Марик вынул из планшета только двенадцать карт. Застрявшая в планшете карта была тузом пик. Мы назначили малый шлем в пиках в этой раздаче (хотя должны были бы назначить большой). По какой-то причине Марик некоторое время

не понимал, что одна из его карт отсутствует. Наконец он это заметил. Стал искать пропавшую карту. Обнаружил ее в планшете. Вынул. Это был козырной туз. Он им тут же откозырял, даже не присовокупив к остальным своим картам. После этого контракт был выигран с лишней. К счастью, противники тоже играли только 6 пик.

Нервное напряжение на протяжении всего турнира было очень высоким. Я отчетливо помню, как сильно уставал к концу игрового дня. Я допускал, что смогу выдержать такое напряжение в течение трех дней, но не мог себе даже представить, как это люди могут сражаться, скажем, неделю. Сейчас я объясняю такое напряженное состояние вот чем. Прежде всего, мы были плохо тренированы в игре на турнирах, где ежедневно были заняты в течение всего игрового дня. Но гораздо существеннее было следующее обстоятельство. У нас было мало отработанных элементов игры, на которых мы могли бы хоть в какой-то мере расслабиться. Таким образом, приходилось напряженно думать все игровое время. Я, например, не мог расслабиться даже тогда, когда был болваном (*dummy*).

Несмотря на усталость, которую мы ощущали каждый день, настроение было все время приподнятое. И не только потому, что почти весь турнир мы шли на первом месте. Общая атмосфера располагала к этому. Мы играли в бридж в Таллинском Доме игр. Продавались входные билеты по 50 копеек. В перерывах можно было зайти в буфет и взять что-то поесть. А можно было попросить что-то выпить. И даже можно было попросить приготовить коктейль по любому моему рецепту. Две части тоника и одна часть джина – так заказывал я. Одна часть тоника, две части джина – так заказывал себе Вилен. И это все было очень необычно и радостно.

В какой-то из дней мы возвратились вечером в гостиницу. И там оказался один из хозяев турнира, которого все звали Тобиас. Он стал нам всем рассказывать о бриджевом цирке Омара Шарифа. Ему удалось где-то посмотреть по телевизору одно из выступлений Омара Шарифа 1968 года. И Тобиас рассказывал нам об этом и, в частности, о том, сколько фунтов стерлингов составляла там ставка.

Присутствующий при этом разговоре Сережа Русецкий заметил, что на днях он играл в одной компании в штосс – игру, в которую играл Германн в «Пиковой даме». И в этой компании, где играл Русецкий, среди прочих играли директор ГУМ'а и директор каких-то золотых приисков. Игра эта – абсолютно азартная, от умения игроков совершенно не зависит. «Так вот, – сказал Русецкий, – там ставка за игру, которая продолжается всего-то пару минут, была шестнадцать тысяч. Правда, не фунтов стерлингов, а рублей. Но все-таки шестнадцать тысяч». Русецкий держал в руке какие-то карты. И когда он говорил о шестнадцати тысячах, весьма назидательно помахивал этими картами прямо перед лицом Тобиаса.

После этого уже весь вечер именно Русецкий владел всеобщим

вниманием. Он рассказывал всякие карточные истории, которых у него было неограниченное количество.

Он считался сильным игроком в любую карточную игру. Поэтому с ним не очень-то хотели играть на деньги. И потому, как рассказывал тогда Русецкий, он часто наблюдал за игрой других. Он рассказал, как всего несколько дней назад наблюдал за игрой одного своего знакомого. При этом он был с ним в стоворе. И помогал ему с помощью специально разработанной системы сигналов. По договоренности, по окончании игры знакомый отчислял Русецкому треть выигрыша.

Какая-то длинноногая девушка оказалась почему-то среди нас. И Русецкий, придвигая ее коленки к себе, показывал, как он передавал сигналы своему напарнику.

- Ну и вы выиграли? - спросил кто-то у Русецкого.

- Нет, проиграли, - ответил Русецкий.

- ?

- А я был в пополаме с другим игроком, - сказал Сережа.

Кто-то притащил какие-то диковинные колоды карт. Рубашка у карт была с малосеньким дефектом. По расположению этого дефектного места можно было определить, какая это карта. И мы все очень быстро научились «смотреть сквозь рубашку». Другая колода была уже не для игры, а для показа фокусов. Карты внутри колоды были с прорезями, так что внутрь колоды можно было запрятать небольшой предмет. Короче, в этот день я значительно повысил свое карточное образование.

* * *

Перед последним матчем командного турнира мы опережали ближайшего соперника - команду «Талли» («Таллин-1») - на 3 очка. Эта команда встречалась в последнем поединке с аутсайдером, и многие ожидали ее победу, причем, скорее всего, со счетом 8 : 0. Это означало, что нам надо было выиграть свой последний матч по крайней мере со счетом 6 : 2.

И вот наш последний матч закончился. Оба протокола уже были в руках у Вилен. И мы бросились к первому попавшемуся свободному месту. Это была перегородка, которая отделяла раздевалку от основного зала. Мы еще тогда не знали, что команда «Талли» действительно выиграла со счетом 8 : 0. Вилен сдвинул протоколы и подсчитал разность и сумму очков, набранных нами и нашими противниками. Их отношение должно было составить не менее 15 процентов, чтобы мы выиграли наш последний матч со счетом не хуже, чем 6 : 2. Вилен стал делить одно число на другое, как мы говорили тогда, «в столбушку». Сначала появилась цифра 1. Потом, прежде чем я успел сообразить, какая будет вторая цифра, я увидел, как Вилен вывел цифру 5. Он именно ее вывел. В спешке, в напряженной обстановке, Вилен писал цифры почти каллиграфическим почерком (он по-другому не умел) и ни о какой ошибке в его расчетах не могло быть и речи. Поэтому, когда из-под

его ручки появилась цифра 5, это означало, что мы заняли на этом турнире первое место.

Здесь, наверное, будет к месту сказать первые слова о Вилене. Не ошибусь, если скажу, что Вилен Нестеров был всеобщим любимцем. Он пользовался непререкаемым авторитетом. При том, что его манера говорить не была какой-то напористой. Он говорил довольно негромко, без какого-либо акцентирования. Его голос не был звонким, а, напротив, был даже немного глуховатым. Хотя какая-то неуловимая манера, интонация, в его речи определенно была. И если вы начинали с ним общаться, то вскоре обнаруживали, что пытаетесь ему в этой его интонации подражать. В частности, Марик, который поклялся больше с Виленом дел никаких и никогда не иметь, уже давно говорил с его интонациями. То же самое можно было тогда сказать и обо мне.

Обаяние этого человека было настолько сильным, что когда он просто спокойно что-то говорил, все начинали считать это истиной в последней инстанции. Это было связано не обязательно с чем-то очень важным, но даже с самыми обыкновенными пустяками. Как-то он назвал свою однокурсницу Олю Козину (в будущем – жену известного математика Николая Бахвалова) Козей Олиной. И после этого всю свою жизнь Оля должна была откликаться на имя Козя.

Как-то я подслушал разговор Вилену с нашим товарищем по команде. Тот объяснял Вилену, почему так неудачно разыграл контракт, и начал словами: «без одной я был всегда...». Вилен тут же продолжил за него «... но пытаюсь сесть без двух, сел без четырех». И теперь, по прошествии более чем сорока лет, можно, наверное, сказать, что это стало наиболее цитируемой шуткой по бриджу.

* * *

Итак, мы заняли первое место. Каждому из нас была выдана грамота Комитета по физкультуре и спорту при Совете министров Эстонской ССР. Эстонцы устроили небольшой банкет. Там мы с ними, возможно впервые, общались в неформальной обстановке, и они смогли, может быть, за всеми этими разговорами понять, чем мы дышим. Так что потом они уже могли себя чувствовать с нами более свободно и расслабленно.

Еще до того, как я первый раз поехал в Прибалтику, мне многие говорили, что там плохо относятся к приезжим из России и что я это скоро почувствую. Ну, естественно, к оккупантам местное население всегда относится плохо. Эстония, Латвия и Литва были насильственно включены в состав СССР в 1940 году. Это произошло как логическое следствие подписания Советским Союзом и нацистской Германией двух договоров в августе и сентябре 1939 года, секретные протоколы которых определили, на что могут рассчитывать советские поработители в Восточной Европе. Началась советизация Прибалтики, включающая, разумеется, репрессии против элиты прибалтийского населения.

И вот прошло тридцать лет. И что удивило меня во время моих

первых контактов с местным народом, так это то, что после этих тридцати лет дух непокорности и неприятия аннексии не был сломлен.

Однако же должен сказать, что плохого отношения к себе лично я так никогда в Прибалтике и не почувствовал, хотя бывал там часто. Как это объяснить? Помню совершенно отчетливо, что я ощущал какое-то чувство вины, когда находился там. Может быть, это чувство вины было у меня каким-то образом написано на лбу? Может быть, оно как-то проявлялось при первом контакте с местным населением? Думаю, что определенно так и было. Поэтому, возможно, я так и не почувствовал какого-то негативного отношения ко мне местного народа. Кроме того, мы старались при первом посещении какого-то, скажем, кафе идти туда с кем-нибудь из знакомых прибалтов.

На банкете по поводу окончания турнира Таллин-1969 ко мне подошел Марик и рассказал, что только что разговаривал со Славой-мальчиком. Они говорили о том, как это здорово, что мы заняли первое место. И Слава-мальчик сказал ему: «Слушай, Марик, ведь мы – чемпионы Сове-е-етского Союза!»

Через короткое время после окончания Таллинского турнира в приложении «Неделя» к газете «Известия» появилась маленькая заметка «Турнир за столами». Инициатива в этом деле принадлежала Славе-мальчику. Это именно он вошел в контакт с корреспондентом газеты.

В заметке говорилось о закончившемся всесоюзном турнире по спортивному бриджу, организованном эстонской федерацией бриджа. Далее в заметке говорилось о том, что командное первенство завоевали бриджисты Москвы и перечислялись имена членов нашей московской команды: В. Бродский, М. Мельников, В. Нестеров, Ю. Солнцев, Л. Голдин, В. Пржбыльский.

Корреспондент «Недели» напечатал также отклик на это событие профессора математики Михаила Романовича Шуры-Буры. Как «Неделя» вышла на Шуру-Буру, я не знаю. Наверное, Слава-мальчик все-таки запомнил наш рассказ о том, как Михаил Романович обучал бриджу первый «Форсинг». Ну и, по всей видимости, навел на него репортера «Недели».

Эстонские бриджисты к этому известию о заметке отнеслись скептически и даже враждебно. И они оказались правы. Потом они говорили нам, что вот, мол, мы играли тут в бридж десятилетиями и никто нас не трогал, а теперь у нас будет полно проблем.

Проблемы начались у них почти сразу после публикации в «Неделе». На следующий год они уже не выдавали грамоты Комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров Эстонской ССР. А чуть позже вышло постановление Всесоюзного комитета по физкультуре и спорту. Его тогда возглавлял бывший комсомольский вожак Павлов. В постановлении Комитета от спорта отлучались карате (вызывающее травматизм), женский футбол

(вызывающий нездоровый ажиотаж), атлетическая гимнастика (вызывающая непропорциональное развитие личности), занятия по системе хатка-йога (основанные на чуждой идеологии) и спортивный бридж (как не являющийся видом спорта).

Тот факт, что бридж не признавался спортом официальной федерацией спорта, не должен был бы (казалось) как-то отрицательно отразиться на развитии бриджа. Поддержка государства была бы, конечно, весьма кстати, но мы могли бы существовать и без нее. Беда заключалась в том, что существовал некоторый заведенный большевиками порядок. Этот порядок заключался в том, что если со страниц большевистских газет было сказано нечто отрицательное о чем-то, то это «что-то» было обречено на гибель. Миллионы людей разворачивали каждый день большевистские газеты и искали (иногда между строк), кого теперь надо будет травить. Поэтому постановление о том, что бридж не будет теперь считаться видом спорта, было сигналом всем шавкам советской власти. Надежды на какие-то помещения для игры стали быстро таять. Милиция и КГБ начали устраивать на нас облавы.

В 2004 году, более чем через десять лет после смерти Павлова, его наградили почетным знаком за большой личный вклад в развитие спорта и олимпийского движения. Ну, что такое олимпийское движение в бывшем Советском Союзе, – это особый разговор. Оно включало полную поддержку государства тем спортсменам, которые могли принести стране медали с Олимпийских игр. Основным моментом развития олимпийского движения было – обмануть мировую общественность и выдать профессиональным спортсменам липовую справку о липовой должности на каком-то заводе или в институте. И самое интересное, что вся страна знала об этой липе. Но *homo sovieticus* с исковерканными советской властью душами полагали, что это совершенно нормально.

Считается, что одним из самых ярких событий пребывания Павлова на посту руководителя Комитета по физкультуре и спорту была «Олимпиада-80» в Москве, проведение которой стало возможным только благодаря организаторскому таланту Павлова. Ну, «организаторский талант» Павлова, конечно, не смог вернуть к играм 1980 года 65 стран, бойкотирующих Московскую Олимпиаду из-за вторжения советских в Афганистан. А все остальное ему было по плечу. И самое главное – выхолостить одну из основных идей Олимпийских игр – общение спортсменов, участвующих в играх.

У советских после проведения Молодежного фестиваля 1957 года было над чем поразмыслить. Тогда по Москве бродили толпы улыбающихся людей всех национальностей. А улыбающиеся люди в Москве – это просто нонсенс. Это вообще противоречит основным принципам большевистской власти. Человек на московской улице не должен улыбаться. А тогда простые советские люди могли запросто встретиться на улице с иностранцами. Могли с ними поговорить (на

языке жестов, конечно), обмениваться значками. Вид человека, вся куртка которого была увешана значками, был вполне обычен в те дни. И девушки советские оторвались тогда. (Ну и слава Богу!!) Сколько младенцев, весьма отдаленно напоминающих по виду русских, было рождено в апреле и мае 1958!

Все эти «ошибки» фестиваля 57 года надо было предотвратить в 80-м. И вот тут-то организаторский талант очень был нужен. В 57-м я ходил по Москве пешком, ездил на общественном транспорте и видел тысячи людей всех возможных национальностей. В 80-м я тоже ходил по Москве пешком, тоже ездил на общественном транспорте и еще ездил по Москве на машине, но не смог увидеть ни одного иностранца. Ни одного за все олимпийское лето! Так что гэбэшники своего добились. А песенка про кривобокого мишку «расстаются друзья...» известной комсомольской композиторши могла вызвать слезы умиления только у безнадежно наивных (если говорить мягко) людей.

А вот «большой личный вклад в развитие спорта» – это вообще непонятно что такое. В стране заниматься спортом можно было только, если ты подавал надежды стать олимпийским чемпионом. Ну, бегать по улицам ты мог в любом случае. А если тебе для занятий спортом нужно было какое-то оборудование или особые условия, тогда твое дело было «труба». Поэтому и непонятно, какой такой большой вклад мог внести Павлов в развитие спорта. Развить – в смысле вдохнуть что-то новое в какой-то вид спорта – это бывшему комсомольскому запевале было не по зубам. А вот развить – в смысле написать донос на какого-то спортсмена (такой, как он, скажем, написал в ЦК КПСС на Бориса Спасского – кстати, сочувственно и с поддержкой относившегося к московским бриджистам) – это Павлов мог сделать запросто. Или развить – в смысле запретить что-то – это Павлов тоже мог легко сделать. И, значит, вот такие его действия – в частности, запрещающие какие-то виды спорта, – это как раз, надо полагать, и было то самое, за что его наградили посмертно.

* * *

Вскоре после окончания Таллинского турнира состоялась защита моей и Таниной диссертаций. Секция ученого совета, где мы защищались, состояла из девяти членов. Одним из них был секретарь секции Юрий Константинович Солнцев, член нашей команды по бриджу. Другим членом секции был Михаил Романович Шура-Бура, который научил нас играть в бридж. Еще одним членом секции был Борис Самуилович Митягин, которому я не раз сдавал экзамены, будучи студентом мехмата, и с которым играл в пристеночку и казеночку во дворе Московского университета. Кстати, много позднее, но еще до того, как я уехал из России в 91-м, до меня дошли слухи, что Митягин уехал в Израиль, где стал заниматься финансовой математикой. И хотя я до сих пор не знаю, насколько достоверны были эти слухи, но тем не менее слова «финансовая математика» звучали для меня очень

привлекательно. И я подумал тогда (уж не знаю, почему), что такое приложение математики мне бы подошло. Но, к сожалению (подумал я тогда), заниматься этим мне, конечно, никогда уже не придется. К счастью, я ошибался тогда. «Этим» (то есть финансовой математикой) мне пришлось профессионально заниматься всю мою трудовую жизнь в Америке.

На защите диссертации в ЦЭМИ Юрий Константинович старался мне помочь. И это выглядело очень трогательно. В некоторый момент он стал зачитывать отзыв головной организации на мою диссертацию, в котором было сделано замечание о том, что оформлена диссертация была небрежно, некоторые формулы не были вписаны в текст. На этом месте Юрий Константинович прервал чтение отзыва и сказал буквально следующее: что он, когда ехал на заседание секции совета, еще раз (!) перечитал диссертацию Бродского и что все формулы были на месте. «Может быть, – сказал Юрий Константинович, – в головную организацию попал плохой экземпляр диссертации? Ха-ха-ха».

* * *

После окончания Таллинского турнира 69-го года, уже где-то в начале 70-го, Вилен увиделся с Таней. Она зашла повидать своих друзей в ГАИШ. Там они и встретились. Зашла речь о Таллинском турнире. И Вилен сказал, что все это произошло потому, что Таня свела наши две компании, за что ей, мол, большое спасибо. И что теперь Таня будет считаться «бабушкой московского бриджа». Таня рассказывала мне это со смешанными чувствами. С одной стороны, я видел, что ей было приятно, что Вилен присвоил ей такое «почетное звание». Но с другой стороны, Вилен явно насмешничал над ней, намекая на Танин, можно сказать, преклонный возраст (особенно по сравнению с моим). Ведь ей тогда было уже 35 лет!

Окончательно он расстроил Таню тем, что когда провожал ее, уже в дверях, сказал: «Привет Славе», а потом добавил: «Смотри... Ведь у него двое детей».

МОСКОВСКИЕ ТУРНИРЫ

За короткое время 1968 – 1969 годов нам стали известны, пожалуй, все или почти все группы московских бриджистов. В воздухе стала носиться идея организации московских соревнований. Я выступил с предложением проводить командные соревнования по квартирам, то есть играть там, где жили участники турнира. Мой замысел поначалу вызвал скептическое отношение к нему у всех, с кем я говорил. Все считали это слишком сложным и практически неосуществимым. Альтернативные идеи предполагали какие-то помещения, которые нам начинали где-то «светить». Но я, видно, был более реалистичного мнения о советской власти, чтобы надеяться на то, что какие-то помещения у нас будут достаточно постоянными. Поэтому я все-таки решил попробовать «квартирный» вариант.

Я разработал технические правила командных соревнований. Они должны были проводиться по круговой системе и были рассчитаны на довольно продолжительное время. На каждый тур отводилась целая неделя. Только так, как мне казалось, можно было обеспечить проведение всех игр турнира в срок. Основным моментом технических правил было то, что команда-хозяин должна была предоставить свое помещение для игры и предложить на выбор команде противника два дня – субботу, воскресенье или вечер будней. Вторая команда должна была выбрать один из этих дней. После окончания встречи капитан команды-хозяина должен был прислать мне по почте или передать по телефону результаты встречи.

В хозяйственном магазине я закупил два громадных рулона дерматина и стал мастерить из него планшеты для карт. Изготовленные мной планшеты получились очень удобными и выглядели достаточно нарядно. И когда их увидел народ, то в этот момент все как-то поверили, что идея московских квартирных турниров должна сработать. И вот тут-то я стал получать большую помощь со всех возможных сторон. Я получал многочисленные звонки от уже знакомых мне людей, а также и от незнакомых, которых ко мне стали направлять все наши. Команды образовывались одна за другой.

Турнир начался. Перед каждым очередным туром я рассылал всем результаты предыдущих встреч и напоминание о текущем туре. По окончании каждого тура мне звонили капитаны команд и передавали результаты игр.

Даже самые первые чемпионаты Москвы проходили на удивление дисциплинированно. Все оказалось лучше, чем я даже мог предположить. Практически все матчи были сыграны (даже среди аутсайдеров).

Примерно в то же время я решил выпустить памятный значок по бриджу, приуроченный к моменту зарождения спортивного бриджа в Москве. В то время я работал в одном «почтовом ящике», где вместе со мной работал Володя Баранников – молодой человек с

художественными способностями. Его я попросил помочь мне изготовить эскиз московского значка по бриджу. И мы с ним такой эскиз изготовили. Используя какие-то свои связи, он даже реализовал этот эскиз и выпустил малую партию самих значков. Один из таких значков я сохранил в своей коллекции.

Все московские матчи «Форсинга» проходили в основном на Преображенке. Там же я устраивал иногда и парные турниры на десять пар. Три стола я ставил в «большой» комнате (17 квадратных метров), один стол – в маленькой комнате (10



квадратных метров) и один стол – на кухне (6 квадратных метров). В большой комнате, где стояло три стола, торговля писалась на листке бумаги. И таким образом мы умудрялись ликвидировать передачу нелегальной информации от одного стола к другому.

До недавних пор я считал своим большим достижением, что мог уместить пять столов и 20 человек в двухкомнатной квартире. Но потом я прочитал уже цитированные мною воспоминания Валерия Седова. Там он, в частности, пишет о парных турнирах, которые устраивал в Ленинграде в своей двухкомнатной квартире Витольд Бруштунов. Когда я прочитал об этих парных турнирах, мне стало немного стыдно. Рекордное число столов в двухкомнатной ленинградской квартире было равно двадцати одному! И, следовательно, в парном турнире Витольда принимали участие 84 игрока! Думаю, что такое дело можно было бы зарегистрировать в Книге рекордов Гиннеса. Жаль, что такая возможность была упущена. Надо было Витольду тогда подать заявку на рекорд. Можно, кстати, было бы подать сразу две заявки. Одну – на максимальное число столов для бриджа в двухкомнатной квартире. Вторую – на минимальное время от подачи первой заявки до ареста владельца квартиры.

Первые годы во время игры все нещадно дымили. И этот дым невозможно было вывести, даже когда все уходило и квартира проветривалась. На соревнованиях в Прибалтике тоже поначалу курить разрешалось. А начиная с какого-то года Прибалтика курение запретила. В это время и я объявил бриджистам, что курить у нас на Преображенке нельзя. С куревом я велел выходить на балкон. А тем, кто не мыслил игры без курева, я советовал брать в рот сигарету и даже зажигать спичку, но не зажигать саму сигарету и так ее и мусолить во рту незажженной.

Вилен на это дело прореагировал мгновенно: «Курить нельзя – сосать можно!»

* * *

В эти первые годы было много славных команд и много славных имен. Трудно перечислить все их и трудно установить принадлежность игроков и пар каким-то определенным командам, поскольку пары очень часто распадались, образовывались новые и переходили из команды в команду. А иногда кто-то мог играть в одной команде, а с другим партнером – в другой. Но я все-таки постараюсь дать список команд и игроков и в каких-то случаях проследить, каким образом мы все в конечном итоге собрались в одном месте.

Я уже описал историю встречи нашего старого «Форсинга», команды МГУ и команды «мужиков». В какой-то момент я предложил Вилену с Леоном влиться в нашу команду. Это предложение было сделано с согласия всех наших (включая Марика). Я ожидал, что Вилен и Леон захотят по крайней мере подумать над моим предложением. Но, к моему удивлению, они его приняли тут же, на месте, без всяких раздумий. Я предложил оставить наше название – «Форсинг» – для объединенной команды. И тут я уже совсем не был уверен, что «мужики» захотят выступать под флагом «Форсинга». Вилен, однако, не возражал. Леон скривился и сказал, что «Форсинг» ему не очень нравится и что ему больше нравится название «Рислинг». Это была шутка.

Так был образован новый «Форсинг». Это был «Форсинг», который запомнили все и члены которого добились наибольших успехов среди всех представителей славных московских команд на «выездных» (читай – всесоюзных) турнирах.

За новый «Форсинг», кроме нашей с Мариком Мельниковым пары, играли Леша Поманский с Валей Вулиханом. Они, правда, играли не очень продолжительное время. Вилен Нестеров играл за нас в разное время с Леоном Голдиным, Петром Александровичем Слостениным и, позднее, с Оскаром Штительманом. Еще позднее за нас играли Леня Орман с Петром Александровичем.

Жена Марика Мельникова, Лена Ефимова, была участницей Университетского студенческого театра, и она познакомила нас с коллегами по театру, Славой Деминим и Алексеем Рогаткиным, которые тоже уже несколько лет играли в бридж. Команда Славы Демина «Ладья» включала его пару с Алексеем Рогаткиным, а также пару Володи Иванова с Феликсом Французовым. Одно время там играл Миша Стрижевский с разными партнерами: Марком Глушаковым, Славой Пржбыльским, Рогаткиным и Стояновским.

Студенческие связи дали нам большие группы. Одних только математиков с мехмата Московского университета было четыре группы. Одну из групп представлял наш старый «Форсинг» (выпуск мехмата 1965 года). Вторую группу – команду «МГУ» (выпуска 1967 года) – образовывали в основном две пары: Аркадий Дьячков с Сашей Одуло и Юра Малиновский с болгариним Петровым.

Еще одна университетская команда математиков (выпуска 1970 года) – «Дипломник» – возглавлялась Васей Стояновским и включала его пару с Мишей Стрижевским и пару Миша Донской – Миша Кронрод.

Были еще две мехматские команды – «Кварц» и «Луч», но они просуществовали недолго и объединились в команду «КЛ-72». Там играли выпускники мехмата 1971 года Аня и Володя Кирьянковы с Андреем Замерхановым (во всех трех комбинациях), а также Боря Меников и Алик Харлап. Аня Кирьянова была первой женщиной в московском бридже. Вернее, она была первой играющей женщиной в московском бридже. Потому что в другом смысле первой женщиной все-таки была «бабушка московского бриджа» – Тая Голикова.

Другая многочисленная группа представлялась физиками и химиками. Вот как описывает первые шаги бриджа на химфаке Московского университета Саша Рубашов:

«Бридж появился на химфаке МГУ, на котором я учился, приблизительно в 1965 г. Кто-то из нашей преферансной компании познакомился с учившимся в МГУ индонезийцем, и тот объяснил основы робберного бриджа... После окончания МГУ первого поколения игроков бридж на химфаке угас. Но след от первой волны остался. Еще в те времена к нам прикнута группа младшекурсников. И летом 1969 г. Борис Бутаев в университетском лазере "Джемте" познакомился со студентами мехмата Одуло и Дьячковым... Благодаря этой встрече начались наши контакты с цивилизованными бриджистами. Мы приходили в общежитие мехмата смотреть, как играют болгары. А торговали они сильно искусственную польскую релейную систему Ченковского, по которой можно было выяснить полный расклад партнера (впоследствии эту систему никто не играл, но ее элементы использовали в своей системе Бродский и Стояновский)».

Было несколько «физтеховских» команд, представляемых студентами (в основном бывшими) Московского физико-технического института («Физтех-1», «Физтех-2» и «Пульсар»). «Физтех-1» и «Физтех-2» были первыми физтеховскими командами. Но когда появился «Пульсар», возглавляемый Марком Глушаковым, многие члены команд «Физтех-1» и «Физтех-2» разъехались, а оставшиеся влились в «Пульсар».

За физтеховские команды играли Алик Макаров, Марк Глушаков, Гарик Агроник, Толя Соляник, Яша Хазан, Толя Гудков, Женя Дижур, Женя Веденяпин, Вячеслав Сафронов. Алик Макаров приводит еще имена других членов этих команд, которых я не помню: Арик Мамян, Бельдюгин, Виленкин, Железняков, Анатолий Балашов, Марк Молдавский, Гайдукин, Василий Каюров, Валерий Демин, Алексей Прудкогляд, Юрий Малащенко. По всей видимости, наибольшей силы команда «Пульсар» достигла, играя в таком составе: Марк Глушаков – Оскар Штительман, Слава Демин – Алексей Рогаткин, Женя Веденяпин – Алик Макаров.

За команду «Черемухи» играли Аркадий Белинков с Леной Орманом и, в разных комбинациях, Александр Соколов, Миша Кацман, Рудик Киммельфельд, Лева Аснович. Вот как описывает процесс вхождения в бридж членов этой команды Аркадий Белинков:

«В бридж мы начали играть в 1970 году. Произошло это так. Мой коллега по работе – Лева Аснович – натура увлекающаяся и эмоциональная, отдыхал на даче на

Николиной горе по соседству со Славой Бродским. Это один из отцов московского бриджа, известный математик, сейчас живет в Нью-Йорке. Слава объяснил нашему Лева правила игры и показал, как играют. Восторженный Лева, очарованный игрой, приехал в институт, где мы тогда вместе работали, и начал обучение всех наших коллег и друзей, в том числе и меня. Я, в свою очередь, начал внедрять бридж в преферансную среду. Так одновременно со мной пришли в бридж Ляня Орман, Миша Кацман (ныне покойный), Ляня Бизер, Рудик Иоффе (сейчас живет в Нью-Йорке), Саша Соколов.

Я помню, как мы все приходили на смотрины домой к Славе Бродскому, и он нас пригласил участвовать в первенстве Москвы. Мы организовали команду, в которую входили я с Соколовым, Орман играл с Рудиком Кимельфельдом, а Аснович с Кацманом. Команду назвали "Черемушки", поскольку я, Борман [Ляня Орман. – С.Б.] и Кимельфельд тогда жили в Черемушках».

Была еще команда «Вега», возглавляемая парой Генриха Грановского и Володи Ткаченко. Она включала также пару Левина с Любановским и, позднее, – пару Аркадия Белинкова с Ленией Орманом.

За команду «Арбат» играли Павел, Света и Леша Зенкевичи, Ляня Бизер с Рудиком Иоффе, Миша Кацман, Ляня Каретников и Сергей Солнцев с Лешей Злитовым (который пришел из команды «Терц»).

Еще была «химическая» команда «Бериллий», возглавляемая Сашей Рубашовым. Он играл в ней в паре с Борисом Бутаевым. Потом Рубашов перешел в команду «Sign-Off», которая, в свою очередь, образовалась из команды «Рубин», где играли Сережа Андреев с Завалко. В команде «Sign-Off» еще играли Наташа Каретникова, Леонтьев и, позднее, Павел Зенкевич, Леша Зенкевич, Сережа Солнцев.

Команду «Сокол» возглавлял Юрий Константинович Солнцев, играя в основном в паре со своим сыном – Сережей Солнцевым. Также там играли еще пары Миши Рейзина с Павликом Маргулесом и Бориса Бутаева с Сашей Рубашовым.

Время от времени у нас образовывались какие-то помещения для игры. И каждый раз казалось, что эти помещения – надежные и на долгое время. Но потом помещения исчезали. Причин никто никому не объяснял. Но они и так были ясны: тот, кто давал разрешение, рисковал своей головой. И даже какие-то деньги, которые бриджисты собирали на компенсацию риска, не оправдывали себя.

Первым таким помещением был Вычислительный центр Академии наук СССР. «Устроил» нам это помещение Александр Абрамов. Сам он играл за команду «ВЦ» в паре с Курочкиным. В этой команде играли еще Сидоров и Бочек.

Миша Рейзин был заметной фигурой в московских строительных организациях. Он постоянно находил какие-то помещения для игры в бридж. Это были и строящиеся объекты, и подвалы зданий. Несколько парных турниров прошло во временной столовой строителей недалеко от станции метро «Коломенская».

Начиная с 72-го года играли парные турниры в так называемом «курчатнике» – в подвале клуба «Малахит» Курчатовского института. Это помещение возникло благодаря Николаю Шапкину, Игорю Русанову и Ивану Гладких – сотрудникам института. Они же образовали тогда команду «Малахит», которую возглавил Шапкин. В «курчатнике» произошел инцидент с гипсовым бюстом первого председателя большевиков, который являлся обязательной принадлежностью любого официального советского помещения. Володя Кирьянков пробежал мимо бюста, чем-то махнул, бюст упал и разбился. Собрали деньги и купили другой бюст взамен разбившегося. Ташила его из магазина в клуб Аня Кирьянкова. И хотя новый бюст был меньших размеров, чем разбитый, весил он довольно прилично. Так что Аня хорошо запомнила этот эпизод, и она рассказала мне о нем, когда мы созвонились с ней в начале 2014-го.

Пару раз мы играли в Московском областном шахматном клубе в Воронниковском переулке (недалеко от станции метро «Маяковская»). Играли мы там по протекции Бориса Спасского, чемпиона мира по шахматам, который в это время готовился к матчу с Робертом Фишером. Со Спасским вел переговоры Леон Голдин, который был с ним знаком.

Были еще какие-то кратковременные помещения в Мытищах и на Щербаковской. Какое-то количество парных турниров прошло в кафе «Ласточка». Там бриджисты Москвы подверглись набегу гэбэшников, которые

не придумали ничего другого, как конфисковать карты.

После этого инициативная группа бриджистов писала письмо протеста и просила вернуть спортивный инвентарь.

В разное время за разные команды играли такие игроки и пары, как Толя Гуторов, Саша Рубашов – Юра Соколов, Аркадий Белинков – Саша Рубашов, Юра Соколов – Сережа Солнцев, Леня Каретников – Наташа Каретникова, Юра Борисенко – Леша Злотов, Володя Кузнецов.

* * *

Несмотря на то, что мы жили как бы в вакууме, информация извне все-таки как-то к нам поступала. И в первую очередь это относилось к печатным изданиям по бриджу. Самыми первыми среди них для меня были фотокопии, сделанные Виленом Нестеровым. Он фотографировал оригинал книги, печатал фотокопии и сам изготовлял переплет.

Мне как-то попался в магазине набор «Юный переплетчик». Я его купил. Показал Вилену. Он криво усмехнулся, прочитав название набора, но содержимым заинтересовался. И даже взял у меня кусочек каптала. Через какое-то время после этого он подарил мне копию книжки *“Bridge Squeezes Complete”* (автора *Glyde E. Love*). Твердый переплет с капталом и все остальное было изготовлено, можно сказать, с любовью. На титуле – собственноручное оформление Вилен: надписи, каемочки, цветной рисунок. Эта книжка до сих пор хранится у меня.

Позднее до конечного пользователя бриджевые издания доходили, как правило, уже в виде переводов на русский язык, выполненных внутри нашего бриджевого сообщества. Вилен Нестеров перевел «Гроссмейстерский бридж» Х. Кэлси, Саша Рубашов с помощью Вилен перевел книгу Д. Парсона «100 задач». Рожковым было сделано большое количество переводов бриджевой литературы с английского. Миша Рейзин знал польский и переводил бриджевую литературу с польского. Переводы книг по бриджу стали выходить одна за другой. Конечно, все бриджисты были довольны наличием таких изданий. Но с самого начала вся эта деятельность, безусловно, носила пиратский характер.

Люди по-разному относились к пиратскому копированию на государственном уровне. Но в быту пиратское копирование не только не считалось противозаконным, но даже не считалось зазорным. И я думаю сейчас – это было правильно, что в быту оно не считалось зазорным. Представьте себе, что вы находитесь в тюрьме в компании людей, приговоренных к пожизненному заключению. Информация извне практически до вас не доходит. Или доходит, но с большим опозданием. И вот каким-то чудом в вашу камеру попадают машинописные листки с переводом книги какого-то иностранного автора, рассказывающего о том, что интересует всех в камере. Ну, скажем, о положении заключенных в советских лагерях. И эти листки предлагаются вам к прочтению. Откажетесь ли вы их читать только на том основании, что это будет противоречить Всемирной конвенции об авторском праве?

В начале 70-х я изготовил тренировочный планшет-самоучитель «Автобридж» для разыгрывания контрактов. Мне показалось, что нужно было переключиться на что-то более активное по сравнению с чтением книг по бриджу. Конечно, сейчас техническая реализация подобного самоучителя гораздо проще могла бы быть осуществлена на компьютере. Но тогда компьютеров ни у кого не было. Мой первый персональный компьютер появился у меня только в начале 88-го года. Так что тогда механическое устройство – это было то единственное, что я мог сделать.

Мой самоучитель был размером примерно с современную *e-book*. В левом верхнем углу планшета располагалась информация о торговле. Остальная часть планшета состояла из четырех отделений для каждого игрока – N, E, S, W. Основная задача, для которой использовался «Автобридж», – как разыграть контракт. При этом предполагается, что разыгрывающий сидит на S, видит свои карты и карты своего партнера и, по мере того как он разыгрывает контракт, он видит, какие ходы делают противники. Все, что нужно делать разыгрывающему, – это убирать «заглушки» одну за другой в естественном порядке.

И мне лично такой тренажер был очень полезен. Но я не помню, чтобы кто-то еще, кому я его показывал, высказал какие-то особые восторги.

Как-то я дал планшет Вилену на непродолжительное время. Он его попробовал и вернул мне, похвалив. Возможно, только из вежливости.

* * *

Время было беспокойное. И играли мы беспокойно. Резкие слова в адрес партнера можно было услышать практически на любом турнире. «Юрий Константинович соку дал» – эти слова, принадлежащие Вилену, были, пожалуй, одними из самых мягких в ряду обвинений товарищу по команде. А вот «...слил все подряд» – это уже было нечто более серьезное, означающее, что матч, скорее всего, проигран с треском.

Вася Стояновский всегда очень нервничал, когда ошибался его партнер – Миша Стрижевский. «За что ты подкладываешь меня через сдачу?» – это был обычный рефрен Васи, обращенный к Мише. Когда Вася волновался, голос его немного вибрировал, и это «за что ты подкладываешь...» не могло не вызывать улыбку любого, кто это слышал (за исключением его партнера, разумеется).

Были и другие, быть может, более мягкие конфликты между партнерами. Я был счастливым свидетелем такого диалога между Андреевым и его аспирантом Завалко (думаю, что должно быть ясно, кто обращался к партнеру на «ты», а кто – на «вы»):

- Почему ты не вышел бубной?
- Потому что вы просили пику.
- Я просил тебя выйти пикой?

– Да, вы просили пику.

– Ты знаешь, кто ты?

– Нет.

– Ты просто идиот.

– А вы кто такой?

Вилен, когда играл с Патей, переругивался с ним постоянно, но беззлобно, однако с помощью таких непечатных выражений, которые я не могу решиться привести здесь. Один из их разговоров (на отвлеченную, правда, от бриджа тему) я запомнил. Как-то Пятя в позднем междусобойчике сказал что-то о том, сколько раз он мог иметь секс за ночь. И у него там прозвучало число восемь. На что Вилен мгновенно прореагировал: «Вы, наверное, Петр Александрович, считали туда и обратно?»

* * *

Помню еще один интересный и памятный турнир того времени – в Дубне, в Доме ученых при Объединенном институте ядерных исследований. Там играло всего 8 пар. Но среди них – почти все сильнейшие пары Москвы и пара мастеров из Польши. Участие польских мастеров и было основным стимулом для того, чтобы мы с Мариком поехали в Дубну. Для нас это было единственной возможностью встретиться за бриджем с мастерами из других стран. Мы были с Мариком, по терминологии *homo sovieticus*, «невъездными». За десять лет до турнира в Дубне, в 1959 году, когда мы заканчивали с ним школу и готовились к поступлению на мехмат Московского университета, проводилась первая Международная олимпиада по математике. Она проводилась в Румынии. И мы с Мариком были включены в команду от Советского Союза. Но в Румынию мы с ним, как и еще несколько человек с еврейскими фамилиями, допущены не были.

Немного о Марике Мельникове. Он блистал талантами в любом деле, за которое брался. Но в этом «любом деле» он был своеобразен. Конечно, у него было солидное образование. Тем не менее, он любил подходить к любой проблеме как самоучка. Началось это все с самого первого его шага как математика. На свою первую олимпиаду (для семиклассников) в Московском университете он пришел, не имея никаких специальных тренировок в решении задач олимпиадного типа. Не ходил он в тот год и в математический кружок при Московском университете. И взял на своей первой олимпиаде первую премию. Кстати, на первой Международной олимпиаде в Румынии одна из задач (на делимость, основанная на алгоритме Эвклида) оказалась задачей с той самой нашей первой Московской олимпиады. Поэтому у нас с Мариком было большое преимущество перед всеми другими участниками. И хоть и не совсем честно, но по существу мы уже имели в кармане какое-то приличное место. Однако большевицкие «отбиралы» на олимпиаду подходили к этому делу с другими

критериями. Они браковали народ по кривизне носа. Этот критерий (в соответствии с их интеллектуальным уровнем) казался им наиболее существенным для решения математических задач.

Примерно в таком же ключе (как самоучка) подходил Марик и к бриджу. Ведь на те свидания с венгерской девушкой в высотное здание на Котельнической набережной Марик не ходил.

Буквально через пару лет после окончания мехмата Марик решил одну проблему, над которой много лет безуспешно ломали голову самые известные математики того времени. Проблема считалась настолько важной, что за ее решение была обещана Чебышёвская премия.

Марик подошел к решению проблемы в своем стиле. Когда он был еще студентом, он стал пытаться ее решить, так сказать, с наскока. Это не значило, конечно, что он мало знал о том, что окружало эту проблему. Конечно, его знания были обширны. И все-таки он не стал тратить много времени на «окучивание» проблемы, то есть на изучение всего вокруг. Он просто сел за чистый лист бумаги и стал пытаться эту проблему решить. Совсем уж «с наскока» справиться с этим было, наверное, все-таки невозможно. Но года через четыре он проблему добил. А это сулило и Чебышёвскую премию, и, конечно же, диссертацию.

Чебышёвскую премию Марику почему-то не дали. Возможно, те, кто ее давал, тоже принимали во внимание кривизну носа. И с диссертацией тоже поначалу были проблемы. Марик мне жаловался, что когда он написал диссертацию, оказалось, что она содержала всего восемь страниц. Его решение к всеобщему удивлению, было изящным и коротким. Но все-таки, помучившись немного, он смог дописать еще какие-то страницы к своей диссертации. Так что с ней потом все было в порядке.

После этого я спросил у Марика, над чем он теперь будет работать. Он ответил, что теперь будет думать над проблемой полуаддитивности, что это гораздо более тяжелая задача и вряд ли он или кто-то другой когда-либо в ближайшем будущем с ней справится. Наверное, всем известна шутка о проводниках и полупроводниках. Так вот, после этого разговора с Мариком я у него часто спрашивал, справился ли он с проблемой полуаддитивности. И когда он говорил, что еще не справился, я ему замечал, что это очень плохо, поскольку в его годы давно надо было бы уже взяться за проблему аддитивности.

Все эти шутки продолжались более сорока лет. В течение этих сорока лет Марик получал какие-то результаты, которые приближали его к решению проблемы. И вот совсем недавно Марик сказал, что они там у себя на Барселонщине (а Марик долгое время был профессором в Барселонском университете) проблему полуаддитивности добились. Последнюю точку в этом деле поставил один из его местных учеников. Но в целом решение всей проблемы оказалось все-таки Марикиным выдающимся достижением.

* * *

На турнире в Дубне Леон Голдин играл с Юрием Константиновичем Солнцевым, а Вилен – с Тарасом Прохоровичем. Эти две пары, наряду с парой польских мастеров, считались фаворитами турнира. Всего в Дубне собралось восемь пар.

В то время сбалансированные схемы парных турниров не были еще общедоступны. Хотя у нас в запасе уже были какие-то из них. Но в момент турнира в Дубне я сообразил, что наука, которой я занимаюсь (планирование эксперимента), имеет прямое отношение к составлению схем парных турниров по бриджу. И мы играли там по составленной мной схеме для 8 пар, в которой было 7 кругов, по четыре раздачи в каждом. Любая из пар встречалась с каждой из оставшихся пар на своем столе ровно в одном круге (в четырех раздачах). Во всех семи кругах каждая из пар играла как бы в одной команде с каждой из других пар ровно три раза и как бы против каждой из пар ровно четыре раза. Такая схема, как потом выяснилось, конечно же, была известна цивилизованным бриджистам и имела название "*8-Pair Howell Master Sheet*".

Нам с Мариком удалось занять в Дубне первое место, на втором были Генрих Грановский с Володией Ткаченко, на третьем – польские мастера. Алик Макаров в своих воспоминаниях пишет, что первое место в этом турнире заняла венгерская пара. Правда, он оговаривается, что помнит это «смутно». Возможно, конечно, что в Дубне был еще какой-то турнир, о котором я не знал или забыл. Но мне это представляется маловероятным. Так что, я думаю, Алик здесь ошибся.

Еще одну ошибку в воспоминаниях московских бриджистов я отношу к Львовскому турниру. Там, правда, все произошло наоборот. Нам с Мариком было приписано первое место в турнире 1972 года, чего в нашем активе не было. Но об этом будет еще идти речь впереди.

ГОЛУБАЯ КАЕМОЧКА

На Таллинский турнир 70 года мы собрались почти в том же составе, что и в 69-м году. У нас была единственная замена – вместо Славы-мальчика с Юрием Константиновичем должен был играть Юра Малиновский. Общее мнение было таково, что Юра – очень крепкий игрок. Поэтому мне казалось, что мы определенно будем бороться за первое место. Наверное, так думали и все остальные члены нашей команды.

Я приехал в Таллин последним. Все уже были там. Меня встретил Леон и ошарашил заявлением, что команды у нас нет. И что завтра никакой игры не будет. На мои вопросы, в чем дело, отвечал как-то сбивчиво. Я только понял, что его обидел Юрий Константинович, не поддержав какую-то Леоновскую шутку. И что Вилен тоже был в этом замешан. Но главным виновником был Константиныч.

Прошло несколько минут, и Леон стал мне понемногу выдавать какие-то подробности. Кто-то вызвал его вниз, в фойе гостиницы. Но там никого не оказалось. И он понял, что его решил разыграть Юрий Константинович. Поэтому он вернулся в номер и сказал, что его вызывали организаторы турнира и что нужно срочно собрать со всех по десять рублей. Но ни Константиныч, ни Вилен на это не прореагировали. И Леон завелся. Он, Леон, поддержал шутку Константиныча, а Константиныч его шутку не поддержал!

Мы пришли в гостиницу. Обстановка там была тяжелой. Ни Константиныч, ни Вилен не могли объяснить мне, что происходит. Леон вел себя очень агрессивно. Отрицал всякую возможность игры в команде. И называл Константиныча и Вилену гов..м.

Я предложил Леону и Константинычу прогуляться и выяснить отношения. Они согласились. Мы пошли бродить по ночному Таллину. Леон продолжал сыпать оскорблениями в адрес Юрия Константиновича, а Константиныч уверял Леона, что вообще не понимает, о чем тот говорит.

И тут Леон неожиданно и без всякой видимой причины резко развернулся и ударил Юрия Константиновича в лицо кулаком. Константиныч в этот момент курил. И удар Леона пришелся прямо по горящей сигарете. Посыпались искры. Юрий Константинович взвыл. «Вон из команды!» – заорал он Леону.

К сожалению, это был не единственный случай, когда Леон пытался силовым образом разрешить конфликт. Еще об одном случае свидетельствует Сережа Андреев в своих воспоминаниях. Дело происходило в Доме культуры Института им. Курчатова во время одного из парных турниров. На этом турнире Леон схватил гипсовый бюст предводителя русской революции 17-го года и пытался ударить им Константиныча. В дело вмешался Генрих Грановский и предотвратил конфликт. По всей видимости, это уже был тот небольшой бюст, который притащила в клуб Аня Кирьянкова взамен разбитого большого бюста.

Я был косвенным свидетелем еще одного эпизода. На одном из Таллинских турниров Леон поспорил с Виленом и, видно, хотел даже как-то применить силу. Деталей этого конфликта я не знаю, потому что не стал особо допрашивать ни Вилену, ни Леона. Знаю только, что Вилен как-то увернулся от Леона и схватил его за руку, а потом за палец. И за палец он его схватил как-то очень удачно. Так что Леон в конце концов вынужден был сдаться.

Когда я увидел Леона с перевязанным пальцем, не зная еще, что произошло, спросил у него, что с пальцем. Леон ответил: «Вывихнул палец, пытаюсь разыграть большой шлем». Это было очень в духе Леона – шутить в ситуации, близкой к трагичной.

Когда Леон был в благодушном состоянии, он вел себя сдержаннее. И если обижался на своего партнера или на товарища по команде, говорил: «Я объявляю тебе контру!» Этим все, как правило, и ограничивалось. Я был свидетелем такого «объявления

контры» много раз. Все понимали, что это шутка. И шуткой все и заканчивалось.

Слава Демин недавно рассказал мне об одном таком эпизоде. Они играли в паре с Леоном в Таллинском турнире. Как-то вечером Слава пошел куда-то с кем-то выпить. Когда он вернулся в гостиницу, Леон ему сказал, что полагает, что Слава ходил куда-то выпить без него. Слава подтвердил это, а Леон заметил, что такое Славино поведение – это нарушение атмосферы товарищества в паре. И тут же объявил Славе «контру». А когда Слава спросил, что это значит, Леон ответил, что завтра на турнире вместо привычных для Славы позиций на *North* и *East* он посадит его играть на *South* и *West*.

После того как Леон ударил Константиныча, надежд на примирение больше не оставалось, и мы потянулись обратно к гостинице.

В гостиничном номере Леон опять стал говорить, что его пытался разыграть Константиныч. В это время там уже был Юра Малиновский. Юра слушал всю эту историю и поначалу ничего не понимал, но потом стал прислушиваться к словам Леона все внимательнее и внимательнее. И вдруг Юра сказал, что это он вызвал Леона вниз. Какая-то была на это причина. Но внизу он Леона не дождался. И потом забыл ему об этом сказать. Подозревать Юру Малиновского в том, что он хотел подшутить над Леоном, не стал бы никто. Даже Леон.

Поэтому Леон, по-видимому осознав, что он был неправ по отношению к Константинычу и к Вилену, сменил тональность разговора. Он сказал, что если ему сейчас же будут принесены извинения, то он, возможно, даст свое прощение. Только извинения эти должны быть принесены Константинычем и Виленом на блюдечке с голубой каемочкой и обязательно вместе.

Я бросился разыскивать блюдечко с голубой каемочкой, Марик бросился к Вилену. А у Виленка была такая особенность: в минуты сильных переживаний («тягостных раздумий») он что-то такое делал во рту, из-за чего складывалось впечатление, что он жует язык. Так вот, когда Марик бросился к Вилену и стал ему что-то нашептывать на ухо, тот стал усиленно жевать язык.

Вилену, видимо, стоило больших усилий разыгрывать дальнейшую сцену. Он и Константиныч стояли перед Леоном, держа вместе блюдечко с голубой (условно) каемочкой, и попеременно говорили: «Леон! Прости, если мы чем-то обидели тебя».

«Вместе!» – командовал Леон.

Они пытались сказать то же самое вместе: «Леон! Прости, если мы чем-то обидели тебя». Но «вместе» получалось плохо.

А Леон продолжал жестко требовать: «Вместе!»

Была уже поздняя ночь. Наутро надо было начинать серию победных матчей. Но моральный климат команды «Москва-1» был

пока еще не на самом высоком уровне.

Вот и здесь, в ситуации, когда Леон уже, по логике вещей, должен был осознать, что был неправ, и то, что он ударил Константиныча, было непрослительной ошибкой, он продолжал настаивать на своем. И вдобавок ко всему это его «Вместе!» определенно было элементом какой-то жуткой шутки!

В этот момент Марик заметил: «Леон, это уже становится как-то совсем...» И тут Леон вдруг сказал: «Аут!»

Я не сразу понял, что означает это «Аут!». Но Константиныч, видно, знал Леона лучше. Он бросился к нему, и они стали обниматься. Юрий Константинович (по-моему, со слезами на глазах) шлепал Леона по спине и говорит: «Левка! Левка!»

Вилен вел себя сдержаннее и обниматься с Леоном не стал.

Мы с Мариком отправились к себе в номер спать. И наутро первым делом пошли опять в номер Леона – проверить, как там дела. К нашему ужасу, Леон встретил нас заявлением, что команды у нас нет. И что виновником этого является Константиныч. На вопрос, в чем дело, Леон объяснил, что Константиныч, находясь утром в туалете, слишком громко пукнул. Не сразу, но постепенно мы поняли с облегчением, что это была шутка. Команда у нас все-таки была. Можно было идти завтракать.

Завтракали в кафе, с шутками и прибаутками. Как будто ничего и не было. Я заказал себе какую-то булочку и три чая с молоком и вареньем. Моя булочка, три чашки чая, три блюдечка с вареньем и три кувшинчика с молоком занимали почти весь столик. Но никого это не раздражало. После блюдечка с голубой каемочкой все остальное уже казалось полнейшей ерундой.

Кто-то из наших заказал кашу. А Вилен сказал, что кашу он есть не может, потому что не знает, что с ней надо делать, когда он кладет ее себе в рот. Жевать ее бессмысленно. А проглотить ее не жуя он не может.

На следующее утро мы с Мариком поспешили опять в номер к Леону проверить, не случилось ли там чего-то плохого. Ничего плохого не случилось. В этот момент в номер вошел Миша Кронрод (он с Мишей Донским выступал там за команду «Москва-2») и сказал, что ему всю ночь снился один и тот же сон. Будто он приходит в магазин и просит нарезать ему колбасы. И продавщица начинает нарезать: туз, король, дама, валет...

Этот рассказ Миши Кронрода произвел на меня большое впечатление. Потому что мне тоже всю ночь снились сны, где, что бы я ни делал, все время получалось одно и то же: туз, король, дама, валет. Если я во сне шел, то ноги шли так: туз, король, дама, валет. Если я что-то ел, то ложка брала что-то с тарелки обязательно в той же последовательности: туз, король, дама, валет...

Турнир продолжался. Мы одерживали одну победу за другой. Наши противники, напуганные нашими успехами, нервничали и делали массу ошибок. Весь турнир прошел для нас как легкая

прогулка. Казалось, что и напрягаться нам не обязательно. Противники делали все за нас.

После очередного выигранного матча ко мне подошел довольный, улыбающийся Вилен и спросил: «Что вы там с Мариком сделали с литовцами?» «А что такое?» – спросил я его. «Да сидят два ваших литовца, лоб ко лбу, и один из них говорит другому: "У меня дамас, шестеркас, двойкас, а ты, мудакас, с валетаса ходишь!"»

В заключительном матче с командой Таллина, мы с Мариком сидели против Тобиаса с партнером. В одной из последних сдач, имея согласование 4-4 и в пиках, и в червах, мы заказали 7 пик – большой шлем в пиках. Партнер Тобиаса сконтрировал. Мы (естественно!) реконтрировали. Тобиас имел на руках непрорезаемую четвертую даму червей. Но он дисциплинированно (после контры партнера) вышел червой. Это был единственный ход, который выпускал шлем.

Наша команда выиграла турнир с приличным отрывом от второго места. Мы с Мариком стояли еще около нашего стола, что-то обсуждали. Тобиас вернулся нас поздравить. «Вы хорошие ребята, – сказал он. – Но с вами за один стол я больше не сяду». Тобиас явно преувеличивал наши заслуги тогда. Нам приходилось еще не раз сидеть с ним за одним столом. Приходилось и терпеть от него поражения.

Когда на этом турнире мы с Виленом только еще вошли первый раз в зал для игры, мы увидели группу эстонцев. Они были и организаторами, и участниками турнира. И кто-то из них, вспоминая, по-видимому, наши разговоры на банкете турнира прошлого года, спросил нас: «Ну как там у вас в Крэмлэ?» На что мы с Виленом развели руками и почти в один голос стали говорить, что мы, мол, не виноваты и что мы ничего не можем с этим поделать. «Да мы знаем, мы знаем», – услышали мы в ответ. И это «мы знаем, мы знаем» звучало для меня чертовски приятно.

И-И-ОПАНЬКИ!

Следующим был турнир в Вильнюсе в июне 1971 года. Я опять играл с Мариком, Вилен – с Леоном. По-моему, Малиновского там не было, и с кем играл Юрий Константинович, я не помню. В основном, командном, турнире мы с Мариком играли неудачно, в связи с чем Леон даже выразил нам свое неудовольствие. Вернее, он не выразил его прямо, но стало ясно, что нашей игрой он недоволен. Поэтому, когда командный турнир закончился и надо было образовывать четверки для игры в «Паттоне», стало ясно, что команду должны были покинуть именно мы с Мариком.

Мы объединились с парой Пржбыльский – Сластенин из второй московской команды. При этом мы сказали им, что нас из команды выгнали и мы хотим взять реванш. Слово «реванш» прозвучало в разговоре несколько раз. И мы начали играть в боевом настроении.

Тем не менее поначалу мы играли без блеска. Примерно так же неудачно начала и первая московская команда, с Виленом и

Леонам. Обе наши команды долгое время находились где-то в середине турнирной таблицы. И только ближе к концу мы постепенно стали пробиваться к первым столам. К финальному матчу обе наши команды оказались в группе лидеров. И вот мы, наконец, в последнем туре встретились в решающей поединке на первом столе.

Я сел за стол против Вилена и Леона. Марик запаздывал. Он проверял рассадку. Марик всегда беспокоился: а вдруг наша команда сидит на одной и той же линии в обеих комнатах? И независимо от того, играли ли мы в открытой или закрытой комнате, он шел в другую комнату и проверял там рассадку.

Наконец появился Марик. Все как-то явно нервничали. До самого последнего момента не было ясно, кто же выиграет этот микроматч. В последней сдаче в обоюдной торговле мы назначили три без козыря, которые Леон сконтрировал. Он сконтрировал их без всякой паузы, с некоторым раздражением, что было абсолютно ему не свойственно. И я объясняю это только тем повышенным напряжением, которое вдруг возникло между нами. Кстати, когда я разыгрывал этот контракт, я поймал себя на том, что у меня немного дрожали руки.

Три без козыря были нами выиграны. Вместе с этим мы выиграли и матч. Выигрыш последнего матча на первом столе в «Паттоне» обычно приносит команде первое место. Но в тот раз этого не произошло. Выиграв последний матч на первом столе, мы заняли только второе место. Нас обогнала команда со второго стола, победившая с крупным счетом. С командой Вилена и Леона все получилось еще обиднее. Они даже не попали в тройку призеров и оказались на четвертом месте. Их обогнала еще одна команда, победившая с крупным счетом на третьем столе.

Мы с Мариком получили по диплому Комитета по физкультуре и спорту при Совете министров Литовской ССР за выигранное второе место в Вильнюсском турнире по спортивному бриджу.

После «Паттона» мы с Мариком зашли в пивной бар. Выпили там пива с какой-то копченой рыбой. Видимо, эта рыба как-то очень прошла контроль моего желудка. И когда мы пришли в гостиницу и сели играть, мне стало худо. Я еще играл. Но чем дальше, тем мне становилось все хуже. По всей видимости, я отравился вполне серьезно. В какой-то момент я сказал, что играть не буду, и лег на кровать. Это обеспокоило всех. У меня был жар. И хотя я весь просто горел, у меня стали коченеть и неметь руки.

И тут в бой вступил Слава-мальчик. Он потащил меня в туалет и стал промывать мне желудок тем способом, которому был, по всей видимости, хорошо обучен. Он наполнял бутылку водой прямо в туалете. Разжимал мне зубы руками, помогая горлышком бутылки, и вливал ее содержимое в меня. Потом обхватывал меня сзади и, нажимая на живот со всей силой, приговаривал «и-и-опаньки! и-и-опаньки!» Потом наполнял бутылку еще и еще раз и опять

делал мне «и-и-опаньки!» Я висел у него на руках, не в силах сопротивляться. И в конце концов он притащил меня в номер и уложил на кровать. Все продолжали играть.

Через какое-то время я почувствовал себя лучше. И спросил, есть ли у кого-нибудь кусочек хлеба. Мой вопрос вызвал неожиданную для меня реакцию. Все повскакали с мест, издавая какие-то радостные звуки. Меня тут же вытащили из кровати и посадили за стол. Так мы и проиграли до самого утра.

Мы возвращались в Москву вместе с Виленом и Леоном. В поезде весь остаток дня и всю ночь играли против них. Находясь еще под впечатлением от нашей победы над ними в «Паттоне», мы продолжали наступать. Марик был в ударе и играл безошибочно. А они играли без энтузиазма. Вилен пил коньяк и все время сокрушался: «Марик, почему ты ТАМ не играл так?»

ДЕЛО БЫЛО ВО ЛЬВОВЕ

Львовский турнир 1972 года («конгресс» – так называли этот турнир его организаторы) был знаменательным для московского бриджа. Знаменателен он был не только тем, что первая московская команда заняла там первое место. Львовский турнир оказал заметное влияние на развитие московского бриджа. Во-первых, москвичи познакомились с польской системой торговли «Общий язык», впоследствии известной под названием *“Polish Club”*. И после этого многие московские пары стали играть по этой системе или, по крайней мере, стали заимствовать какие-то ее элементы. А во-вторых, на Львовском турнире москвичи узнали о существовании польского журнала «Бридж». Кто-то оформил подписку на этот журнал, кто-то достал старые его номера. И журнал стал ходить в Москве по рукам.

Первая московская команда заняла в 1972 году на турнире во Львове 1-е место. «Самая сладкая победа в бридже в моей жизни», – такими словами говорит о Львовском турнире Миша Кронрод. И продолжает: «Дело было во Львове, где мы выиграли турнир с фантастическим результатом, кажется, мы набрали 82%. Нам все удавалось, а если и были отдельные неудачи, то они с избытком покрывались блестящей игрой партнеров. Если не ошибаюсь, это были Марик со Славой и Вилен с Патей».

Вот в этом Миша Кронрод ошибается. И та сдача, которую Миша Кронрод называет самой феерической сдачей в его жизни, где они с Мишей Донским выиграли 6 пик под контрой с лишней и где, как он считает, мы с Мариком на другом столе защитились семью бубнами, сев без одной, нами с Мариком не игралась.

Мы с Мариком не принимали участия в этом турнире. А мне вообще никогда не удалось даже побывать во Львове. За первую команду от Москвы тогда выступали Генрих Грановский с Володей Ткаченко, Миша Донской с Мишей Кронродом и Вилен Нестеров с Петром Александровичем Слостениным.

ШВЕДСКИЕ БУТЕРБРОДЫ

В 1972 году Москва на основном турнире в Таллине была представлена двумя командами. Это произошло потому, что в 1971 году обе московские команды выступили довольно успешно.

В 1971 году я не смог поехать в Таллин. В Первой московской команде играли в 71-м Вилен Нестеров с Леоном Голдиным и Патя (Петр Александрович Слостенин) со Славой-мальчиком (Славой Пржбыльским). Кто играл в третьей паре, я точно не помню (наверное, потому, что призового места тогда команда не заняла).

Второй московской командой в 1971 году был «Дипломник» (Миша Донской с Мишей Кронродом и Вася Стояновский с Мишей Стрижевским). Первая московская команда не заняла призового места, но выступила достаточно успешно. «Дипломник» играл во второй лиге и занял там первое место. В итоге Москва получила в 72-м в Таллине два места в основном командном турнире.

В это время общее мнение в Москве было таково, что отбор на выездные турниры надо проводить на основе парных состязаний. Мне казалось это не совсем правильным. Ведь если на любом выездном турнире основным является командный турнир, то и отбор было бы естественно проводить командный. Вилен был со мной в этом согласен. Однако ни у меня, ни у Вилена не было желания активно отстаивать эту точку зрения. А Вилен мне сказал, что может нравиться та или иная форма отборов, но, в конце-то концов, самым главным он считает, чтобы у всех были равные шансы. И если отбор такой, что все имеют одинаковые права, то это его вполне устраивает.

Трудно было не согласиться с такой точкой зрения. И в 72-м отбор на Таллинский осенний турнир проводился на основе парных состязаний. Вот что об этом пишет Саша Рубашов:

«Летом 1972 г. в Москве стали проводить отборочные турниры за право поехать на Таллинский турнир, в котором участвовали лучшие бриджисты страны... Так как Бутаев уехал летом на заработки, я играл с Лешей Зотовым (Тим Зотов ходил тогда пешком под стол). Желающих принять участие в отборе оказалось очень много (!), отбор проводился долго и в 2 стадии; на 2-й стадии к отбору присоединились сильнейшие пары Москвы: Голдин – Нестеров, Мельников – Бродский, Солнцев – Пшебыльский [Пржбыльский. – С.Б.]...»

Первая команда Москвы в составе Голдин – Нестеров, Донской – Кронрод и Стрижевский – Стояновский выиграла командный турнир [в Таллине. – С.Б.] и завоевала кубок, из которого в поезде на обратном пути дружно пили водку. Голдин с Нестеровым показали очень высокий результат и в парном турнире (2-ю сессию выиграла с огромным отрывом)... С нашей же командой начались приключения еще до начала турнира. Я, Зотов и Мельников вылетели в Таллинн заблаговременно, Слава Бродский мог начать турнир только на второй день, а Ю. К. Солнцев с Пшебыльским решили лететь в последний момент и попали в нелетную погоду. Слава Пшебыльский, перенервничав, вообще поехал из аэропорта домой, а Юрий Константинович изрядно опоздал к

началу турнира, и мы остались втроем. Пока он добирался, мы получили уже изрядный штраф и заняли в итоге последнее, 8-е место».

Да, Первая московская команда выступила на Таллинском турнире 1972 года отлично. Отлично выступили и Вилен с Леоном в одной из сессий парного турнира, выиграв ее с большим отрывом от второго места.

Вилен рассказал мне такую историю. В парном турнире они с Леоном сидели на линии N-S. И вот в какой-то момент к ним за стол пришли супруги Бабаджан. Пара Нестеров – Голдин могла внушить страх кому угодно. Поэтому, увидев за очередным столом Вилену с Леоном, Бабаджан сказал: «О-оо! Пришли в логово к волку».

Бабаджаны начали с того, что в первой сдаче не поставили очевидный шлем, который игрался практически всеми, но который у всех шел без одной из-за плохого расклада.

Во второй сдаче после торговли «1 пика – 2 пики» Бабаджан сказал: «Когда жена приглашает – я всегда принимаю». И поставил 4 пики.

А дальше пошел такой диалог:

– Кто тебя приглашал?

– Ты же сказала – три пики.

– Я сказала – две пики.

В этой сдаче все импасы проходили и все, что нужно, было пополам. Итого Вилен с Леоном заработали два чистых нуля.

С тех пор, когда случалось мне в парном прийти за стол, где сидел Вилен, я всегда говорил: «О-оо! Пришли в логово к волку». Вилен всякий раз при этом посмеивался. Но посмеивался он как-то кривовато. Во-первых, потому, что это вызывало у него неприятные воспоминания. А во-вторых, потому, что я явно намекал – то, что произошло с ним когда-то давно, может сейчас повториться. Я знал – то, что я говорю, Вилену не очень нравится. Но я не мог отказать себе в этом удовольствии и продолжал говорить: «О-оо! Пришли в логово к волку».

* * *

Мы с Мариком ничего хорошего в Таллинском турнире 1972 года не показали. Поэтому все приятные воспоминания о поездке были связаны только с тем, что к бриджу никакого отношения не имело.

Нас поселили в открытой в мае того же года новой гостинице «Виру». Это была первая высотная гостиница города. Говорили, что в ее строительстве принимали участие финны. Внутри все выглядело для нас необычно и шикарно.

В мой первый игровой день мы попали в «Виру» довольно поздно. На втором этаже еще работал буфет. И мы пошли туда. Сказали, что мы очень голодны. Официантка предложила шведские бутерброды. Я попросил принести мне десять бутербродов. Остальные решили заказать по пять. Девушка спросила, знаем ли

мы, что такое шведские бутерброды. Никто, разумеется, не знал. Она сказала, что это очень большие бутерброды, и посоветовала заказать только по одному. Тогда я сказал, что если это очень большие бутерброды, мы возьмем по четыре на человека. В итоге препирательств мы заказали по два бутерброда, и этого оказалось вполне достаточно. Выглядели шведские бутерброды так: большая буханка черного хлеба разрезалась вдоль на громадные куски, и на этот кусок в разных его частях клалась всякая всячина – салат оливье, шпроты, креветки, яйца, помидоры, огурцы. Это было неплохим гастрономическим утешением от неудач командного турнира.

Не показали мы ничего хорошего с Мариком и в парном турнире. Несмотря на то, что «Малый БУКС», казалось, должен был бы давать нам хорошее преимущество в парных турнирах, становилось очевидным, что парные турниры «на макс» мы играем плохо. Быть может, потому, что я, например, рассматривал их как тренировочные для командного турнира. Что, естественно, не могло привести к хорошим результатам. Надо было пересматривать свое отношение к парным турнирам. И это нам удалось сделать на следующий год в Таллине, где мы с Мариком превзошли достижение Вилена и Леона в турнире 72-го года.

РАЗ ВЕЗЕНИЕ, ДВА ВЕЗЕНИЕ...

Не знаю, почему спасовали энтузиасты парного отбора в 1973 году, но отбор на Таллинский турнир 1973 года был командным. Вот как описывает заключительный этап этого отбора Алик Макаров:

«Последний турнир мы в паре с Марком [Глушаковым. – С.Б.] сыграли осенью 73-го, <это был> отбор к Таллину, который теперь был командным. Компанию нам составил переехавший в Москву Оскар Борисович Штительман в паре с Юрием Константиновичем Солнцевым. Мы разделили выходящее место с "Форсингом", за который играли Вилен – Леон и Мельников – Бродский. Дополнительный матч играли в одном из "домов" Мельникова – комнате в коммуналке на ул. Кирова (ныне Мясницкая). "Закрытая комната" в этой комнате с потолком высотой метров в пять располагалась на антресоли со входом в виде лестницы. Этот матч был интересен тем, что 32 положенные сдачи завершились вничью и победитель (увы, не мы) определился лишь в 5-й или 6-й по счету дополнительной сдаче».

Итак, «Форсинг» выиграл отбор и поехал на турнир в Таллин.

Командный турнир мы отыграли неважно. А вот в парном мы с Мариком Мельниковым выступили неплохо.

БУКС разрабатывался с прицелом на командные турниры. Но он представлялся мне достаточно эффективным и для парных состязаний. И это было подтверждено в Таллине в 1973 году.

Парный турнир в Таллине в 1973 году состоял из четырех сессий

и длился два дня (по две сессии в день). Первую сессию мы отыграли довольно средне. А вот во второй заняли второе место. Настал второй день и третья сессия. Всю эту сессию меня не покидало чувство какого-то жуткого невезения. Вроде бы и играли мы достаточно неплохо, но заняли место где-то чуть выше середины.

И вот наступила последняя, четвертая сессия. Здесь все изменилось. Никогда потом в жизни не было у меня такого везения, как в этой сессии. Казалось, наши противники только и думают о том, чтобы заработать с нами чистый ноль. Когда нам оставалось играть только еще на двух столах, я сказал Марику, что мы определенно идем на первом месте с большим отрывом, поэтому хорошо бы отыграть оставшиеся четыре сдачи спокойно, по-среднему. Марик со мной согласился. Но отыграть «по-среднему» оставшиеся сдачи нам не удалось. Во всех четырех сдачах наши противники, хоть и разными путями, но умудрились заработать по нулю. В результате мы выиграли первое место в последней сессии с каким-то рекордным результатом и громадным отрывом от второго места. По сумме четырех сессий мы заняли второе место и получили по три приза: за второе место во второй сессии, за первое место в четвертой сессии и за общее второе место. Одним из призов была какая-то сверкающая никелированной красотой фритюрница. Вторым призом, кстати, тоже была фритюрница. И я отдал ее кому-то из наших. А в качестве третьего приза я выбрал себе маленький сувенир: свечку с изображениями карточных мастей.

И ЭТО ВСЁ НАМ?!

Следующими памятными турнирами для меня были два рождественских турнира в Тарту – в 1974 и 1975 годах. Еще осенью 74-го мы сговорились с Виленом играть в Тарту в паре. И он принял мое предложение играть там по БУКС'у. Нашими партнерами на турнире 74 года были Генрих Грановский и Володя Ткаченко.

* * *

В Тарту в один из дней мы ночевали мы в гостинице, которая всегда резервировалась для размещения олимпийских команд. В какой-то момент, когда все были заняты разборками со своим партнером, двери гостиницы распахнулись, и мы увидели, как в нее заходят молодые девушки. Это была женская олимпийская команда пловчих. Все девушки были молоды, симпатичны, с точеными фигурами.

Павлик Маргулес, который оказался в этот момент близко к дверям, раскинул руки в стороны и сказал: «И это всё нам?!»

Девушки, которые заходили в гостиницу с невеселыми лицами, вдруг просто расцвели. Они не ожидали увидеть там столько симпатичных молодых людей. Однако их ждало разочарование. Молодые симпатичные люди только на миг повернули голову в их

направлении – и тут же обратно к своему партнеру, с выяснениями, почему он назвал пику, а не черву, и почему он не забил трефу на втором ходу.

Тут, наверное, случилось что-то близкое к тому, о чем однажды сказал Уоррен Баффет: *“If I’m playing bridge and a naked woman walks by, I don’t even see her”*.

Здесь я сделал бы такое «лирическое отступление». Где-то я читал в воспоминаниях Алика Макарова о том, что Марик Мельников проводил опрос бриджистов с одним-единственным вопросом: что они больше почитают – секс или бридж. Ну и в воспоминаниях Алика это выглядит так, будто все склонились на сторону бриджа, и только я один выбрал секс. На самом деле все было совсем не так.

Действительно, Марик проводил такой опрос. И действительно, все выбрали бридж. Действительно, он подошел с этим вопросом ко мне. Но я не выбрал секс. Кстати, слово «секс» не было тогда в ходу. И, наверное, он задал свой вопрос немного по-другому. Но сути это не меняет. Я не выбрал тогда секс. Я вообще ничего не выбрал. Потому что, когда прошло примерно две или три секунды с того момента, как Марик задал мне свой вопрос, а я еще ничего ему не ответил, он сморщился весь и завыл: «У-ууу!» Потом закатил глаза к потолку и пошел прочь от меня. Вот как все было на самом деле.

А в Тарту в 1974 году мы завоевали «серебро» в командном турнире. Правда, «серебряные» медали, которыми нас наградили, были сделаны из чистого дерева.

* * *

Летом следующего года я ездил на турнир в Отепя. Прибыл туда и Витольд Бруштунов. Он приехал с Ирой Левитиной. Я по его просьбе снял им там дом на те дни, пока проходил турнир. Как раз тогда из Отепя отъехала хоккейная команда «Динамо». И освободился дом, где жил Аркадий Чернышев – их тренер.

Ирине исполнился тогда только 21 год. Но она уже имела достижения в шахматах на самом высоком уровне. В 71-м она победила в женском чемпионате СССР. В 72-м она выиграла шахматную олимпиаду в составе команды СССР (вместе с Ноной Гаприндашвили и Аллой Кушнир). А в 74-м повторила свой успех, тоже выиграв шахматную олимпиаду (на этот раз – с Ноной Гаприндашвили и Наной Александрией). К тому моменту она уже побеждала несколько раз в международных шахматных турнирах. Но в бридже у нее тогда еще не было самых высоких достижений. Она еще не была тогда пятикратной чемпионкой мира.

Ирина жила в Ленинграде. И в 74-м Витольд покинул Львов и переехал в Ленинград. После этого начался расцвет ленинградского бриджа.

Мой сосед по Преображенке Володя Воловик, который активно участвовал в московских бриджевых сражениях, очень хотел

поучаствовать в турнирах в Отепя. Но не знал, как сказать об этом своей жене Ане. И он предложил ей поехать отдохнуть куда-нибудь летом. Куда? Да хоть в ту же Прибалтику. Куда в Прибалтику? Да куда угодно. И Володя взял первые попавшиеся билеты на поезд. А когда они сошли с поезда, предложил Ане взять первые попавшиеся билеты на автобус. Первыми попавшимися билетами на автобус оказались билеты до Отепя. Когда в Отепя они сошли с автобуса, то попали прямо на меня. И я, ничего не подозревая, объявил им, что они прибыли очень вовремя. И что сегодня, вот прямо через сколько-то там минут, начнется парный турнир.

Аня была шокирована. И, по всей видимости, Володя пережил несколько неприятных минут в домашней разборке. Но вскоре все наладилось в их семействе. Потому что для Ани там нашлась хорошая компания, и она, в конце концов, пребыванием в Отепя была очень довольна. Более того, Воловики на следующий год поехали в Рониши.

В Отепя мы играли новыми колодами карт, которые назывались «оперными». Они назывались так потому, что на них каким-то образом были отражены несколько известных опер. Но это абсолютно не мешало игре. А вот что в этих картах было совершенно ужасным, так это то, что масти на них были изображены как-то диковато, вычурно. Так что человеку непривычному было очень легко спутать черву с бубной.

И вот в середине турнира в открытой комнате с какого-то стола раздался резкий зов: «Судья!» Судья подошел к столу. Игрок, позвавший судью, сказал: «Я не могу отличить черву от бубны!» Судья посмотрел в его карты: «Так у вас же нет бубей». Все посмеялись. Особенно за соседними столами. Потом, когда все отсмеялись, возникло некоторое замешательство. Судью с бранью прогнали вон. Сдача была аннулирована.

В Отепя мы выступили в целом неважно. Особенно болезненно я вспоминаю наш матч с командой Харькова. Он состоялся утром. А поздним вечером накануне мы пошли в финскую баню. Начали мы париться уже за полночь. И закончили только где-то под утро. У меня разболелась голова. А тут еще оказалось, что я сидел не очень удобно – мне в голову пекло солнце. И матч мы этот проиграли очень сильно.

* * *

На Рождество в 75-м мы с Виленом опять поехали в Тарту. Нашими партнерами по команде опять были Грановский с Ткаченко. Турнир складывался удачно для нас. Последний матч, который определял, кому достанется первое место, мы играли с командой Витольда Бруштунова и Иры Левитиной.

Во второй половине матча мы сидели с Виленом против Иры. Витольд в это время играл за другим столом. Матч был упорным. Но нам удалось его выиграть, а с матчем завоевать медали за первое

место. И на этот раз медали (теперь уже «золотые») тоже были изготовлены из чистого дерева.

ЕДЬБА ТОРТОВ ТИМАМИ

Следующие два лета расширенный «Форсинг» играл в Ронишах – в спортивном городке Рижского университета. Он находился в городке Клапкалнциемс на Рижском взморье.

Я решил поехать туда на новом красном «Запорожце», купленном осенью 1975 года. (Кстати, на деньги, одолженные у Кози Олиной и Коли Бахвалова.) А поскольку и водительские права были приобретены мной только в то же самое время, считалось, что ехать со мной опасно. Во всяком случае, все домашние в один голос сказали, что посадить со мной в «Запорожец» мою дочь Аньку будет просто преступлением.

Пожертвовать собой (то есть сопровождать меня в моей поездке) решил Володя Кузнецов, который работал у меня в группе. Он уже какое-то время играл в бридж. Поэтому-то и решил поехать в Клапкалнциемс.

За «Форсинг» играли Вилен Нестеров с Оскаром Штительманом, Леня Орман с Петром Александровичем Слостениным и я с Сашей Рубашовым. Вторая сборная Москвы состояла из таких трех пар: Сережа Солнцев (сын Юрия Константиновича) – Юра Соколов, Володя Иванов – Феликс Французов, Толя Гуторов – Володя Кузнецов.

В 76-м в Ронишах никаких высоких мест мы не заняли. Но вспоминаю я этот турнир с большой теплотой. И я, и все наши чувствовали себя там расслабленными и счастливыми. Должен сказать, что играть с Сашей Рубашовым мне было очень приятно.

Вилен как-то назвал Сашу в каком-то разговоре Гароццо. (Для тех, для кого это имя ни о чем не говорит, скажу, что Бенито Гароццо – десятикратный чемпион мира по бриджу.) Я спросил Вилену, почему он так назвал Сашу. Вилен ответил, что Саша похож на то фото Гароццо, которое Вилен где-то видел. А когда Вилен встречал Сашу перед очередной игрой, он ему говорил: «Гароццо, Гароццо, пойдем с тобой бороться!» Саша на это всегда улыбался своей лучезарной улыбкой.

Последнее, что я слышал о Саше, был рассказ Славы Демина (по телефону из Парижа). Слава приглашал Сашу поиграть летом 2007 года в Рыбинске, в центре Спорта и отдыха «Дёмино». Саша колебался – поездка стоила недешево. Но потом сказал: «Однако живем!», и они туда поехали. Заняли второе место. Конечно, оба были страшно довольны этим. И через несколько месяцев, в том же году, 30 декабря, Саши не стало.

Возвращаясь к рассказу о Ронишах. На следующий год к нам присоединился Слава Демин. Но за расширенный «Форсинг» он не играл. С ним в России я не играл ни в паре, ни в одной команде. Но мы иногда оказывались вместе на выездных турнирах.

Мне запомнилось, что он очень серьезно относился к процессу еды как явлению социальному. Слава даже в купе поезда умудрялся как-то очень красиво сервировать стол с нехитрой закуской. А ко мне у него была претензия. Я, в его представлении, слишком быстро проглатывал чай с той порцией закуски, которая мне причиталась. Я пытался оправдываться тем, что это было купе поезда (хотя я и в нормальной обстановке ем быстро). Но Слава продолжал сокрушаться по этому поводу. И говорил, что, мол, бывают же люди, которые не умеют себя вести в приличной компании.

В другой раз, помню, Слава Демин принес к общему столу вяленую дыню. И пока я ее пробовал и ахал, и охал, и говорил, что ничего вкуснее я в своей жизни не ел, и, видно, и не съем никогда уже, в это самое время все остальные члены нашей компании были сконцентрированы на разливании спиртного. И кто-то предложил мне обмен: водку на вяленую дыню. И тут же около меня оказалась вся вяленая дыня. И это осталось одним из самых ярких моих гастрономических воспоминаний того времени.

Рюмку водки мне все-таки тогда налили. Но когда я попытался угостить кого-то «своей» дыней, никто, кажется, так и не попробовал ее. То ли действительно водка была вкуснее, то ли уж все меня пожалели – не знаю. Скорее всего – пожалели. Видно, слишком сильно и неосторожно я выразил свой восторг по поводу вяленой дыни.

Я играл тогда в Ронишах в паре с Генрихом Грановским. Он потратил много времени на изучение БУКС'а. И выучил его не так уж и плохо. Но, по всей видимости, не очень хорошо чувствовал его внутреннюю логику и структуру в целом. Поэтому иногда пропускал какие-то заявки, которые можно было сделать по БУКС'у, и нервничал, если я пенял ему на это.

Как-то так получалось в первый день, что те восьмерки, где мы с Генрихом играли, заканчивались с нашим небольшим преимуществом, а когда мы не играли, а играли Вилен с Оскаром и Леня Орман с Петром Александровичем, результат был для нашей команды гораздо лучше. И Грановский стал говорить, что его не устраивает такая игра, когда мы не приносим побед команде.

В таких разговорах закончился первый день. А в конце второго дня Генрих сказал, что снимает нашу пару с соревнований.

Пару матчей мы вообще не играли. А наши стали играть не так уж и блестяще и сползли с первых позиций. И я сказал Генриху, что глупо сидеть тут и не играть. И он со скрипом согласился продолжить борьбу.

Один из матчей мы с Генрихом заканчивали вместе с Виленом. По окончании Вилен вышел к нам из закрытой комнаты, где он играл с Оскаром, и сказал, что мы продули матч на минус. Когда же мы подсчитали результат, выяснилось, что матч мы выиграли, правда, с очень небольшим преимуществом. Тут Генрих немного успокоился. Но ненадолго. Нервное напряжение чувствовалось до

конца турнира. И хотя воспоминания об этом турнире все равно остались приятные, но были они, скажем так, не самыми приятными моими бриджевыми воспоминаниями.

Несмотря на неважную игру в Ронишах в 1977 году, мы все-таки заработали медали за первое место в общекомандном зачете. Эти медали мы получили по сумме выступлений в командном, парном и индивидуальном турнирах, хотя ни в одном из этих турниров никто из нас не попал в тройку призеров. Только в «Паттоне» мы поделили по очкам третье и четвертое места с какой-то командой. Но по коэффициентам Бергера остались на четвертом месте. И с этим обстоятельством была связана одна история.

Поначалу нам присудили только второе место в общекомандном зачете. При этом разрыв с первым местом был мизерным. Ну и я решил нарушить Виленовское наставление о том, что надо не качать права после окончания игры, а надо играть хорошо. Должен сказать, что Вилен в этом отношении был очень нетерпим. Когда кто-то подходил к турнирной таблице и начинал считать всякие там варианты – например, что будет, если вот эта команда выигрывает у тех-то, а эта команда проигрывает, – он называл это онанизмом над таблицей. (На самом деле, он выражался еще более грубо.) Когда я читаю где-то, что руководитель или ведущий игрок команды составляет очковый план на следующий день – то есть подсчитывает, сколько очков надо набрать команде завтра, – я не вижу в этом ничего плохого. Но тогда, давным-давно, Вилен считал всякие такие неигровые действия онанизмом. И поэтому они у нас были не в почете.

И все-таки тогда в Ронишах я стал проверять все расчеты. И я обнаружил, что в положении о турнире было сказано, что при распределении мест используются коэффициенты Бергера, но для общекомандного зачета считается, что места были поделены. А нам для общекомандного зачета засчитали четвертое место в «Паттоне». Я об этом сказал своим и пошел разбираться с судьями. Патя хотел было мне помочь, но Вилен не пустил его помогать мне. «Не надо мешать Славе», – сказал он.

Я уговорил судейскую бригаду очень быстро, и первое место досталось нам. За первое место мы получили медали, а также нас наградили какими-то фантастически красивыми тортами. На них карточные масти были выложены малиной и черникой. Каждый член команды получил по тарту среднего размера. И еще один громадный торт был вручен нашей команде. Естественно, мы позвали всех к нам на чай. И справиться со всеми этими тортами было не так-то просто. Это мероприятие Вилен определил как «едьба тортов тимами».

За второе место давали ящики с пивом. Что заставило меня подумать, стоило ли мне качать права за первое место. Ведь народ наш командный явно предпочитал прибалтийское пиво сладким тортам. Но никто мне никаких претензий не высказал. Вернее,

конечно, все высказались по этому поводу. Но упрекали меня только в шутку.

* * *

Хочется сказать еще несколько слов о Генрихе Грановском. В то время, когда мы играли с ним в Ронишах, мы не были близкими друзьями. Мы сблизились с ним много лет спустя, где-то в середине восьмидесятых. Тогда он мог уже зайти к нам не Преображенку просто так, когда не было никаких игр.

Генрих преподавал математику в Московском инженерно-строительном институте. Он был профессиональным репетитором. Зарабатывал на репетиторстве неплохие деньги. Как-то он сказал мне, что его кто-то там часто спрашивает, откуда у него деньги. И поначалу его такие вопросы раздражали. Но в какой-то момент он придумал, как будет на такие вопросы отвечать. И теперь он говорит, что, мол, знаком с одной очень пожилой балериной, которая его просто обожает. И вот она-то и содержит его. При этом он сообщал некоторые интимные подробности: его балерина любит дарить Генриху всякие дорогие безделушки и часто говорит ему: «Пошелуй меня, шиночек».

Генрих занимался с Анькой математикой, категорически отказываясь брать за это деньги. И я смог убедиться в том, что репетитором он был классным. Сам он, кстати, был не очень высокого мнения о том, что делает. Он мне как-то сказал, что есть люди, которые что-то умеют делать, например вот ты (это он сказал про меня). А есть люди, которые сами ничего не умеют делать, например я (а это он сказал про себя), и они могут только учить других. По всей видимости, излишняя самокритичность Генриха была присуща ему не только в бридже, но и вообще в жизненных ситуациях.

Генрих никак не мог сам для себя ответить на вопрос, почему в стране, где мы жили, бридж был запрещен, а скажем, шахматы и домино не были запрещены. И у него возникла такая идея – а что, если играть в бридж, но на костяшках домино? И он изготовил из домино аналоги карт. Деталей этого изготовления я не знаю, никогда я этого домино не видел, но знаю, что оно было изготовлено, и пробная игра в Парке культуры и отдыха состоялась. Генрих сказал мне, что назовет эту игру «математическим домино». Я предложил назвать ее «математическим универсальным домино» (сокращенно – МУДО). Но Генрих это название не принял.

«Математическое домино» Генриха Грановского не пошло широко. Но идея была неплохой.

Внешне Генрих чем-то напоминал Горбачева. И ему часто об этом говорили. Однажды он пришел на Преображенку необычайно злой. Ему опять кто-то в автобусе сказал, что он похож на Горбачева. И он меня стал спрашивать, что это все значит.

– Я просто не понимаю! Разве у меня шейные позвонки такие же, как у всех этих подонков?!

И он решил отрастить бороду.

Он отрастил бороду, и разговоры о том, что он похож на Горбачева, прекратились. Но вот он как-то опять пришел на Преображенку. И был в какой-то непонятной задумчивости. Я спросил его, в чем дело. И он мне рассказал, что ехал только что в метро. К нему подошла какая-то пожилая женщина и сказала: «Вы знаете, извините...» И Генрих спросил у нее: а в чем, мол, дело. И женщина продолжила: «...извините, но вот если вам сбрить бороду, вы будете вылитый Горбачев!»

В конце восьмидесятых дела Грановского шли уже не так хорошо. Образование было не в моде. И мало кто хотел нанимать репетитора своим детям. Хуже стало у Генриха и со здоровьем. Он перенес несколько инфарктов. В какой-то момент он попал в больницу. В это время я должен был ехать на пасеку. Но все-таки успел заехать к Генриху. По каким-то причинам меня к нему не пустили. (В советских больницах, если помните, любили не пускать к больному.) Я передал ему записку. И когда уходил, увидел его через какие-то двойные стекла. Пытался помахать ему рукой, но это было бесполезно. Потом я увидел, как ему принесли мою записку и как он ее читал и ел клубнику...

Вот что написал Алик Макаров в своих воспоминаниях о Генрихе:

«Пережив несколько инфарктов, он начал играть в теннис около своего дома в Теплом Стане. Однажды с той же целью он приезжал ко мне в Троицк. Мы провели отличный день и договорились продолжить эти игры. Говорят, что час ежедневной игры в теннис решает кардиологические проблемы. Увы, Генриха это не спасло».

Да, действительно, в последние годы Генрих часто играл в теннис. Один из его учеников имел какое-то отношение к Институту физкультуры. И Генрих получил доступ к теннисным кортам института. Иногда я присоединялся к нему. Генрих носился по корту, совсем не будучи похожим на сердечника. Но Генрих умер не от инфаркта. Так что, я думаю, можно было бы сказать, что он все-таки смог одержать победу над своим сердцем. Но он не мог победить советскую медицину. Он принимал таблетки, разжижающие кровь. В госпитале у него началось кровотечение, которое «прошляпили» врачи. Вот так он и умер. Я узнал об этом на пасеке. Но на похороны все-таки смог приехать.

Это был июнь 1991 года. Из бриджистов на похоронах был еще только Вилен. Когда я увидел его там, печально и медленно бредущего в своей неизменной вельветовой куртке, мне стало совсем мутно.

Это были вторые похороны, на которых мы с Виленом были вместе. Таня Голикова – «бабушка Московского бриджа» – скоропостижно скончалась от инсульта в возрасте 52 лет, в марте 1987 года. Когда Василий Васильевич Налимов, Танин босс, говорил на поминках какие-то теплые слова о ней, он, в частности, в соответствии с той философской концепцией, которую он

исповедовал, сказал что-то примерно в том духе, что не все заканчивается для человека после его физической смерти. На самом деле я не помню точный смысл слов Василия Васильевича. Но дословно запомнил, что добавил к сказанному Вилен. Он сказал: «Но попечалиться все-таки не возбраняется».

Незадолго до смерти Вилен мы разговаривали с ним по телефону. Он – из Москвы, я – из Нью-Йорка. Он был тогда уже серьезно болен. И я решил, что вот тогда-то я и скажу ему, как я обожал его и как приятно мне было общаться с ним все это время. Но когда мы стали говорить, я не смог выговорить все эти «телячьи нежности». Это было бы, наверное, и супротив его, да и моих принципов. И я только надеюсь, что он знал, что я хотел бы ему сказать и почему не сказал.

...И ДВА РАСКЛАДНЫХ КОРОЛЯ

Так получилось, что с теми ведущими игроками Москвы семидесятых годов, которые были когда-то моими партнерами, я играл по БУКСу. Сюда я отношу (помимо Вали Вулихмана, с которым я обкатывал систему и играл самые первые матчи в Прибалтике) Марика Мельникова, Вилену Нестерова, Васю Стояновского, Сашу Рубашова, Генриха Грановского, Леона Голдина и Мишу Донского. По этой причине я, наверное, единственный человек, кто плохо знал все остальные московские системы. Я никогда не имел возможности по ним играть (хотя и знакомился с ними по описанию) и ощущал их только направленными против меня за столом.

Когда мы с Мариком играли против Вилену Нестерова, он часто иронизировал по поводу нашей системы. В БУКСе очковое содержание сразу включает дополнительные очки за расклад, которые подсчитываются по системе Горена. Так мы и объясняли противникам свои заявки, называя наши очки «раскладными». И когда такое объяснение давалось Вилену или его партнеру, Вилен к словам «столько-то раскладных очков» часто добавлял «... и два раскладных короля». Но когда он играл по БУКСу со мной, все шло довольно гладко. В частности, оба рождественских турнира в Тарту, в 1974-м и 1975 годах, мы играли по БУКСу и заняли там второе место в 1974 году и первое – в 1975 году.

С Васей Стояновским мы играли только один раз в Таллине. Мы не заняли тогда никакого призового места. Но у меня осталось очень приятное ощущение от игры с ним. А запомнилось мне почему то только то, что не имело никакого отношения к бриджу.

Как-то мы решили с ним отобедать в ресторане гостиницы Виру. Это было на одном из последних этажей. Кажется, на 22-м. А с 23-го этажа русские вели наблюдение за иностранными посетителями гостиницы. В конце 2010 года там открылся музей КГБ. Но мы с Васей ничего про 23-й этаж тогда, естественно, не знали.

Как только мы вошли в ресторан, нас встретила девушка и

повела за столик. Васе этот «шик» ужасно не понравился. И он мне сказал вполголоса, что у него в кармане только три рубля.

Мы заказали, как мы думали, скромный обед: литовский холодный суп с горячей картошкой и цыплят табака. Но все оборачивалось как-то очень неожиданно для нас. Литовский холодный суп нам подавали сразу три официанта. Один из них притащил громадную супницу и разливал суп из нее по нашим тарелкам. Причем делал он это как-то уж очень степенно, не торопясь. Второй официант принес казанок с горячей картошкой и раскладывал нам ее на тарелки серебряными (на вид) щипцами. А третий официант тоже что-то делал, непрерывно услужливо кружа вокруг нас.

Вася был в шоке. Он спросил, сколько у меня денег. Я сказал, что у меня есть 25 рублей. Видно было, что это его не успокоило.

Мы закончили с холодным литовским супом. Пришел четвертый официант и стал все убирать со стола. Мы перешли к цыпльям табака. Они были очень вкусными. Я таких никогда не ел. А официанты, которым мы уже потеряли счет, продолжали кружить вокруг нас. Когда мы, наконец, разделались с цыпльями, я предложил выпить еще по чашечке кофе. Вася обреченно согласился. Мы еще не знали, хватит ли у нас денег или нет. Ну а если не хватит, то нас, наверное, все-таки не будут бить. А поэтому – почему бы не выпить по чашечке кофе.

Мы выпили наш кофе. Нам принесли счет. Там было пять рублей на двоих. По два рубля пятьдесят копеек на каждого...

С Леоном Голдиным я играл по БУКС'у, по-моему, только один раз. И ничего хорошего из этого не получилось.

Леон давал мне почитать его систему, когда мы решили поиграть в паре. Я его спросил, почему у системы нет названия. «Московская особая», – мгновенно ответил мне Леон. Не исключаю, что он это придумал тут же, на месте.

Я не захотел играть с Леоном по «Московской особой». Мне его система показалась достаточно разумной, но гораздо менее агрессивной, чем БУКС. Леон оказался более покладистым и по БУКС'у играть согласился.

Он выучил БУКС достаточно прилично. (Хотя это скорее относилось только к первым заявлениям и ответам, но не к дальнейшей торговле.) Но испытывал к нему плохо скрываемое неприятие. В процессе игры он сделал в адрес системы пару колких замечаний, которые мне ужасно не понравились. Конечно, я бы принял любые нарекания Леона, если бы они были сделаны по существу. Но, к сожалению, Леон намекнул мне довольно прозрачно тогда, что в некоторых ситуациях единственный способ уточнить диапазон очков партнера – подмигивание правым или левым глазом.

Я решил тогда доиграть с ним этот турнир. Но внутри у меня как будто все оборвалось по отношению к Леону. Он это понял и

резко изменился ко мне. Конечно, сейчас я жалею, что не согласился играть с ним тогда по «Московской особой». Быть может, наши добрые отношения продлились бы еще на какое-то время...

Сереза Андреев писал, что Леон *«имел пунктик о шулерстве, которое ему везде мерицилось. В частности, он даже написал в ЦК КПСС о "позорной клике шулеров в советском бридже"»*. Я не знал об этом тогда. И мне очень не хотелось бы верить этому даже сейчас. Но если Леон написал партийцам такое письмо (судя по названию – в истинно советском духе), то, значит, это был уже не Леон Голдин. Хотя... Может быть, он и здесь ерничал? И эти советские штампы были частью его трагикомических упражнений?

Вот что пишет Володя Иванов о последних годах Леона:

«Вообще, Леон жил трудно: в одиночестве, в коммунальной квартире где-то в Люберцах. Однажды он был подвергнут страшному испытанию: по доносу соседа его поместили в психушку. Вытащить его оттуда было некому, и он провёл там долгие годы...»

Умер Леон совсем один, у себя в комнатке, и о его смерти узнали лишь по проществу нескольких дней».

Миша Донской, когда мы решили поиграть с ним в паре, тоже, как мне кажется, испытывал некоторое недоверие к БУКС'у. Но недоверия этого явно не показывал. БУКС выучил и играл по нему достаточно дисциплинированно и со смыслом. Но мы с ним не играли много, сыграли только пару каких-то коротких турниров.

Называл меня Миша не иначе как Бродскис, причем с ударением на втором слоге: «Брод», затем еле заметная пауза и затем «скис». По-моему, потому, что я ему рассказал как-то о табличке на столе в Вильнюсе с моей фамилией на литовский лад: *Brodskis*. Но делая ударение на слоге «скис», Миша вкладывал в это новый смысл. И вообще, он любил надо мной подтрунивать. На каком-то турнире, где мы с Мариком выступили неважно, он спросил меня, купил ли я книгу, которая продавалась в фойе. Я спросил, что это за книга. Это был тот вопрос, которого он ждал. «Как!? – сказал он – ты не знаешь? Книга называется "Почему я проигрываю в бридж"».

Миша был моложе меня на шесть лет. Он был школьником, когда я уже учился на мехмате и вел там математический кружок для школьников. Миша ходил ко мне в этот кружок.

Миша был одним из авторов знаменитой шахматной программы «Каисса». Он что-то мне рассказывал об идеях, которые были заложены в программе. Но из всего этого я запомнил только то, что «Каисса» обдумывала ходы даже тогда, когда очередь ходить была у ее противника. В 1974 году в Стокгольме состоялся первый чемпионат мира среди шахматных программ. В четырех турах швейцарской системы «Каисса» выиграла все партии и стала первым чемпионом мира, прославив своих создателей – самого Мишу Донского, а также Влада Арлазарова и Георгия Максимовича Адельсона-Вельского.

* * *

Турнир в Ронишах 1977 года был последним «выездным» турниром первого десятилетия московского бриджа. И на нем я заканчиваю свое повествование о таких турнирах. И привожу список всех таких турниров, где московские команды или пары заняли призовое место в основных состязаниях. Так уж получилось, что эти призовые места оказались либо первыми, либо вторыми.

Таллин-1968. 2-е место в командном турнире (Леон Голдин – Вилен Нестеров, Сергей Русецкий – Юрий Константинович Солнцев).

Дубна-1968. 1-е место в парном турнире (Слава Бродский – Марик Мельников).

Дубна-1968. 2-е место в парном турнире (Генрих Грановский – Владимир Ткаченко).

Таллин-1969. 1-е место в командном турнире (Слава Бродский – Марик Мельников, Леон Голдин – Вилен Нестеров, Слава Пржбыльский – Юрий Константинович Солнцев).

Таллин-1970. 1-е место в командном турнире (Слава Бродский – Марик Мельников, Леон Голдин – Вилен Нестеров, Юра Малиновский – Юрий Константинович Солнцев).

Вильнюс-1971. 2-е место в турнире «Паттон» (Слава Бродский – Марик Мельников, Слава Пржбыльский – Петр Александрович Слостенин).

Львов-1972. 1-е место в командном турнире (Генрих Грановский – Владимир Ткаченко, Миша Донской – Миша Кронрод, Вилен Нестеров – Петр Александрович Слостенин).

Таллин-1972. 1-е место в командном турнире (Леон Голдин – Вилен Нестеров, Миша Донской – Миша Кронрод, Вася Стояновский – Миша Стрижевский).

Таллин-1972. 1-е место в парном турнире (2-я сессия) (Леон Голдин – Вилен Нестеров).

Таллин-1973. 2-е место в парном турнире (2-я сессия) (Слава Бродский – Марик Мельников).

Таллин-1973. 1-е место в парном турнире (4-я сессия) (Слава Бродский – Марик Мельников).

Таллин-1973. 2-е место в парном турнире (общий зачет) (Слава Бродский – Марик Мельников).

Тарту-1974. 2-е место в командном турнире (Слава Бродский – Вилен Нестеров, Генрих Грановский – Владимир Ткаченко).

Тарту-1975. 1-е место в командном турнире (Слава Бродский – Вилен Нестеров, Генрих Грановский – Владимир Ткаченко).

Рониши-1977. 1-е место в общекомандном зачете (Слава Бродский – Генрих Грановский, Вилен Нестеров – Оскар Штительман, Леня Орман – Петр Александрович Слостенин).

Следует отметить, что из ведущих московских игроков мало кто

мог себе позволить поехать более чем на один – максимум на два турнира в году. Поэтому можно заключить, что выступление московских бриджистов в это первое для них десятилетие было довольно успешным. Один только 76-й год не принес им побед. Все остальные годы отмечены теми или иными достижениями.

ЭПИЛОГ

В эпилоге, как и полагается по законам жанра, я хочу рассказать о событиях, не связанных напрямую с моим рассказом, но проливающих свет на дальнейшую судьбу тех, о ком я говорил в моих воспоминаниях.

На одном из Московских турниров в начале 80-х годов ко мне подошел симпатичный молодой человек. Он представился как Володя Флейшгаккер и сказал, что он отказник и что ему нужна какая-то работа. А он слышал про наше пчеловодное хозяйство и хотел узнать, не нужны ли нам работники. И я ему сказал, что с удовольствием позову его на пасеку помочь нам. Но это будет только летом. Володя ответил, что это ему не подходит, потому что ему нужна постоянная работа. На этом мы тогда и расстались.

В 84-м Володя с семьей приехал в США. Обосновался в Нью-Йорке. Поигрывал в бридж с Пашей Маргулесом. В декабре 87-го встретился случайно в Манхэттене, на Лексингтон авеню, со Славой Деминым. Вот как сам Слава (который работал в ООН в то время) описывает эту встречу:

«Меня только что перевели в Нью-Йорк с Островов Зеленого Мыса. Помнится, мы с женой еще даже не сняли квартиру и жили в гостинице. Вечером спустились из номера пройтись перед ужином и почти сразу услышали возбужденный диалог на бриджевую тему на русском языке с обильным использованием ненормативной лексики. Это сейчас плюнь на Манхэттене и попадешь в русскоговорящего, а в 1987-м в его восточной части в районе 50-х улиц русская речь была редкостью. Конечно, я сразу узнал Пашу Маргулеса и Володю Флейшгаккера, которые, как оказалось, направлялись в бридж-клуб "Beverly"».

Потом в клубы Манхэттена Володя ходил играть уже в основном со Славой Деминым вплоть до 1992 года. А в 92-м Слава покинул Нью-Йорк на четыре с лишним года.

В ноябре 1992 года я нашел работу в Нью-Джерси. Помог мне в этом Гена Иоффе – сын московского бриджиста Руда Иоффе. Сначала Гена устроил мне контракт на проект в компании *Software Options*, где он работал тогда. А потом организовал так, чтобы меня взяли туда на постоянную работу. Так что моя судьба в Америке могла бы сложиться не так удачно, если бы я не играл в бридж.

* * *

Весной 93-го я познакомился с Наташей Декстер. И мы начали с ней встречаться. А она, в свою очередь, познакомила меня со своими друзьями, Модестом и Наташей Орманами. Когда мы пришли к ним первый раз домой, Модест хлопотал на заднем дворе, готовя

барбекю. Стал со мной знакомиться и задал мне три неожиданных вопроса.

- Вы из Москвы?
- Да.
- В бридж играете?
- Да.
- Ленью Ормана знаете?
- Да.
- Он мой родной брат.

Следующие 20 лет почти на всех посиделках я был в компании Модеста – родного брата Лени Ормана, моего товарища по команде. (Мир тесен!?)

* * *

Примерно в то время, когда я начал работать в *Software Options*, то есть в конце 92-го – начале 93-го, я встретился с Володей Флейшгаккером. И мы стали довольно регулярно играть, в том числе в манхэттенских клубах. Иногда мы с Володей играли в каких-то турнирах в Нью-Джерси. И когда мы собирались туда, я заезжал к нему домой, чтобы потом поехать на одной машине. Володя обычно кормил меня перед турниром всякой вкуснятиной, приготовленной из того, что он либо поймал, либо подстрелил. Его морозильник всегда был забит медвежатиной, олениной, лососиной, красной икрой. У него дома я познакомился с его женой Машей и с его дочками.

Володя был страстным и умелым охотником. Обожал всякие выезды на природу, особенно продолжительные. Как-то он позвал нас с Наташей провести несколько дней на островке реки Святого Лаврентия (той самой, которая соединяет Великие озера с Атлантическим океаном), где-то почти на границе с Канадой. На этом островке мы большей частью были вчетвером – Володя с Машей и я с Наташей. Мы просыпались очень рано. Купались гольшом в абсолютно прозрачной воде. Наслаждались тишиной и покоем. Ловили рыбу. Естественно, все снасти и остальное было приготовлено Володей. Поэтому рыба ловилась крупная и в большом количестве. И уметь ловить ее было необязательно. Наташа после первого заброса вытащила более чем полуметрового сома. Было много визга и испуга. И потом они с Машей только наблюдали, как ловили рыбу мы с Володей. Володя сам чистил всю пойманную рыбу, оставляя только филе. Потом жарил ее. И мы ели рыбу, запивая белым вином. А потом опять наслаждались тишиной и покоем.

В клубах Манхэттена, когда мы ходили туда с Володей, все было не так спокойно. И я был этим чрезвычайно удивлен. Никто нам не улыбался. Никто не задавал нам всяких не связанных с бриджем вопросов. Более того, при малейшей возможности все норовили немедленно вызвать директора.

В конце концов, я понял, что виной этому было какое-то независимо-отвлеченное поведение Володи за столом. Вот что пишет примерно о том же про Володю Слава Демин:

«Удивительно, но этот высокий, красивый человек с улыбочивыми ироничными глазами и ровным спокойным голосом был совершенно необаятельным противником. Его поведение за столом, манера говорить, невнимание к противникам сразу же настраивали и игроков, и судей против него и – автоматически – против его партнеров. Судья приглашался к нашему столу гораздо чаще, чем к другим, как правило, без серьезной причины. Чаще всего претензии противников не выдерживали никакой критики, но их количество переходило в качество, и судьи делали нам предупреждения, а иногда и наказывали. За нашим столом густела аура отрицательных эмоций».

Я, конечно, согласен со всем, что сказал о Володе Слава Демин. Но только мне кажется, что абсолютно такое же поведение Володи не вызвало бы такой резко отрицательной реакции противников, скажем, в Москве. А следовательно, дело тут не в том, что его поведение настраивало игроков и судей против него, а в том, что его поведение настраивало игроков и судей против него в Манхэттене. То есть дело было просто в громадном различии культурологического поведения. Многие, в том числе я или Слава Демин, были готовы перенимать элементы культуры той страны, которую они себе выбрали для жизни или (как у Славы Демина) для временного проживания. Это касалось и внешнего облика, и манеры общения, и вообще – всего, всего. Мы были готовы положить на отдельную полочку то, что связывало нас со страной, откуда мы уехали, и погрузиться в страну, в которой мы стали жить. Но я знаю людей, которые не торопились с этим. Одним из таких был Володя Флейшгаккер.

В клубах Манхэттена он вел себя так, как если бы играл в бридж где-то в Москве. В его поведении не было чего-то особенно вызывающего. И вообще, для Москвы это было бы совершенно нормально. Но для Манхэттена это было, во-первых, необычно, а во-вторых, не объяснялось тем, что Володя, скажем, приехал недавно в эту страну (в этом случае ему многое бы простили). Нет, видно было, что он в этой стране чувствует себя достаточно уверенно. И тогда все это вместе начинало людей раздражать.

Так мы с Володей играли вплоть до 1995 года. Хотя в 95-м мы уже играли не столь часто. Володя не всегда отвечал на мои звонки. Я знал, что это означает. Он мог говорить со мной, только когда был «в здравом уме и твердой памяти». А когда он был не в форме, он трубку не брал и, вероятно, не разрешал брать и своим домашним. А домашних он, судя по всему, держал в строгости.

Как-то в Нью-Йорк приехал Леня Каретников. Мы с Володей сидели у него дома, ожидая Леню. И я почему-то думал, что придет не Леня Каретников, а пара Леня Каретников – Наташа Каретникова. И когда, наконец, Леня вошел, я сгоряча задал вопрос: «А где Наташа?» Вопрос оказался неправильным. Леня и Наташа

уже не были парой ни в одном, ни в другом смысле.

Я расстроился. Смотрел на Леню и вспоминал, как однажды я захлопнул дверь на Преображенке, когда случайно не взял с собой ключ. Как раз тогда, когда был назначен какой-то парный турнир у меня дома. Народ собирался, а я стоял около дверей и размышлял, что делать. Тут появился Леня Каретников. У него была сломана нога, и он был на костылях. Он быстро оценил ситуацию, спросил у меня, открыта ли дверь балкона. И когда я сказал, что, скорее всего, открыта, проковылял на пятый этаж и попросился к моему верхнему соседу. Мы все, здоровые бугаи, спустились вниз и с улицы смотрели, как Леня со своей костяной ногой перелез с балкона пятого этажа на мой балкон (сверху ему передали его костыли). А через минуту он уже открывал нам входную дверь.

* * *

Летом 94-го, за пару месяцев до того, как судья муниципалитета города Миллбурна объявил нас мужем и женой, мы с Наташей купили дом в Миллбурне. И как раз в это время в Нью-Йорк прилетел из Гвинеи на неделю Слава Демин. Мы решили собраться у нас в доме, пошлепать (так мы говорили всегда, когда речь шла о бридже). Поехали с Володей за Славой куда-то. Привезли его в Миллбурн. Приехал Паша Маргулес.

И вот в то время, когда готовился какой-то закусон и выпивон, между Славой и Володей как-то постепенно возник спор, который дошел до крика. Флейшгаккер обвинял Славу в том, что тот был в ладах с советской системой и, следовательно, был, по крайней мере косвенно, виновен во всех злодеяниях советской власти, от которых так натерпелись не только диссиденты (типа Володи), но и вообще все нормальные люди. А Слава говорил ему, что Володино диссидентство было липовым. И что главное – это устремления и поступки. И что он, Слава, скорее всего, принес людям больше пользы, чем такие диссиденты, как Володя. У меня было явное ощущение, что спор этот начинался как бы в шутку. Однако постепенно все это стало сопровождаться крепнувшим от слова к слову матом. И Слава потом мне признался, что он думал, что теперь его в этот дом больше не пригласят.

В 95-м Володи не стало. Отказала печень. Я поехал помянуть его в его новый, недавно купленный дом, где до этого еще не был. Видел его домашних. Маша к тому времени стояла твердо на ногах: она работала в школе и успела получить необходимое для продвижения по службе образование – бесплатное, поскольку она училась там, где Володя преподавал.

В 96-м вернулся из Гвинеи в Нью-Йорк Слава Демин. Он поселился на 45-й улице, между 3-й и 2-й Авеню, напротив моего любимого магазина *“Amish Market”*. Я работал тогда в *Chase Manhattan Bank* на Парк Авеню, между 47-й и 48-й улицами. А Слава работал в ООН на 2-й Авеню.

Как-то Слава устроил мне экскурсию по ООН. Мне это было

очень интересно. Мог ли я когда-то предположить, что побываю там?! Я сидел в зале Совета Безопасности и думал: неужели это вот тут когда-то давно Федоренко кричал: «Танки идут на Дамаск!». А я слушал это в июне 67-го сквозь непрерывный шум глушилки, припав ухом к моей «Спидоле», модернизированной народными умельцами для приема коротких волн.

Начиная с 1997 года я передвинулся на 200 ярдов ближе к Славе и стал работать в здании *Bear Stearns* на 46-й, между Парк Авеню и Лексингтон Авеню. Это был голландский банк "*Rabobank*". До того, как я стал работать там, я много раз слышал, что если ты играешь в бридж, то это является определенным плюсом при поступлении в финансовые компании. Но на себе я такого никогда не ощущал. И единственный раз, когда я это ощутил, произошло в 97-м, когда я пытался перейти из Чейза в Рабобанк. Когда я прошел там успешно несколько интервью, меня позвал на разговор глава Нью-Йоркского отделения *Reinier Mesritz*, который также был и первым человеком в Рабобанке по Северной Америке. Рабобанк принадлежал к крупнейшим банкам мира. И позиция первого человека в Нью-Йоркском отделении и в Северной Америке была достаточно высокой. Но держался *Reinier* очень просто (что, кстати, довольно обычное дело в финансовом мире). Первый же вопрос, который он мне задал после того, как мы поздоровались, был о том, играю ли я в бридж. После этого мы почти все время говорили о бридже. И когда прощались, решили, что обязательно поиграем как-нибудь в паре в одном из ближайших клубов. Возможно, меня взяли бы в Рабобанк, даже если бы разговор о бридже не зашел в процессе интервью. Но с бриджем все произошло гораздо быстрее. Уже на следующий день мне позвонили из банка, сказали, что меня приглашают на работу, и просили зайти и обсудить финансовую основу их предложения.

* * *

Слава оказался неправ в своих предположениях, что он больше не будет приглашен в наш Миллбурнский дом. Он стал желанным нашим гостем.

Слава Демин остался верен себе. Как-то, когда он был у нас с Наташей в гостях, я нарезал соленую лососину. И когда он увидел, как я ее режу (а нарезал я ее как-то очень уж по-простому), он тут же затребовал филейный нож и стал сам нарезать, красиво, под углом, и все приговаривал, что, мол, бывают же люди, которые лососину нарезать не могут по-человечески. И тут я вспомнил, как он ругал меня в вагоне поезда за быстрое поглощение пищи. И мне опять стало стыдно.

В первый раз, когда мы со Славой собрались поиграть в бридж в клубе, мы договорились встретиться на углу 46-й улицы и Лексингтон Авеню. А оттуда должны были пойти пешком до 58-й улицы в клуб "*Honors*". Я подходил к месту встречи вовремя. Ну, то есть я увидел Славу, стоящего на углу, как раз в то время, когда мы договорились встретиться. А подошел я к нему еще через

полминуты. Слава пришел (естественно!) на несколько минут раньше. Когда я подошел, он сказал мне угрюмо, что отныне (раз я опаздываю) мы будем встречаться прямо в клубе. Тогда я понял, что мне лучше приходить к месту нашей встречи тоже на пару минут раньше.

Еще Слава Демин неодобрительно относился к тому, что я иногда задумывался над какой-то бриджевой ситуацией за столом. Дело в том, что Слава очень организованный человек. Мысль, что какой-то заведенный порядок может быть нарушен, приводит его в состояние дискомфорта. И хотя я не согласен со Славой в том, что я долго думаю (хотя бы потому, что за всю мою бридговую жизнь меня ни разу не оштрафовали за просрочку времени), но то, что Слава является таким организованным человеком, мне очень импонирует. И я стараюсь взять все хорошее от него. Я уже от него многое перенял. Я стараюсь приходить к месту встречи на пару минут раньше назначенного срока. Я нарезаю соленую лососину красиво, под углом. И на следующее десятилетие я планирую начать есть медленнее. И единственное, что мне хотелось бы оставить своего в себе, – хотя бы иногда, в сложных ситуациях, подумать немного за бриджевым столом.

После того как Слава Демин переехал в Нью-Йорк в 96-м, мы стали поигрывать с ним в клубах Манхэттена. Тяжелое наследие Володи Флейшгаккера все еще давало о себе знать. И игроки, и судьи относились к нам очень придирчиво. Эта придирчивость порой превосходила допустимые пределы. Так, наше открытие 1 трефа (по Березке) вызывало часто сопротивление у противников. Они вызывали директора, чтобы выяснить, является ли это открытие легальным. Директор, естественно, объяснял нашим противникам, что это открытие вполне легально. Но однажды директор (по имени Соломон), после того, как его вызвали по поводу открытия 1 трефа, сказал нам, что он недоволен тем, что за наш стол директора вызывают очень часто. Это было уж слишком! И мне пришлось поговорить с ним довольно жестко.

В 98-м мы со Славой Деминым играли в двух региональных турнирах (в Атланте и Гатлинбурге) и одном национальном турнире (в Орландо). Начали мы с турнира в Атланте. Там жил Миша Стрижевский. Это он позвал нас на турнир, любезно пригласил остановиться у него дома и организовал команду из четырех человек. Первый же командный турнир мы выиграли. Потом мы играли еще в командных турнирах с Мишей и его партнером, но первых мест уже не занимали. И все остальные первые места были заработаны нами со Славой в парных турнирах.

Мы все еще ощущали некоторое давление на нас со стороны судей. Как-то на национальном турнире в Орландо (где в тот год собралось около шести тысяч участников) я спросил противника, что означает заявка его партнера. Он ответил, что они играют по стандартной американской системе. Я сказал, что плохо знаю стандартную американскую систему, и попросил его все-таки

объяснить мне заявку партнера. «Зачем же ты приехал на национальный турнир, если не знаешь стандартной американской системы?» – спросил он. И мне пришлось вызвать директора, чтобы все-таки мой оппонент объяснил мне заявку своего партнера. Директор, хоть и поддержал меня в конце концов, тоже какое-то время бурчал что-то неодобрительное в мой адрес.

После окончания турнира я столкнулся с моим оппонентом около таблицы с результатами турнира. И он спросил меня, какое место мы заняли. Я показал ему на самую верхнюю строчку. «Надеюсь, теперь ты не будешь меня спрашивать, зачем я приехал на национальный турнир», – сказал я ему. Это было, конечно, несколько грубовато, но он все-таки вел себя за столом довольно беспардонно.

На каком-то из этих турниров я встретил Иру Левитину. Я не видел ее почти 25 лет после Тартусского рождественского турнира 1975 года. Но она выглядела прекрасно и вполне узнаваемо. Я, видно, тоже был узнаваем. Но все-таки, наверное, не вполне. «А вы – Слава Бродский?» – то ли утвердительно, то ли вопросительно сказала она, когда увидела меня.

В Атланте, Гатлинбурге и Орландо мы играли, естественно, не в самых престижных турнирах, а только там, куда нас допускали. Я сейчас собрал все жетоны за победу в турнирах. Таковых оказалось шесть: два в региональном турнире в Атланте, три в региональном турнире в Гатлинбурге и один в национальном турнире в Орландо. Это в основном дало мне необходимые баллы для получения звания *“Life Time Master”*. Этим дело и ограничилось. Больше мы со Славой уже никуда не ездили. Хотя играли еще как-то в региональном турнире в Нью-Йорке и заняли там тоже первое место в одном из турниров.

Когда я жил в советской России, я думал, что, возможно, уделял бы бриджу больше внимания, если бы жил в свободной стране. Возможно, так оно и было бы, если бы я жил в Америке с ранних лет. Но я приехал в Америку, когда мне было пятьдесят. А в таком возрасте ты не можешь серьезно играть в бридж и параллельно входить в новый для тебя профессиональный мир.

В 2001-м Слава Демин уехал в Париж. И я остался без партнера. Кто-то свел меня с молоденьким пареньком, Сашей Перлиным. И мы играли с ним несколько раз в клубах Манхэттена. Он играл очень и очень прилично. И веселил меня тем, что каждый раз, когда разыгрывал контракт, и после того, как я выкладывал свои карты на стол, вместо обычного *“Thank you partner”* говорил мне: *“Thank you partner for the beautiful hand”*.

Когда Слава Демин еще работал Нью-Йорке, мы с ним навестили Феликса Французова, который жил тогда где-то под Вашингтоном. В бридж нам поиграть тогда не удалось (не было четвертого). Но мы отлично провели вместе несколько дней. Ездили куда-то ловить форель. Потом ее жарили и вспоминали былое...

Феликс к тому времени уже ушел на пенсию. И он со своей женой, Олей, путешествовал по свету. А я слушал его рассказы об этом с надеждой, что и я вот скоро тоже отойду от дел и стану совсем свободным человеком. Тогда я еще не знал, что моим надеждам не суждено было сбыться так скоро. Как раз когда я уже подумывал об уходе, моего босса уволили с работы. Он нашел другую работу и позвал меня помочь ему на новом месте. Мне трудно было отказать от его предложения. В результате моя свободная жизнь началась на пять лет позже, чем я планировал, только в сентябре 2013-го.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Я оглядываюсь на прошлое, вспоминаю то, что было почти полвека тому назад. Конечно, нам было трудно. Мы были лишены самых простых вещей. Мы не могли, как все остальные цивилизованные люди на земном шаре, пойти в магазин и купить книгу по бриджу или, скажем, записать своего сына на занятия по бриджу. У нас не было даже помещения для игры. Мы занимались своим любимым делом, находясь в глухом подполье. То, что ты играл в бридж, ты должен был скрывать от всех – от тех, с кем учился, от тех, с кем работал. Один мой знакомый говорил мне, что его мать призналась ему, что ей было бы не так стыдно сказать на работе, что ее сын ворует, как сказать, что он играет в бридж.

И не то чтобы те, кто играл в бридж, были на каком-то особом положении в советской России. Нет, конечно. Так же чувствовали себя все наши «товарищи по несчастью»: те, кто хотел заниматься йогой, атлетической гимнастикой, играть в женский футбол. А также почти все те, кто хотел делать что-либо другое. Мы жили в мире кривых зеркал, где все было поставлено с ног на голову. Большевицкие упыри запрещали практически все и давали свои указания на то, какую рифму надо было использовать в стихах, насколько мелодичной должна быть музыка, какой ширины должны быть мазки в живописи, как танцевать в балете, на какие темы надо было снимать кино, писать книги, на каких инструментах можно было играть, какими науками можно было заниматься. Эти указания распространялись и на разные бытовые мелочи: как надо стричься, можно ли отпустить бороду, какой ширины должны быть брюки, какой длины должна быть юбка, какие движения разрешались в танцах, кому можно писать письма, какое радио можно слушать, какие книги можно было держать у себя дома, какие праздники отмечать, можно ли ставить елку дома, какую еду можно есть. Ответ на вопрос о том, почему большевицкий режим был связан с такими несуразностями, существует. Но я не буду здесь об этом говорить – слишком уж это не по теме моего повествования.

А вот на вопрос о том, ощущали ли мы себя несчастными в такой ситуации, ответить намного труднее. И я думаю, что каждый из нас ответил бы на этот вопрос по-своему. Уверен, что среди нас

было немало тех, кто даже не подозревал, что мы задавлены и замордованы до предела. Эти люди так привыкли быть подавленными абсолютно во всем, что воспринимали это как естественное положение вещей. И про них уж точно нельзя было сказать, что они чувствовали себя несчастными.

Другие не ощущали себя несчастными, поскольку вполне приспособились к жизни в большевицком обществе. Они добились каких-то успехов. Так что они занимали в этом обществе положение повыше многих других. И если у них не было знакомых в Америке, которые своей информацией могли привести их в состояние дискомфорта, то они тоже могли ощущать себя вполне счастливыми.

А что можно было сказать о том, кто знал, где он живет. Вот я, скажем, очень хорошо понимал, где я нахожусь. Но даже я не мог бы сказать о себе, что я ощущал себя несчастным. Я и многие такие же, как я, просто не могли позволить себе сидеть где-то в углу и плакать о своей несчастной судьбе. Я, как и многие другие, пытался укрыться в небольших островках, оазисах, где можно было бы хотя бы на какое-то время отгородиться от окружающей действительности. И мы там, в наших оазисах, умудрялись не только просто выжить, но делать каждый наш день осмысленным и даже счастливым. И все эти встречи с моими друзьями и соперниками по бриджу, вся эта борьба за бриджевым столом, все радости и огорчения – это все были счастливейшие мгновения жизни.

Но счастье наше было особое. Оно было очень похоже на лагерное счастье бедного Ивана Денисовича. И понятно, почему. Мы тоже, как и он, жили в тюрьме. Только тюрьма у нас была очень большая – величиной с целую страну.

Я знаю, что не все ощущали себя так, как чувствовал себя я в советской России. Но я ощущал себя именно так: в счастливых островках, оазисах жизни посреди большой тюрьмы. И я рад, что за свою жизнь в советской России я принадлежал к нескольким таким оазисам. Одним из них был Московский бридж.



Игорь Ефимов - (1937 г.р., Москва) - писатель, философ, издатель. Эмигрировал в 1978 году, живет с семьей в Америке, в Пенсильвании. Автор двенадцати романов, среди которых «Зрелища», «Архивы Страшного суда», «Седьмая жена», «Пелагий Британец», «Суд да дело», «Новгородский толмач», «Неверная», «Обвиняемый», а также философских трудов «Практическая метафизика», «Метаполитика», «Стыдная тайна неравенства», «Грядущий Аттила» и книг о русских писателях: «Время добра» и «Двойные портреты». В 1981 году основал издательство «Эрмитаж», которое за 27 лет существования выпустило 250 книг на русском и английском языках. Преподавал в американских университетах и выступал с лекциями о русской истории и литературе. Почти все книги Ефимова, написанные в эмиграции, были переизданы в России после падения коммунизма. В 2012 году в Москве были опубликованы его воспоминания в двух томах: «Связь времен». Более подробную информацию можно получить на сайте www.igor-efimov.com.

Ричард Бартон* (1925-1984)

Двое, которых мы будем называть Бас и Тенор, сидят друг перед другом за столом. Перед каждым - книги с закладками, газетные вырезки, фотографии. Иногда они произносят свои мини-монологи, глядя друг на друга, иногда - глядя в камеру. Время от времени их изображение сменяется портретами тех, о ком они говорят, изображениями упоминаемых зданий, кораблей, уличными сценами, кадрами кинохроники.

Бас. Он достиг в своей жизни всего, о чем, казалось бы, и мечтать не смел мальчик из бедного шахтерского поселка в провинциальном Уэльсе. Но, подводя итог, он мог бы сказать, перефразируя Экклезиаста: «Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу никакого веселья; я купил себе дома и корабли, приобрел слуг и служанок; собрал серебра и золота и драгоценностей; слух мой услаждали певцы и певицы и разные музыкальные орудия; женщины и девы падали в мои объятия, а самая прекрасная стала моей женой; и оглянувшись я на все дела мои и на труды; и вот - все суета и томление духа, и нет от них пользы под

* Глава из книги «Бермудский треугольник любви».

солнцем».

Т е н о р. Да, многие художники и артисты на вершине успеха и признания впадали в беспричинную тоску: Лев Толстой, Хемингуэй, Сэлинджер, Вуди Аллен, Джуди Гарланд, Элвис Пресли, Майкл Джексон и десятки других. Но поклонники Ричарда Бартона могли бы возразить вам и сослаться на множество его реальных неудач и поражений, которых было бы достаточно, чтобы вогнать чувствительную душу в депрессию. Он был семь раз номинирован на премию Оскара, но так ни разу и не получил ее. Чтобы прятать свое богатство от налогов, он был вынужден вести жизнь кочевника, не имеющего возможности завести постоянный дом ни в Англии, ни в Америке. У красивейшей женщины мира, доставшейся ему в жены, нрав был неукротимый (забудьте сказку Шекспира – Дзефирелли), и в конце концов они вынуждены были расстаться. Мечта стать писателем или хотя бы написать автобиографию не осуществилась. А про свое ремесло он однажды написал в дневнике: «Мне кажется, всю жизнь я тайно стыдился быть актером».

Б а с. Один из биографов Ричарда Бартона писал, что своим характером он напоминал ему древнекельтского вождя, чья жизнь проходила в дерзких набегах на богатые селения в долине, после которых он возвращался в свои пещеры с богатой добычей. В одиннадцать лет он совершил подвиг, неслыханный в шахтерском роду Дженкинсов: сдал экзамен на право учиться в средней школе. К тому времени у него уже не было матери, с двухлетнего возраста он воспитывался в семье старшей сестры, Цецилии (или Сис). Ее муж, Элфед Джеймс, работал в шахте и поддерживал всю семью жены, потому что их собственный отец оставлял все свои заработки в пивных или на собачьих и петушиных боях. Однако в конце 1930-х, когда Элфед остался без работы, Ричарду пришлось уйти из школы и поступить клерком в магазин одежды.

Т е н о р. «Как он ненавидел свою работу!» – вспоминала потом сестра Сис. К пятнадцати годам главные страсти подростка определились, и он отдавался им со всей энергией своей неумной натуры. Спорт, книги, девочки, сцена – в любой последовательности; он разрывался между этими увлечениями. Конечно, сортировка носков и рубашек в магазине переживалась им как тягостная обуза, и он мстил своей работе, выполняя ее из рук вон плохо. У него даже хватило дерзости переступить границы законности. В военное время карточки были введены не только на еду и бензин, но и на одежду тоже. Родственники и приятели Ричарда порой имели шанс приобрести в его лавке пиджак, шапку, перчатки сверх лимита. Но не к этому ли призывал Христос, когда учил: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным» (Лука, 16:9). То есть раздавайте бедным не только свое, но и чужое.

Б а с. На счастье Ричарда, судьба свела его с человеком, сумевшим разглядеть в нем незаурядный актерский талант. Филип Бартон преподавал в школе историю и математику, а также играл в

церкви на органе, сочинял пьесы, участвовал в радиопередачах Би-Би-Си, руководил группой скаутов – будущих пилотов. Но главное – он ставил школьные спектакли. И считал своим долгом поддерживать и развивать любую одаренность в молодых людях, встреченных им на жизненном пути. Он сумел уговорить Ричарда вернуться в школу, давал ему уроки актерского мастерства, помогал деньгами, одеждой, жильем; он дал ему вкусить отраву сценического успеха в роли профессора Хиггинса. Ричард был так благодарен ему, что согласился стать его приемным сыном и взять его фамилию – из Дженкинса превратился в Бартона.

Тенор. А потом в газетах появилось объявление: известный драматург и режиссер Эмлин Вильямс ищет молодых актеров из Уэльса для своей новой пьесы, которая будет поставлена в Лондоне осенью 1943 года. И Филип Бартон сделал все возможное, чтобы его ученик поехал на пробы. Эмлин Вильямс позже описал свои впечатления: «Ричард выглядел необычайно привлекательным. Чудесные сине-зеленые глаза. Никакой суетливости, никакого позирования. Почти застенчивый, но при этом уверенный в себе. Моя учительница сказала мне: “Похож на тебя; но в нем еще есть скрытый дьявол, которого нет в тебе”».

Бас. До мобилизации в армию Бартон полгода проучился в Оксфорде, где летом 1944 года принимал участие в студенческой постановке шекспировской комедии «Мера за меру». Военную службу он отбывал в наземных частях Королевского воздушного флота. Его демобилизовали в 1947 году, и для него началась нелегкая жизнь молодого актера, вынужденного состязаться с сотнями своих талантливых сверстников за контракты и роли. Гастроли в провинции, участие в радиопостановках, чтение стихов, пробы для телевидения – он брался за любую работу. В какой-то момент он оказался среди тех, кто должен был продемонстрировать свои способности перед знаменитым Джоном Гилгудом. Тот вспоминал потом: «В Бартоне был настоящий театральный инстинкт... Это случается нечасто... В нем было что-то солнечное, такая уверенность в себе, но без тщеславия... Мог прихвастнуть, но так неназойливо, как хвастают в пивной. Всегда полон занятных историй. Невероятно начитанный, горы стихов знал наизусть... Ну и, конечно, дамы и девицы так и вились вокруг него».

Тенор. Один из его товарищей по амурным приключениям так объяснял природу его успеха: «Понимаете, он отдавался каждой женщине, которая отдавалась ему. Он рассказывал им занятные истории, дарил подарки, смешил их в постели. Когда женщина была с ним, ей казалось, что она – самая главная для него на свете. Хотя ясно было, что через пару недель ее сменит другая. Он был охотник, но отдавался этому занятию не ради умножения числа своих трофеев. Ему хотелось, чтобы они оба получали радость от происходящего».

Бас. Режиссер Вильямс однажды спросил его, где он провел предыдущую ночь. «Выпивал, – ответил Бартон. – В компании

нескольких озорниц». – «Почему бы тебе не найти приличную девушку и не угомониться?» – «А где ее взять?» – «Вокруг тебя так много очаровательных актрис. Посмотри вон на ту, в другом конце сцены. Ее зовут Сибил Вильямс. Пойди и представься ей.» Бартон так и сделал. Через несколько месяцев они с Сибил поженились. Ему было двадцать три, ей – восемнадцать.

Т е н о р. Первый настоящий успех пришел к Бартону в 1951 году, когда, при поддержке Гилгуда, он получил роль принца Хола во время Шекспировского фестиваля в Стратфорде-на-Эвоне. И публика, и критики были захвачены мастерством молодого актера. Там, где его предшественники, как правило, изображали безвольного собутыльника Фальстафа, Бартон играл юношу, который и в шуме пирушки вглядывался в те годы, когда ему предстояло принять бремя королевской мантии и короны. Особенно завораживал его голос, богатый модуляциями, безупречный по искренности интонаций.

Б а с. Успех Бартона на британской сцене очень скоро привлек к нему внимание неутомимых ищеек Голливуда. Студия «Двадцатый век Фокс» в 1952 году заключила с ним контракт на три фильма, которые должны были принести ему 80 тысяч фунтов стерлингов – неслыханную сумму по тем временам. В Лос-Анджелесе его и Сибил приветливо встречали Лорен Бакал и Хамфри Богарт. Вновь прибывшие вскоре стали желанными гостями в домах других кинозвезд, населявших Беверли Хиллз. Кол Портер играл для них на рояле, Джуди Гарланд пела, Оливия де Хэвилленд и Грета Гарбо любили пикироваться с Ричардом. Но, похоже, ни перелет через океан, ни присутствие жены ничуть не охладили его страсти к прекрасному полу.

Т е н о р. Кажется, не было на свете человека, который сказал бы плохое слово о Сибил. Уэльская родня Бартона обожала ее, друзья-актеры восхваляли, приемный отец, Филип Бартон, всегда принимал ее сторону в семейных конфликтах. Она была весела, приветлива, обладала чудесным голосом, умела держать себя с достоинством, не терялась перед знаменитостями. Сам Бартон много раз повторял, что ему не следует огорчать Сибил и что он никогда ее не оставит. Однако стоило новой прелестнице попасть в поле его зрения, и все благие намерения бывали забыты.

Б а с. Про таких, как Бартон, в Голливуде бытовала присказка: «К нему надо являться со своим матрасом». Актриса Джоан Коллинс рассказывала, что она отвергла его ухаживания, но он продолжал настаивать, уверяя ее, что любая женщина рано или поздно отдается ему. «При такой ненасытности вы, наверное, могли бы совокупиться и со змеей», – сказала Джоан. «Только если она будет носить юбку», – парировал Бартон. Как ни парадоксально, и в жизни, и на сцене этот человек патологически боялся чужих прикосновений, старался любым способом избегать их. Поцеловаться перед камерой с актрисой, в которую он не был влюблен, оборачивалось для него мученьем.

Тенор. Три первых фильма с участием Бартона не имели большого успеха, но репутация актера укрепились настолько, что ему был предложен контракт уже на семь картин, за которые он должен был получить миллион долларов. К изумлению всего Голливуда и возмущению продюсеров, он отказался от этого богатства и вернулся в Англию, где давно обещал сыграть Гамлета в старинном лондонском театре Олд Вик за 45 фунтов в неделю. Роль Офелии в новой постановке отдали молодой прелестной актрисе Клэр Блум. Роман между ними загорелся уже на репетициях, а во время гастролей скрыть его оказалось невозможно. Только жена ничего не знала – или делала вид. Если Сибил появлялась у входа в театр, кто-нибудь из актеров всегда успевал добежать до уборной Бартона, и Клэр имела возможность спрыгнуть с его колен и скрыться.

Бас. В своих воспоминаниях Клэр Блум пишет, что Ричард Бартон был первым мужчиной в ее жизни. Когда она получила роль Офелии, ей было двадцать два года, но она уже успела привлечь к себе внимание, снявшись в фильме Чаплина «Огни рампы». Их отношения с женатым Ричардом казались ей чем-то естественным, чем-то, что не могло не случиться. Если он оставался в ее квартире на ночь, жене наутро говорил, что пьянствовал с друзьями. Во время гастролей в Европе труппа должна была проехать из Дании в Цюрих на поезде. Купе, в котором ехали Бартоны, было отделено от купе Клэр небольшой гостиной. Отчаянный ловелас Ричард ухитрился незаметно покинуть свою постель и прокрасться в купе возлюбленной.

Тенор. При своей искренней и несомненной любви к Сибил, при том, что он старался скрывать от нее свои похождения, моногамный идеал был отброшен Бартоном с самого начала как нечто несуществующее. Уехав в Америку, он продолжал засыпать Клэр нежными письмами: «Я люблю тебя с какой-то жуткой интенсивностью, порой просто застываю над листом бумаги, нацелив неподвижное перо, и тоскую по тебе, и вспоминаю, и воскрешаю в воображении. Люблю тебя пугающе и красиво». Похоже, его понимание любви включало не обязательно даже обладание, но прежде всего то, что происходило в сердце человека. Их роман не возобновился, каждый пошел своей дорогой, но много лет спустя, передавая через общую знакомую привет Клэр Блум, Бартон добавил: «И скажите ей, что я никогда не переставал любить ее».

Бас. В 1953 году произошло горестное для Бартона событие: на тридцать девятом году жизни умер от алкогольного отравления его близкий друг, его поэтический кумир, Дилан Томас. Английская поэзия, от Джона Донна и Шекспира до Байрона, Китса, Шелли, Элиота, занимала огромное место в душе Ричарда Бартона. В его блистательном исполнении англичане и американцы слышали сотни стихов по радио и со сцены. Поэзия была для него той дверью в *Неведомое, Надмирное, Непостижимое, Неземное*, какой для других

бывает религия. Мне кажется, в выборе своих ролей он подсознательно руководствовался призывом Дилана Томаса:

*Не уступай безмолвно вечной тьме...
Взрывай ее проклятьями, мольбами.
Не уступай безмолвно вечной тьме.
Борись, борись за свет в своем окне.*

Тенор. А внизу, на грешной земле, тем временем продолжалась грешная жизнь. Клэр Блум продолжила свою блистательную карьеру на экране, где судьба еще несколько раз сводила ее с неумемным соблазнителем из Уэльса, в фильмах «Александр Великий» (1955), «Оглянись во гневе» (1958), «Шпион, который пришел с холода» (1965). Но сердце ее было уже далеко, она пленяла одного за другим таких талантливых мужчин, как Род Стайгер, Лоуренс Оливье, Филип Рот. У супругов Бартонов в 1957 году родилась дочь Кэйт, брак их казался прочным, неуязвимым для продолжавшихся похождения Ричарда. Слава его росла, вместе с ней росли заработки, и приходилось думать о том, как прятать их от налогов. Наилучший способ – жить большую часть года за границей. Для этой цели был куплен дом в окрестностях Женевы. По распоряжению хозяина, при перестройке его было выделено просторное помещение для домашней библиотеки.

Бас. В то время, когда семейный корабль Бартонов, казалось бы, входил в спокойные воды, в далекой Америке страшное несчастье постигло женщину, которой было суждено торпедировать этот корабль. В марте 1958 года третий муж Элизабет Тэйлор, известный продюсер Майк Тодд, погиб в авиационной катастрофе. Вдова была безутешна. Хотя к этому моменту она уже снялась в дюжине фильмов и считалась восходящей звездой Голливуда, утрата любимого мужа на втором году брака погрузила ее в тоску и растерянность. Красивая, знаменитая, богатая, к тому же плывущая в океане печали, – какой мужчина может устоять перед таким сочетанием? И муж ближайшей подруги, певец и актер Эдди Фишер, не устоял. Через год после гибели супруга двадцатисемилетняя Элизабет Тэйлор вышла замуж четвертый раз.

Тенор. Предыдущая жена Фишера, актриса Дебби Рейнольдс, была любимицей американских кинозрителей. Газеты и таблоиды обрушились на Элизабет Тэйлор, объявили ее разрушительницей семейных устоев и угрозой для моральных основ государства. В 1950-е годы киноиндустрия строго следила за моральным обликом своих звезд. После того как Ингрид Бергман убежала с режиссером Карло Росселини, ее карьера в Голливуде была кончена. Мало кто из зрителей знал тогда, что браки внутри целлулоидного королевства часто устраивались под давлением киностудий, которые стремились выстраивать облик каждого актера и актрисы, подгоняя их под вкусы публики. Оба первых замужества Элизабет Тэйлор были негласно санкционированы дирекцией и продюсерами. Но, видимо, к моменту скандала статус ее уже был

так высок, что изгнание ей не грозило. Кассовые сборы, приносимые фильмами с ее участием, говорили сами за себя. И в 1961 году она была приглашена на роль Клеопатры в одноименном блокбастере, с вознаграждением в миллион долларов.

Б а с. На эту картину студия «Двадцатый век Фокс» возлагала большие надежды. Бурно развивающееся телевидение теснило кинопромышленность, заставляло изыскивать новые пути к сердцам и кошелькам зрителей. В качестве режиссера был приглашен Джозеф Манкиевич, прославленный и осыпанный премиями за фильм «Всё о Еве». На роль Юлия Цезаря он выбрал английского актера Рекса Харрисона. Ричард Бартон в это время играл в Америке короля Артура в спектакле «Камелот», но режиссер хотел только его на роль Антония. Студии пришлось «выкупить» Ричарда у театральных продюсеров за 50 тысяч долларов и подписать с ним контракт еще на 250 тысяч.

Т е н о р. С самого начала разорительные неудачи сыпались на этот фильм одна за другой. Местом съемок был выбран Рим, но летом 1960 года там проходила Олимпиада. Пришлось передислоцироваться в Лондон, в надежде на то, что британская погода смиростивится и хоть на несколько дней прикинется Средиземноморьем. Но не тут-то было. Холодные дожди заливали съемочную площадку с таким упорством, что Элизабет Тэйлор подхватила простуду, которая перешла в бронхит, а бронхит – в воспаление легких. В больнице она впала в кому, и ее удалось спасти, только надрезав трахею. Из-за ее болезни неделя за неделей проходили впустую, но нанятым актерам и массовке студия должна была платить указанную в контракте зарплату.

Б а с. Только в конце 1961 года продюсерам удалось преодолеть все препятствия и уже всерьез начать съемки в Риме. Студия оплатила переезд семейства Бартонов, сняла для них виллу, наняла слуг и выделила тысячу долларов в неделю «на мелкие расходы». Элизабет Тэйлор прибыла со своими четырьмя детьми (два сына от второго мужа, дочь – от третьего и еще одна, удочеренная ею с четвертым мужем), в окружении нянек, телохранителей, собак, кошек, секретарей, парикмахеров. Во время первой встречи на съемочной площадке в январе 1962 года оба держались настороженно. Бартон жаловался режиссеру, что его партнерша не владеет техникой актерского ремесла, «не играет, а просто присутствует» перед объективом. Но Манкиевич показал ему первые пробы, и Бартон должен был признать, что замершее лицо Элизабет на экране может оказывать более сильное драматическое воздействие, чем профессиональная мимика, которой он привык пользоваться на сцене.

Т е н о р. Первые месяцы в Риме и Элизабет, и Ричард выглядели вполне довольными своими семейными отношениями. Бартон был нежен с женой и двумя дочерьми, Элизабет регулярно говорила по телефону с мужем, когда тому нужно было уезжать в Америку на запланированные концерты. Некоторые свидетели

потом утверждали, что поначалу эти двое недолго любили друг друга. Пунктуальный Бартон бесился, когда избалованная голливудская звезда являлась на съемочную площадку с часовым опозданием, за глаза называл ее «мисс титьки». Элизабет считала его неотесанным, смеялась над его примитивными комплиментами. («Кто-нибудь уже говорил вам, что вы прелестная женщина?») Мужу она сказала, что у Бартона под ногтями можно выращивать огород.

Б а с. Но вскоре ее насмешливость испарилась. Она была ошеломлена непредсказуемостью и напором нового поклонника. Он мог утром встречать ее на площадке нежными словами, а вечером отказывался отвечать на ее телефонные звонки. Кто-то посмел отвергнуть царицу Голливуда и Египта?! Отвергнуть жрицу любви, колесницу которой тысячи итальянцев, одетых в тоги и туники, встречали на улицах Рима восторженными воплями?! Нет, с этим смириться было нельзя. С детства Элизабет Тэйлор привыкла добиваться того, что она хотела, и препятствия – сопротивление – только разжигали ее.

Т е н о р. Постепенно внутренний любовный жар, постоянно пылавший в обоих всю жизнь, начал проникать сквозь пленку обыденных слов и жестов. Они словно бы опознали друг в друге тайных соплеменников («ты и я – мы одной крови!») – и потянулись один к другому неудержимо.

Б а с. Возможно, и доставшиеся им роли способствовали разгоранию пожара. Представим себе Антония-Бартона, со страстью говорящего Клеопатре-Элизабет: «В тебе соединилось все, что я люблю на этом свете, что хотел бы сберечь в своих руках». «Мир без тебя, Антоний, – отвечает она, – это мир, в котором я жить не хочу». «Что случилось?» – спрашивает она в другой сцене. «Со мной? Ты случилась со мной», – отвечает он. Режиссер восклицает свое привычное «стоп!», но эти двое не в силах выпустить друг друга из объятий. По сценарию, в припадке ревности Клеопатра должна была выкрикнуть имя женщины, на которой женился Антоний, но Элизабет Тэйлор восклицает: «Сибил?!»

Т е н о р. Некоторые свидетели в своих мемуарах утверждают, что поворотным моментом оказалась сцена купанья полуобнаженной Клеопатры-Тэйлор. Как бы там ни было, оба не скрывали, какую огромную роль в их жизни играл – даже не римский Амур с кудряшками и игрушечным луком, а грозный греческий Эрос. Стаи фотографов-папарацци кружили вокруг съемочной площадки, укрыться от них было невозможно ни в дальнем отеле, ни в доме друзей, ни на частной яхте. В какой-то момент любовники махнули на все рукой и стали появляться на людях открыто.

Б а с. Они сами были ошеломлены тем, что с ними происходило. Элизабет вспоминала потом: «Вы не можете вообразить, что это такое: держать в объятиях Ричарда Бартона и

слышать его божественный голос, льющий тебе в уши слова любви. Все тревоги, беды, страхи растворялись, отлетали прочь... Изменить ему было так же невозможно, как не влюбиться в него». А он писал ей в письме: «Я жажду впивать твой запах, касаться твоих сосков и округлого живота, и копилки со щелью, и неповторимой гладкости бедер, и детской мягкости ягодич, и податливых губ, я жажду увидеть твой почти враждебный взгляд, когда тебя седлает твой уэльский жеребец».

Тенор. Наконец, нашлись «добрые» друзья, которые донесли Фишеру о происходящем. Лежа рядом с женой в постели, он спросил: «У тебя есть что-то с Бартоном?» «Да», – тихо ответила прямодушная Элизабет. Муж встал, упаковал чемодан и покинул виллу. Однако смириться с утратой любимой жены не смог и отправился донести о происходящем Сибил. Та заверила его, что с самого начала их брака знала о похождениях Ричарда, но решила смириться с этим, потому что он любит только ее и всегда возвращается к ней. Сама же на следующий день отправилась на съемочную площадку и закатила любовникам такой скандал, что съемки пришлось прервать на целый день. Студии это обошлось в сто тысяч долларов.

Бас. Борьба между соперниками продолжалась. Однажды, в присутствии Фишера, Ричард заорал на Элизабет: «Кого ты любишь? Меня или его?» «Тебя», – прошептала испуганная Элизабет. «Ответ правильный, – заявил Бартон, – но недостаточно быстрый». Разрыдавшись, Элизабет уехала в отель. Мужчины остались вдвоем и погрузились в многочасовое выяснение отношений, сопровождавшееся обильными возлияниями.

Тенор. Я не уверен, что нам следует полностью доверять мемуарам оставленного мужа. Он пишет, что их разговор был по большей части монологом Ричарда, который то оскорблял его, то льстил, то извинялся, то хамил, а в конце сказал: «Ведь она тебе без пользы. Ты и так уже звезда. А я – нет. Она сделает меня звездой. Я сумею использовать ее, эту бесталанную голливудскую пустышку».

Бас. Действительно, звучит слишком примитивно для литературно чуткого Бартона. Но финал этой сцены выглядит так дико, что, мне кажется, придумать его Фишер не смог бы. Помните, как Элизабет начала звонить из отеля, а Бартон отказывался говорить с ней. Потом, наконец, взял трубку и начал кричать на нее: «Боже, как ты можешь так обращаться с этим замечательным человеком?! Он так любит тебя! Если ты не станешь вести себя поосторожнее, мы удалимся наверх, и я сам его трахну». Мемуары Фишера вышли, когда оба, Бартон и Тэйлор, были живы и могли бы опровергнуть прямую ложь.

Тенор. Про Бартона говорили, что соврать он мог, только когда был трезв. А так как это случалось нечасто, то и его можно было считать человеком таким же правдивым, как Элизабет. Бог Бахус играл в жизни обоих не меньшую роль, чем бог Эрос.

Выпивка в какой-то степени служила Бартону лекарством против боли в шее, плече и пальцах (ущемление нерва, тяжелый артрит), против разных страхов: он боялся высоты, чужих прикосновений, приступов эпилепсии, гемофилии. Кроме того, он боялся, что трезвым он становился скучен для окружающих. Но это было лекарство, которое исподтишка убивало его.

Б а с. Любовная драма двух знаменитостей выплеснулась на страницы газет грандиозным скандалом. Ватиканский еженедельник «Оссерваторе делла Доменика» писал о недопустимости такого морального падения: «Если брак умер, значит, кто-то убил его. Не слишком ли много браков уже разрушено вами, синьора Тэйлор? Не пришла ли пора покончить с эротическим бандитизмом?» Видные политики в США призывали Конгресс запретить Ричарду Бартону и Элизабет Тэйлор въезд в Америку. Режиссер Манкиевич получал по почте анонимные угрозы положить конец скандалу при помощи бомбы с часовым механизмом. Пришлось в толпу статистов добавлять вооруженных детективов, одетых в римские тоги. Сибил паковала чемоданы и грозила уехать в Нью-Йорк, забрав с собой детей.

Т е н о р. Для Бартона перспектива утратить обеих дочерей была невыносима. Он объявил возлюбленной, что они должны расстаться. В ответ на это Элизабет проглотила пригоршню снотворных таблеток. 17 февраля 1962 года римская «скорая помощь» примчала ее в больницу, где ей сделали срочное промывание желудка. Через день прилетел Эдди Фишер – дежурить у постели выздоравливающей жены. Попытку самоубийства пытались представить пищевым отравлением. Весной съемки «Клеопатры» закончились, и влюбленные попробовали вернуться к своим семьям.

Б а с. Бартон и Сибил уехали в свой дом на западном берегу Женевского озера. Элизабет к тому времени купила виллу вблизи восточного берега, в швейцарском городке Гстаад, и поселилась там на лето с детьми. Теперь уже не вспомнить и не дознаться, кто из двоих не выдержал и первым набрал номер другого. Известно только, что через пару месяцев разлуки Бартон сел в машину и после двух часов езды оказался в Гстааде. Настала очередь Сибил проглотить снотворные пилюли. Ее тоже спасли. Однако и друзьям, и родственникам все яснее становилось, что пожар потушить не удастся. Тем более, что осенью и Ричард Бартон, и Элизабет Тэйлор должны были уехать в Лондон, чтобы вместе сниматься в фильме «Очень важные персоны».

Т е н о р. В Лондоне, однако, для обеих продолжалась двойная жизнь. На съемочной площадке Ричарду и Элизабет нужно было играть супружескую пару и говорить друг другу слова любви. Они снимали номера в одном отеле, но Сибил с детьми поселилась неподалеку, в предместье. Муж брал ее с собой в гости к старинным друзьям, в разговорах с журналистами изображал из себя преданного супруга. В одном интервью, подкрепившись

несколькими стаканчиками «Джека Дэниэльса», он произнес демагогический панегирик моногамии: «Неверность не имеет оправданий. В тот момент, когда вы изменяете данному обету, ваша жизнь разрушена. Я никогда не изменял своей жене, и меня раздражает, если газеты делают намеки на этот счет». Во время интервью Элизабет несколько раз непринужденно заходила в номер, одетая только в легкую розовую пижаму.

Б а с. На съемки «Клеопатры» студия потратила десятки миллионов долларов сверх бюджета. Чтобы спасти положение, продюсер Даррел Занук уволил режиссера и сам взялся монтировать окончательную версию, имея в виду вкусы широкой публики. По мнению Ричарда и Элизабет, он выбросил самые лучшие сцены с ними, оставив только необходимые для развития сюжета. Первые рецензии были безжалостны к Элизабет Тэйлор: «Слишком толстая, слишком грудастая, слишком высокооплачиваемая при нехватке таланта, она отбросила актерскую профессию на десятилетие назад»; «Плотское начало преобладает в ней, никакой глубины чувств не мелькнет в ее глазах, отяжелевших под косметикой»; «Монотонность в юбке с разрезом»; «В голосе ее никаких модуляций, и слишком часто он напоминает крик базарной торговки».

Т е н о р. Некоторые биографы считают, что Бартона влекла к Элизабет не столько ее красота, сколько богатство и слава. Гонорар в миллион долларов сам по себе создавал неодолимо манящий ореол над ее головой. Но мне кажется, что невидимый канат, тянувший его к ней, сплетался не только из нитей эротики и тщеславия. Он все больше ценил в ней партнера по ремеслу. В дневнике он писал: «Э. научила меня тонкостям киношного дела, о существовании которых я не подозревал... Среди прочего она объяснила мне, как важно использовать паузу, уговорила понижать голос до телефонных интонаций, не напрягать его, как это привычно сценическому актеру. А главное, она убедила меня относиться к работе в кино с такой же серьезностью, как к постановкам шекспировских трагедий».

Б а с. Весной 1963 года Ричард Бартон наконец решился и объявил Сибил, что им следует на время расстаться. Та предчувствовала приближение развязки и приняла ее довольно спокойно. Она уехала с детьми в Нью-Йорк и восстановила там связи со многими друзьями. С их помощью ей удалось организовать в Манхэттене ночной клуб «Артур», вскоре ставший очень популярным. Через несколько лет она вышла замуж за дирижера оркестра, игравшего в ее клубе, у них родилась дочь. Но все попытки журналистов расспрашивать ее о четырнадцати годах жизни с Бартоном она неизменно отклоняла.

Т е н о р. Морально строгие пятидесятые остались позади. В бунтарской атмосфере шестидесятых громкий скандал не только не испортил репутацию Бартона и Тэйлор, но, казалось, обернулся дополнительной рекламой. Предложения ролей сыпались со всех

сторон. Бартон замечательно исполнил главные роли в экранизациях пьесы Жана Ануя «Бекет» и пьесы Теннесси Уильямса «Ночь игуаны». Элизабет Тэйлор удачно выступила в фильме «Кулик» и в экранизации романа Карсон Маккалерс «Блики в золотом глазу», где она играла в паре с Марлоном Брандо. Однако наибольший успех имел третий совместный фильм Бартона и Тэйлор – «Кто боится Вирджинии Вулф», по одноименной пьесе Эдварда Олби.

Б а с. К началу съемок этого фильма драмы, связанные с крушением двух семей, улеглись. При разводе с Сибил Ричард проявил невероятную щедрость. По приблизительным оценкам, она и дочери получили около полутора миллионов долларов в виде будущих годовых выплат. Совсем не то – Элизабет Тэйлор. Она настаивала, чтобы за ней остался дорогой дом в Гстааде, который они купили вместе с Эдди Фишером, и зеленый «ягуар», который она подарила ему; требовала, чтобы все фонды, основанные ими вдвоем, стали ее собственностью. Под ее напором бывший муж уступил во всем. Развод был легально оформлен в январе 1964 года, а два месяца спустя состоялась свадьба Дика и Лиз, как их теперь называли поклонники во всем мире. В Монреале нашелся священник Унитарийской церкви, который решился прогневать Бога, венчая двух разведенных. Элизабет явилась в ярко-желтом шифоновом платье, с глубоким вырезом и с изумрудной брошью ценной в 150 тысяч долларов, подаренной женихом. Она опоздала в церковь на час, что вызвало саркастическое замечание Ричарда: «Ты, я думаю, сумеешь опоздать и на Страшный суд».

Т е н о р. Элизабет выглядела абсолютно счастливой. Казалось, она была готова забыть о собственной актерской карьере, целиком посвятить себя мужу. Он в эти месяцы с успехом гастролировал в Нью-Йорке с «Гамлетом», и она была в зале на сорока спектаклях, каждый раз – в новом платье. Когда в Мексике начались съемки фильма «Ночь игуаны», она присоединилась к нему и там – и зорко следила за тем, чтобы у него не разгорелся роман с Эвой Гарднер или с Деборой Керр. То же самое было и на съемках картины по роману Ле Карре «Шпион, пришедший с холода»: там снималась Клэр Блум, и на съемочной площадке Элизабет могла громким окриком «Ричард!» отозвать мужа, если ей казалось, что он слишком надолго задержался рядом с бывшей возлюбленной.

Б а с. Таким же повелительным окриком призывает своего мужа героиня фильма «Кто боится Вирджинии Вулф», Марта, в исполнении Элизабет Тэйлор. Продюсер Леман сначала не хотел приглашать Бартона на главную роль, говорил ему: «В вас слишком много мужественности, не на два, а уже на четыре яйца». «Всего на четыре?» – обиженно спросил Бартон. Но на пробах доказал, что может сыграть скромного заштатного профессора, находящегося под каблуком у своей жены. Местом съемок выбрали небольшой колледж в Новой Англии. Студии пришлось нанять семьдесят охранников, чтобы удерживать толпу поклонников, жаждущих

получить автографы у двух голливудских звезд.

Тенор. Бартон чувствовал, что для Элизабет роль немолодой и не очень привлекательной дамочки окажется нелегкой, и был подчеркнуто внимателен к ней. А моральная поддержка была ей очень нужна, ибо язвящие стрелы летели в нее порой из самых неожиданных амбразур. Например, однажды на съемочной площадке появилась Марлен Дитрих и осыпала Ричарда комплиментами. Потом подошла к Элизабет, поцеловала ее и воскликнула: «Дорогая, каждый просто великолепен! Но вы, вы! Какой смелостью нужно обладать, чтобы играть рядом с настоящими актерами!»

Бас. Сюжет этой картины предельно прост: пожилая университетская пара, Джордж (Бартон) и Марта (Элизабет), пригласила в гости молодого профессора Ника с женой Ханни (их играют Джордж Сигал и Санди Дэнис) к себе домой выпить и расслабиться после скучного официального раута. И в течение ночи все четверо расслабляются и самообнажаются друг перед другом до предела. Второй акт в пьесе Олби так и называется: «Вальпургиева ночь». Под влиянием алкогольных паров персонажи рассказывают друг другу о самых интимных и болезненных аспектах своей жизни, а через двадцать-тридцать минут тот, кто слушал «исповедь», подносит ее всем остальным в издевательском пересказе.

Тенор. Порой может возникнуть впечатление, что Олби сочинял Джорджа и Марту, имея перед мысленным взором Ричарда и Элизабет. Два главных героя так же охотно напиваются, так же безжалостно провоцируют и шокируют друг друга и окружающих, но в глубине души так же безнадежно повязаны друг с другом невидимыми нитями душевного сродства. Желание разрушить внешнюю невозмутимость Джорджа доводит Марту до того, что она удаляется с молодым гостем наверх в спальню. Но и в жизни такая же страсть провоцировать и шокировать гостей была свойственна Бартонам. Однажды посреди вечеринки Ричард громко спросил присутствовавшего на ней журналиста, хотел бы он оказаться в постели с его женой.

Бас. Да, я тоже читал про этот эпизод. Бедняге журналисту не позавидуешь. Скажешь «нет» – обидишь хозяев, скажешь «да» – можно получить кулаком в лицо. Но он как-то вывернулся?

Тенор. Не очень удачно. Заявил, что если бы подобное случилось, он от волнения стал бы импотентом. Бартон немедленно закричал жене через всю комнату: «Слышишь, Элизабет! Кен говорит, что у него на тебя не встанет». «Что?! – возмутилась Элизабет. – Такого оскорбления я еще не получала. Вон из моего дома!» Наутро, конечно, она уже звонила изгнанному с похмельными извинениями, посылала подарки.

Бас. К чести Элизабет Тэйлор, нужно напомнить, что это она настояла на приглашении в качестве режиссера Майка Николса,

который до «Вирджинии Вулф» не снял ни одного фильма. И она безоговорочно следовала его требованиям, даже растолстела для этого фильма на десяток фунтов. В картине есть сцена, в которой Марта плюет мужу в лицо, а он утирается. Николс требовал новых и новых дублей. В конце концов Элизабет разрыдалась и заявила, что она больше не может плевать в лицо Ричарду Бартону. Но и ее выбор режиссера, и ее послушность на площадке были вознаграждены: фильм имел огромный успех, стал классикой американского кинематографа, а сама Элизабет получила за роль Марты своего второго Оскара. Бартон был номинирован, но опять обойден – премия 1966 года досталась Полу Скофилду за роль Томаса Мора в фильме «Человек на все времена».

Тенор. Продюсер фильма, Эрнст Леман, подметил, что стычки между Бартонами обычно начинались по инициативе Элизабет, но и Ричард с готовностью вносил свою лепту. В них обоих жила потребность наполнять драматизмом каждую минуту своей жизни, они начинали скучать, когда все шло слишком гладко. Однако во время съемок «Вирджинии Вулф» Джордж и Марта столько переругивались по ходу действия, так изобретательно ранили друг друга, что под вечер Дик и Лиз возвращались домой умиротворенные и спокойно отдыхали в кругу друзей.

Бас. В следующем совместном фильме, «Укрощение строптивой», Бартон и Тэйлор как бы поменялись ролями. Теперь Ричард-Петруччио смирял нрав Элизабет-Катарини, учил ее беспрекословно слушаться мужа. Комедия Шекспира дала актерам возможность переоблечься в красочные наряды средневековой Италии, но в основном позволяла оставаться самими собой: властная Элизабет-Катарина нагоняет страху на слуг, сестру, женихов, даже на отца, а уверенный в себе Ричард-Петруччио подчиняет ее так же, как он подчинял десятки дам в реальной жизни. В конце Катарина становится шелковой и читает стихотворные наставления строптивым женам. Но, мне кажется, Дзеффирелли стоило бы сделать вторую серию этого фильма, в которой изобретательная Катарина научилась бы исподволь распоряжаться Петруччио и заставлять его служить своим страстям и интересам, как это проделывала Лиз с Диком.

Тенор. В фильме «Укрощение строптивой» Бартоны выступили не только как актеры, но частично – и как продюсеры. Отказавшись от гонорара, они тем самым вложили в производство два миллиона долларов. Это вложение принесло им доход в 12 миллионов. За участие в других картинах они тоже получали крупные суммы. К концу шестидесятых Бартоны сделались миллионерами, и это незаметно изменило и стиль их жизни, и круг знакомств, и манеру обращения с людьми. Вдобавок к домам в Швейцарии и Мексике они купили большую яхту, на которой могли с комфортом размещаться пятнадцать пассажиров, плюс восемь членов команды. В свое время она была построена экстравагантным англичанином, который установил в ней орган,

чтобы иметь возможность выходить в море в штормовую погоду и слушать Баха под вой ветра. Корабль назвали по именам трех дочерей – Кэйт, Лиза, Мария: «Кализма».

Б а с. Покупка обошлась в 200 тысяч и столько же ушло на ее переоборудование. Супруги не признавали скромность важной добродетелью и не собирались прятать свое богатство. Стоимость нового платья Элизабет могла составить годовую зарплату среднего служащего, при этом оно надевалось один раз. Ей была куплена норковая шуба за 125 тысяч, и она снялась в ней для обложки журнала «Лук». Она обожала драгоценности, и муж знал, что покупка нового камня безотказно сделает ее счастливой. В какой-то момент стало известно, что знаменитый богач Аристотель Онасис подарил своей невесте Жаклин Кеннеди украшение из рубинов и бриллиантов ценой в полмиллиона. Перещеголять, превзойти Онасиса стало навязчивой идеей Бартона. Он въезался в аукционный торг за бриллиант в 62 карата – и после долгой борьбы с невидимыми конкурентами заполучил его для Элизабет за миллион сто тысяч.

Т е н о р. Камень такой цены, конечно, должен был быть застрахован. Лондонская страховая компания «Ллойд» внесла в полис такие условия: ожерелье с этим бриллиантом должно храниться в специальном сейфе; надевать его для выхода в свет можно не больше тридцати дней в году; каждый раз при этом Элизабет должен сопровождать вооруженный охранник; если понадобится перевозка, ее должны осуществлять три специальных агента с одинаковыми портфелями, следующие разными маршрутами: один агент везет бриллиант, два других – для отвлечения грабителей.

Б а с. Транжирство шло по многим направлениям. Бартоны покупали «ролс-ройсы» и «кадиллаки», картины Ван Гога, Дега, Моне, Пикассо, Рембрандта, Ренуара, Утрилло, вкладывали деньги в недвижимость, приобрели десятиместный реактивный самолет. Когда бухгалтер объявил им, что в кубышке показалось дно, они согласились сняться в фильме «Комедианты». Ричард должен был получить 750 тысяч, Элизабет – впервые меньше него: пятьсот.

Т е н о р. Диктатор Гаити, Папа Док Дювалье, ненавидел роман Грэма Грина, грозил наслать на него либо убийц, либо страшную порчу с помощью шаманов вуду. Пришлось перенести съемки в Дагомею. В этой западноафриканской стране Бартоны, наконец, смогли отдохнуть от толп поклонников и от журналистов. На улицах их никто не узнавал. Однажды Ричард ушел гулять и долго не возвращался в отель. Встревоженная Элизабет побежала разыскивать его. В одном баре она спросила, не появлялся ли у них мистер Бартон. «Он белый или черный?» – спросил официант.

Б а с. Говоря о транжирстве Бартонов, не следует все же забывать и об их щедрости. Ричард поддерживал стипендиями и пенсиями свою огромную уэльскую родню, оплачивал лечение

заболевших и покалечившихся. К слугам супруги были неизменно добры, внимательны, отзывчивы. Их шофер Гастон сказал про своего нанимателя: «Если бы у всех были такие боссы, как мой, коммунизм исчез бы с лица земли». Тревога за безопасность детей тоже ложилась на Бартонов новым расходом: из страха похищения им приходилось содержать круглосуточную охрану каждого. Тратились они не только на предметы роскоши. В какой-то момент Элизабет подарила своему мужу – запойному книгочею – знаменитую серию «Библиотека для каждого», содержащую тысячу томов лучших произведений мировой литературы.

Тенор. Донжуанство Ричарда, казалось бы, поутихло на время его брака с Элизабет. Ходили, правда, слухи о романах с Софи Лорен и с актрисой Женевиев Бижо, с которой он снимался в фильме «Анна на тысячу дней». Зато в эти годы Бартон мог позволить себе все больше времени уделять другой своей страсти: литературе. Он запоем прочитывал по несколько книг в неделю. Романы, стихи, мемуары, пьесы, исторические исследования, путевые заметки – все находило в нем горячий отклик, давало пищу уму и сердцу. Он также вел подробный дневник, планируя в будущем сделать его основой для написания автобиографии. Не случайно литературная основа большинства фильмов, в которых он соглашался сниматься, была создана перьями писателей высокого класса: Жан Ануй, Грэм Грин, Джон Ле Карре, Кристофер Марло, Владимир Набоков, Джордж Оруэлл, Джон Осборн, Теннесси Уильямс, Шекспир.

Бас. Для биографов Бартона его огромный дневник представляет собой незаменимый источник. Он старается быть в нем предельно честным по отношению к себе, вглядывается в свои чувства и подлинные мотивы поступков. Пассажи, выражающие любовь к жене, сменяются горестными жалобами на нее: «Сегодня я безумно влюблен в Элизабет, и это отличается от того, как я люблю ее в остальные дни. Хочу обладать ею каждую минуту»; но в другом месте: «Последние шесть или восемь месяцев были чистым кошмаром. Наполовину по моей вине, наполовину – по ее... Что за странный мир! Прожили вместе восемь лет и остались совершенно чужими». Он сознается, что ему скучно быть с детьми, что он мечтает, чтобы они выросли и приезжали с визитом только на Рождество. Режиссер Майк Николс после съемок «Вирджинии Вулф» однажды сказал о нем: «В жизни не встречал такого одинокого человека».

Тенор. В дневнике Бартон часто рассказывает о болезнях жены, и эти отрывки окрашены искренней нежностью и состраданием. Элизабет мучилась обильными кровотечениями, вызванными геморроем. Ее давление порой падало до 90. Ричард ухаживал за нею как профессиональная сиделка. В дневнике запись: «Бедная! Я орал на нее, обвинял в том, что это она сама доводит себя до такого состояния выпивкой и отсутствием дисциплины. Думаю, из страха за нее я орал на самом деле на себя. Господи, дай дожить

до завтра!» После операции по удалению матки: «Провел два самых страшных дня моей взрослой жизни... Видеть любимое существо кричащим от боли, галлюцинирующим, то узнающим меня, то нет, и не иметь возможности помочь...»

Ба с. К сорока годам Элизабет Тэйлор перенесла в общей сложности около тридцати различных операций. Ее болезни рождали сочувствие в муже, сближали супругов. Другой почвой сближения служила выпивка. В долгие пустые периоды между съемками им часто больше нечем было заполнить время. «Получил хорошее известие – значит, нужно выпить, – писал Бартон в дневнике. – Плохое известие – опять нужно выпить». Все же в какой-то момент Элизабет уговорила его показаться врачу. Тот пощупал печень пациента и до всяких тестов объявил, что ему необходимо «завязать», если он хочет жить. Испуганный Бартон послушался, вступил на тропу трезвости. Но оказалось, что без этого волшебного эликсира жизнь для него утрачивала всякую тень радости и надежд. Особенно, когда жена и друзья вокруг него продолжали предаваться утехам Бахуса. Случилось то, чего Бартон боялся всю жизнь: стать скучным, неинтересным для других.

Т е н о р. Есть дневниковая запись, в которой он описывает, как однажды во время бессонницы он стал вспоминать выдающихся людей, с которыми ему доводилось встречаться. «С кем бы из них мне хотелось сейчас побыть? Черчилль? Нет, он монологист. Пикассо? Эгоцентрик. Дилан Томас? Блестящий, но вносит тревогу. Сомерсет Моэм? Этому только бы играть в бридж со слабаками. Джон Осборн? Ни капли юмора. Эдвард Олби? Я соскучусь с ним через день, а он – со мной. Гилгуд? Этому со мной неуютно».

Ба с. Многие отмечали, что после нескольких стаканов виски в Бартоне умирал доктор Джейкил и просыпался мистер Хайд. Он с удовольствием повторял язвительные шутки и эпиграммы в адрес знакомых. «Майкл Редгрейв? Конечно, он влюблен в себя, но не уверен во взаимности». Мог не только злословить за спиной, но и оскорблять в лицо. Пожилой принцессе, оказавшейся рядом с ним на банкете, объявил, что среди собравшихся никто не сможет сравниться с ней в вульгарности. В адрес Гилгуда оскорбительно шутил по поводу его гомосексуализма. Лоуренсу Оливье говорил, что считает его «гротескным преувеличением актера – голая техника, никаких эмоций». Ральф Ричардсон славился своим умением держать паузу на сцене, но Бартон спросил его, не связано ли это просто с потерей памяти, с тем, что он пытается вспомнить нужные строчки.

Т е н о р. И, конечно, очень часто Элизабет приходилось иметь дело с Ричардом-Хайдом. В дневнике он не раз спрашивает себя: «Из-за чего мы с ней постоянно ругаемся? Вот в эту самую минуту она вошла в комнату, где я сижу за машинкой, и мы снова сцепились. Ни один из нас не умеет уступить, и рано или поздно что-то между нами оборвется... С утра я радовался тому, что у меня не дрожали руки, но как только она вошла, они снова начали

трястись... Если мы не можем понять и, хуже того, не можем выносить друг друга, то очень скоро наши пути разойдутся».

Б а с. Элизабет многократно утверждала, что они оба получают удовольствие от ссор. На самом же деле, я думаю, они получали удовольствие от предвкушения примирения, которое последует за ссорой. Вы знаете мои теории о разнице между любовью и влюбленностью. Любовь – это озеро, влюбленность – река, которая существует только в движении, в стремлении к какой-то последней, предельной близости. Остановка так же губительна для нее, как для акулы, чьи жабры не способны усваивать кислород в неподвижной воде. Человек, испытавший счастье влюбленности, часто впадает в растерянность, достигнув озера любви. Как же так? Куда исчезло волнение, захватывающие дух пороги и стремнины, где брызги водопадов и плеск волн? И он пытается искусственно взволновать воды озера смерчами маленьких ссор, устроить в нем водовороты бессмысленных размолвок. Уловка временного разрыва помогает потом снова пережить то счастье сближения, которое таится в реке влюбленности.

Т е н о р. Во всяком случае, судьба Бартона и Тэйлор может служить хорошим примером, подтверждающим вашу теорию. После знакомства в 1962 году река их влюбленности подхватила и несла их друг к другу, колотя о камни и плотины жизненных и семейных обстоятельств. Этот процесс растянулся на два года. Когда они достигли озера любви, выяснилось, что оба слишком ненасытны и не могут утолить душевный голод простым семейным счастьем. Искусственные разрывы, которые они устраивали друг другу, делались всё горше и длиннее. И десять лет спустя началось окончательное расставание, длившееся те же два года.

Б а с. Есть что-то символическое и поучительное в эпизоде, случившемся в 1971 году, когда Бартоны отдыхали в своем доме в Мексике. Они отправились посмотреть выступление заезжего цирка. Номера сменялись, и в какой-то момент настала очередь метателя ножей. В нескольких метрах перед ним был установлен деревянный щит, спиной к которому стояла девушка, раскинув руки, как на кресте. Циркач бросал в нее тяжелые кинжалы, и они с громким стуком вонзались в дерево в нескольких сантиметрах от ее макушки, щеки, шеи, плеча, ребер. Выступавшим похлопали, потом ведущий что-то сказал в микрофон по-испански. Все повернулись в сторону Бартонов. Ричард подумал, что их просто приветствуют, и собирался встать. Вдруг он с ужасом увидел, что Элизабет поднимается с места, спускается на сцену и занимает место девушки у щита.

Т е н о р. В его дневнике это описано так: «К тому моменту, когда я дошел до арены, первый нож вонзился в дерево в двух дюймах от ее левого уха. Потом – от правого. Глядя перед собой широко открытыми глазами и улыбаясь, Элизабет прошептала: “Ричард, только молчи, не нервируй его...” Я подчинился. Жена Лота могла бы поучиться у меня неподвижности. Через минуту все

было кончено. Раздались аплодисменты, как на бое быков. Я пожал руку циркачу и собирался вести героиню обратно к нашим местам и шампанскому. Но не тут-то было. Под рев толпы меня поставили боком к щиту, дали в каждую руку по надутому шарикку и один засунули в рот. Я выглядел полным идиотом. Шарикки лопнули один за другим, пронзенные ножами. Дома, вместо неподвижности жены Лота, я изображал пляску Святого Витта, пока мне не налили стакан водки... «Я думаю, мы оба обезумели», – сказала Элизабет».

Б а с. Полагаю, если бы среди зрителей оказался Хемингуэй, он тоже поспешил бы занять место у щита. Видимо, есть люди, способные опьяняться опасностью. Или они пытаются что-то доказать своими отчаянными выходками – себе, окружающим, друг другу. Ведь и словесные дуэли Бартонов только на поверхности были бескровными. После каждой из них кровью истекало живое существо – их любовь.

Т е н о р. В одном из прощальных писем к Элизабет Ричард бунтует против самого понятия «любовь»: «Для меня оказалось слишком трудным выстраивать всю свою жизнь на существовании другого человека. Не менее трудным, при моей врожденной самоуверенности, оказалось уверовать в *идею любви*. Нет такой вещи на свете, говорю я себе. Конечно, есть похоть, есть корыстное использование другого, и ревность, и томление, и затраченные усилия, но нет этой идиотской вещи – *любовь*. Кто выдумал эту концепцию? Я изломал мой растрепанный мозг, но ответа так и не нашел».

Б а с. Друзья, обсуждавшие причины разрыва Бартонов, раскололись на две группы. Те, кто стал на сторону Элизабет, считали, что всему виной было пьянство Ричарда. Пьяный Бартон превращался в другого человека, в Джорджа из фильма «Кто боится Вирджинии Вулф», в то время как Элизабет уже перестала быть Мартой. Его друзья, имевшие возможность наблюдать обоих, говорили, что поведение Элизабет делалось хуже с каждым годом. Она постоянно наседала на мужа с требованиями, чтобы он принял участие в решении реальных и выдуманных проблем: с детьми, с собаками, с врачами, с финансами, с выбором ролей. К тому же постоянное ожидание подарков и знаков внимания. И бесконечные опоздания на деловые встречи и репетиции. Прибавьте к этому сварливые окрики «Ричард! Ричард!», когда ему случалось заговорить с новой знакомой на съемочной площадке. Некоторым казалось, что даже ее бесконечные болезни происходили из подсознательной потребности привлекать его внимание, привязывать, превращать в послушную сиделку.

Т е н о р. Роман Антония и Клеопатры на экране был как бы репетицией, стартовой площадкой романа Ричарда Бартона и Элизабет Тэйлор в жизни. Десять лет спустя они получили возможность отрепетировать свое расставание, снявшись вместе в фильме «Его развод – ее развод». Распад семьи был дан в этой картине сначала глазами мужа, а во второй части – глазами жены.

Оба приняли участие в съемках без большого желания, вели себя на площадке соответственно, и это сказалось на результате. Рецензии на фильм были убийственными. Журнал «Тайм» объявил его «громким сдвоенным крушением», «Голливудский репортер» – «скучным, занудным исследованием разваливающегося союза двух мелковатых персонажей». Даже «Варьете», обычно доброжелательное к Бартону, писало, что от просмотра фильма «зритель может получить столько же радости, сколько от присутствия на вскрытии трупа».

Б а с. Наконец, летом 1973 года Элизабет Тэйлор сделала заявление для прессы, объявив о решении супругов пожить врозь: «Я убеждена, что нам с Ричардом пойдет на пользу расстаться на время. Может быть, мы слишком любили друг друга. Каждый находился под непрерывным взглядом другого, и это привело к временному обрыву взаимопонимания. Всем сердцем верю, что расставание в конечном итоге вернет нас туда, где нам следует быть, – то есть соединит нас опять. Если кому-то покажется, что в происходящем какую-то роль играют порывы сладострастия, это будет означать, что он судит по себе... Пожелайте нам удачи в это трудное для нас время. Молитесь о нас».

Т е н о р. Элизабет Тэйлор не только была по-женски влюблена в Ричарда Бартона. Она находила в нем опору для личного и профессионального самоуважения, потому что он умел за блистательной внешностью и судьбой видеть и ценить в ней настоящему артистичную натуру. В одном письме к ней он писал: «Никогда не забывай о своих редких достоинствах. Не забывай, что под грубоватой словесной пленкой в тебе всегда живет замечательная и пуритански чистая ЛЭДИ. То, что ты так долго терпела рядом скучного обалдуя, как я, говорит лишь о твоей способности быть верной. Буду тосковать о тебе со страстью и сожалением... Мне безразлично, с кем ты найдешь свое счастье, лишь бы он был дружелюбен и добр к тебе. Но если он попробует вносить в жизнь моей бывшей жены страх и горе, я его раздавлю, размажу, сделаю посмешищем, растопчу...»

Б а с. Дальше начинается полоса сближений и расставаний, которой подошло бы название пьесы Гибсона «Двое на качелях». Ричарда видят ухаживающим за Натали Делон (бывшей женой Алена Делона), Софи Лорен проводит уикэнд на его яхте. Элизабет ищет утешения с немецким актером Хелмутом Бергером, с художником Энди Уорхолом, с предпринимателем Генри Вайнбергом. Потом вдруг прилетает к мужу в Италию – встреча в аэропорту, еле оторвались от папарацци, объятия в автомобиле, находят приют на вилле продюсера Карло Понти. Недолгое примирение длится всего девять дней – и снова разрыв. В конце 1973 года Элизабет попадает в больницу в Лос-Анджелесе, переносит тяжелую операцию на яичниках. Ричард летит к ней из Сицилии, через Северный полюс, входит в палату. Опять объятия, поцелуи, слезы. Операционный шов как от прикосновения

волшебной палочки заживает в считанные дни.

Тенор. В одном из писем периода «качелей» Бартон писал: «Во-первых, ты должна понять, что я тебя обожаю. Во-вторых, и пусть это не покажется тавтологией, я тебя люблю. В-третьих, я не могу жить без тебя. В-четвертых, на тебе лежит огромная ответственность, потому что, если ты оставишь меня, я должен буду покончить с собой. Боюсь, без тебя мне жизни нет. И я действительно боюсь. Я в страхе. Потерян. Одинок. Унылый. Оступевший. И, в-пятых, надеясь больше не повторяться, я мечтаю о тебе».

Бас. Но уже весной 1974 года, на съемках фильма «Клансмен», он затеял роман с восемнадцатилетней официанткой. Потом – с замужней женщиной, матерью троих детей, и ее муж явился на съемочную площадку, грозя пристрелить его. Потом – с актрисой Съюзен Страсберг, с которой у него была связь семнадцать лет назад. «Он пил ужасно в эти дни, – вспоминает один из друзей. – Говорил мне со слезами на глазах: “Джанни, зачем я это делаю? Я так люблю эту женщину”». Но у Элизабет больше не было сил выносить все это. Она улетела в Швейцарию и там подала на развод.

Тенор. Весной 1974 года пьянство Бартона достигло такой степени, что врачи оставляли ему две-три недели жизни. Он согласился на лечение и провел в больнице полтора месяца. Вышел исхудавшим, трезвым, с дрожащими руками. Видимо, чувство вины заставило его уступить всем требованиям адвокатов жены. Она получила яхту «Кализма», дом в Мексике, драгоценности на общую сумму семь миллионов долларов, все бесценные картины, покупавшиеся ими в течение десяти лет брака. Их приемная дочь Мария, носившая фамилию Бартон, также оставалась с Элизабет. Единственное, что заботило Ричарда: чтобы все его сестры и братья, кузены и кузины, племянники и племянницы в Уэльсе, общим числом двадцать девять, продолжали получать выделенные им субсидии.

Бас. Но «качели» не остановились и после развода. Через четыре месяца газеты объявили о помолвке Ричарда Бартона с югославской принцессой. Он взял ее с собой в путешествие по Марокко, где люди узнавали его на улицах и называли либо Томас Бекет, либо майор Смит (роль, сыгранная им в фильме «Куда залетают только орлы»). Элизабет, взяв с собой Генри Вайнберга, улетела в Ленинград, сниматься в фильме «Синяя птица». Однако летом 1975 года разведенным супругам нужно было встретиться в Швейцарии, в конторе адвоката, для обсуждения каких-то деталей соглашения. Они нашли друг друга похудевшими, посвежевшими, полными прежнего очарования. И слились в жарком объятии. Был забыт предприниматель Вайнберг, были забыты югославская принцесса и прочие дамы. Вскоре по миру разнеслось, что Дик и Лиз снова влюблены друг в друга.

Тенор. Местом вторичного бракосочетания была выбрана

беднейшая африканская страна Ботсвана. Зато там никто не видел фильмов с участием Бартонов, никто не стал бы выпрашивать у них автографы. Их венчал главный чиновник местного племени Цвана. Бегемоты и носороги бродили неподалеку. Потом появился еще более опасный обитатель тех мест – малярия. Заболевшего Бартона пришлось срочно эвакуировать в Лондон. Рождество вся семья встречала в доме Элизабет в Гстааде.

Б а с. Элизабет давала радостные интервью газетам и журналам. Не знала, бедная, что Ричард, уехавший покататься на лыжах, уже встретил в вагончике канатной дороги очаровательную блондинку, Сьюзен Хант (двадцать девять лет, бывшая модель, ждет развода со знаменитым автогонщиком). Весной 1976 года ему надо было лететь в Америку для участия в спектакле «Эквус». Он пригласил Сьюзен присоединиться к нему, и смелая женщина не побоялась вступить в соперничество с самой Элизабет Тэйлор-Бартон. Пьеса «Его развод – ее развод» снова была разыграна в реальной жизни, и в августе Ричард Бартон и Сьюзен Хант смогли совершить скромную брачную церемонию в городе Арлингтон, штат Вирджиния, под боком у американской столицы.

Т е н о р. Должны ли мы и дальше проследивать шаг за шагом судьбу наших героев, влекомых по извилистому пути Эросом, Бахусом, Мельпоменой? При всем богатстве и разнообразии их жизни в ней, как в роскошном ковре, уже просвечивает повторяющийся узор. Раз за разом они пытаются обрести и любовь, и влюбленность, и раз за разом терпят поражение. Один корреспондент упрекал Элизабет Тэйлор за то, что она так поспешно вышла замуж за своего четвертого мужа после гибели третьего. «А что же мне было делать? – воскликнула Элизабет. – Спать одной?» Имея в качестве зрительного зала весь мир, оба постепенно утрачивали способность проводить разделительную грань между реальной жизнью и ее экранно-сценическими вариациями. Чувство долга перед близким человеком ослабевало, размывалось, произносимые слова и обещания начинали казаться такими же эфемерными, как строчки заученных ролей.

Б а с. По свидетельству многих друзей, третья жена сумела стать Бартону добрым другом и надежной помощницей. Она тактично отвлекала его от собутыльников и помогала оставаться трезвым. Благодаря ее заботам и поддержке он смог успешно выступить в новых ролях. Спектакль «Эквус» встретил теплый прием у критиков и зрителей, а за экранизацию этой пьесы Бартон был седьмой раз номинирован на Оскара (1978). В 1980 году он решил возродить спектакль «Камелот» и двенадцать месяцев с успехом гастролировал по всей Америке. Два года спустя принял участие в телевизионном сериале «Вагнер».

Т е н о р. Щадить себя Бартон не умел. Чудовищные нагрузки, которым он подвергал свой организм, не могли пройти бесследно. «Если он хотел потянуться через стол за мармеладом, – вспоминает один из друзей, – ему приходилось поддерживать правую руку

левой и перегибаться вперед всем корпусом». Страшные боли в шее и позвоночнике потребовали операции, но она не помогла. Восемь раз в неделю ему приходилось выходить на сцену и размахивать мечом, в то время как каждое поднятие руки вызывало страдания. К концу гастролей он потерял 25 фунтов. В октябре 1981 года снова оказался в больнице – теперь из-за открывшейся язвы желудка.

Б а с. Физические немощи приводили Бартона в бешенство, и его ярость обрушивалась на жену. Сузи, как и две ее предшественницы, в какой-то момент не выдержала и решила оставить мужа. Кто же поспешил занять ее место? Конечно, Элизабет! Оставив очередного супруга, она примчалась в Лондон и упала в объятия своего незабвенного. Она была готова выйти за него в третий раз.

Т е н о р. Постепенно ей удалось уговорить его на совместное участие в спектакле по пьесе Ноэла Коварда «Личная жизнь». Он стартовал весной 1983 года в Нью-Йорке и далее проследовал победным шествием через Филадельфию, Вашингтон, Чикаго, Лос-Анджелес. Опять диалоги Бартона и Тэйлор на сцене так близко перекликались с их судьбами, что публика в зале отзывалась на них неуместным хохотом. «Как долго она будет тянуться, эта смехотворная и неодолимая наша любовь? Почему мы должны постоянно ссориться?» – вопрошала Элизабет-Аманда. «Нет, потребность в ссорах утихнет, но вместе с нею увянет и наша страсть», – отвечал Ричард-Элиот.

Б а с. Мы уже говорили о том, что для этой пары разрывы и сближения были необходимым компонентом любовных отношений. Где-то я читал, что в Израиле живут супруги-рекордсмены: они разводились и женились двадцать шесть раз. Все стены их квартиры увешаны брачными свидетельствами в красивых рамках. На закате дней Элизабет утверждала, что любила только Бартона, что в нем была вся ее жизнь. Для Ричарда же потребность влюбляться снова и снова, казалось, была так же неодолима, как потребность соловья снова и снова испускать призывную песню.

Т е н о р. И в начале 1983 года он уже выстукивал на машинке соловьиные трели новой избраннице: «Дорогая Салли, или дражайшая Салли, или любимейшая Салли, или Салли-без-которой-не-могу-жить, или прелестнейшая Салли, особенно когда минимально покрыта одеждой, или умница Салли, или сексуальная Салли, приоденься для меня сегодня и давай посмотрим, что произойдет за этим обедом, потому что я люблю тебя и обожаю – порой до слабости в коленях, порой до испуга, порой до толчков боли».

Б а с. Видимо, обед и последовавшие за ним другие встречи прошли успешно, потому что Ричард Бартон и Салли Хэй вскоре стали неразлучными. Их знакомство произошло в Европе, во время съемок фильма «Вагнер», в котором Салли участвовала в качестве ассистентки режиссера. Она последовала за Бартоном в Америку,

где сопровождала его во время гастролей. Спектакль «Личная жизнь» шел с огромным успехом. Публика была счастлива снова увидеть Дика и Лиз вместе. Но опять жизнь и пьеса непредсказуемо вторгались друг в друга и вносили новые повороты сюжета. Однажды Элизабет заболела, и гастролы пришлось прервать на пять дней. «Делать все равно нечего, – сказал Ричард Салли. – Давай поженимся». Не веря своему счастью, Салли согласилась. Они прилетели в Лас Вегас, сняли номер за тысячу долларов в день и совершили акт бракосочетания без всякой помпы, в присутствии двух близких друзей в качестве свидетелей.

Т е н о р. Элизабет Тэйлор послала новобрачным цветы и поздравления, но ее подлинные чувства начали прорываться на сцене. По ходу пьесы между мужем и женой постоянно происходили стычки, и она старалась вложить в них чрезмерную долю реализма. «В тот год Элизабет была довольно тяжелой дамой, – вспоминала потом Салли. – И с координацией движений у нее не все было в порядке. Она вдруг хватала Ричарда и дергала с полной силой. Или наваливалась всем телом, так что из-за кулис я видела гримасу боли на его лице. В середине спектакля она должна была разбить пластинку о его голову. Хотя пластинка была не настоящая, сделанная из хрупкой крахмальной смеси, она каждый раз ухитрялась оцарапать его, и мне приходилось в уборной вытирать кровь и восстанавливать грим».

Б а с. Физическую боль Бартон умел переносить не хуже, чем его воинственные кельтские предки. Но что выводило его из себя, так это упорная привычка Элизабет опаздывать к началу спектакля. И про ее недомогания он никогда не знал наверняка: всерьез они или чтобы насолить ему, привлечь его внимание. Когда они участились, гастролы пришлось прекратить. Элизабет принимала так много лекарств, запивая их виски, что даже ее постоянный врач отказался обслуживать такую неуправляемую пациентку. Вскоре она снова оказалась в больнице. Диагноз – обострившийся колит. Но, по словам друзей, это был скорее острый приступ жалости и отвращения к самой себе.

Т е н о р. Бартон, наоборот, заметно воспрянул. Близкие к нему люди говорили потом, что многими чертами Салли напоминала им Сибил. Веселая, умная, заботливая, она сумела облегчить даже физические страдания мужа. Под ее влиянием он заинтересовался лечебным эффектом диетического питания, стал покупать книги на эту тему и вести себя по их рекомендациям. Его здоровье заметно улучшилось. Он успешно снялся в роли жестокого следователя О'Брайена в фильме «1984». «Вагнер» принес Бартону миллион долларов, «Личная жизнь» – еще девятьсот тысяч. Весной они с Салли приехали в свой дом под Женевой – окрепшие, загорелые, полные новых планов. Ричард мечтал наконец засесть за автобиографию, но параллельно готовился сниматься в экранизации романа Грэма Грина «Тихий американец».

Б а с. Ничто не предвещало беды в те августовские дни 1984

года. В гости к Бартонам приехал их друг, актер Джон Хёрт. Вечером мужчины отправились в местную пивную, развлечься пивом и футболом по телевизору. Что-то произошло там, о чем Джон Хёрт рассказывал крайне неохотно. Похоже, что Ричард обронил саркастическое замечание в своем стиле. Оно не понравилось кому-то из завсегдатаев пивной. Произошла потасовка, в результате которой Ричард упал и ударился головой об пол. От предложения вызвать «скорую помощь» отказался. На следующий день у него началась сильная головная боль. В больнице врачи обнаружили обширное кровоизлияние в мозг. Вмешательство хирургов не помогло, и Бартон умер на операционном столе. Ему было 58 лет.

Т е н о р. В соответствии с волей покойного, он был похоронен в Швейцарии, на скромном кладбище близ Женевы. Всеми силами Салли старалась избежать шумихи, напльва журналистов, но это удалось лишь частично. Родня из Уэльса, фотографы, корреспонденты, друзья набились в маленькую церковь. Боясь, что присутствие Элизабет Тэйлор увеличит толпу в десять раз, Салли позвонила ей и просила отложить приезд. Та согласилась и приехала посетить могилу на следующий день, без своей обычной свиты.

Б а с. Горестные сожаления и восхваления покойного захлестнули газеты, радио, телевидение всего мира. Журналисты осаждали Элизабет Тэйлор, умоляя откликнуться на смерть Бартона хоть парой фраз. Нет сомнения, что эти два имени будут всегда связаны в памяти людей. Никакой сценарист или драматург не смог бы сочинить ту великолепную трагикомедию, которую Дик и Лиз импровизировали перед глазами миллионов зрителей в течение двадцати лет.

Т е н о р. Поверья древних викингов обещали загробные пиры в Валгале тем, кто смело погиб в бою, и вечный зловонный ад у богини Хель для тех, кто мирно умер в своей постели. Мне хочется верить, что пирующие кельтские вожди дадут место за своим столом Ричарду Бартону – ведь он погиб в схватке с врагами. Однако и историки, описывающие судьбы человечества за обозримые пять тысяч лет, должны воздать ему почести: ведь это его лицо во весь экран будут вспоминать миллионы школьников и студентов, когда дойдут в своих учебниках до имен Александра Великого, Антония, Томаса Бекета, Генриха Восьмого, Рихарда Вагнера, Льва Троцкого, Уинстона Черчилля, Иосифа Броз Тито.

Б а с. В Валгалу мы сегодня не верим. Но прикосновение к смерти неизбежно рождает в каждом из нас смутные мысли о том, как наша тленная оболочка соотносится с вечным истоком бытия. Для Ричарда Бартона эта дилемма воплощалась – освещалась – переживалась наиболее полно в стихах Дилана Томаса. Например, в таких строчках:

*Раскрой мне этот нервный смысл времен,
Смысл диска, воссиявшего рассветом,
Смысл флюгера, что стонет от ветров, –
И снова я творю тебя из пенья
Лужаек, шорохов травы осенней,
Из говорящего в ресницах ветра
Да из вороньих криков и грехов.*

*Особенно когда октябрьский ветер...
И я творю тебя из заклинаний
Осенних паучков, холмов Уэльса,
Где репы желтые ерошат землю,
Из бессердечных слов, пустых страниц –
В химической крови всплывает ярость,
Я берегом морским иду и слышу
Опять невнятное галденье птиц.*



Наталья Зарембская -

родилась в Ленинграде. Долгие годы работала в искусствоведческой секции Государственного экскурсионного бюро. В 1992-м уехала – уже из Санкт-Петербурга – в Бостон. Интерес к искусству привел ее в Музей Изабеллы Гарднер, с которым она связана до сих пор. Участвовала в организации выставки коллекций Петергофа в Лас-Вегасе. Переводила каталог для выставки Фаберже. Во главе компании “Let’s Go! Tours” объездила с

туристами всю Новую Англию. С 2007 года живет на Манхэттене в Нью-Йорке.

Определяя время

*Он – лимонная косточка, брошенная в
расщелину петербургского гранита, и выпьет его
с черным турецким кофеом налетающая ночь.*

Мандельштам «Египетская марка»

В двадцатых годах Сергей Игнатьевич Бернштейн¹ записал Мандельштама, читающего свои стихи. Записи делались на фонографе в Зубовском институте на Исаакиевской площади, где Бернштейн с 1919 года собирал свою фонотеку. Мандельштам читал «Нет, никогда, ничей я не был современник». Это одна из записей, сохранившаяся лучше других.

*Нет, никогда, ничей я не был современник,
Мне не с руки почет такой.
О, как противен мне какой-то соименник,
То был не я, то был другой.*

*Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.*

*Я с веком поднимал болезненные веки –
Два сонных яблока больших,
И мне гремящие рассказывали реки
Ход воспаленных тяжб людских.*

*Сто лет тому назад подушками белела
Складная легкая постель,
И странно вытянулось глиняное тело, –
Кончался века первый хмель.*

*Среди скрипучего похода мирового
Какая легкая кровать!
Ну что же, если нам не выковать другого, –
Давайте с веком вековать.*

*И в жаркой комнате, в кибитке и в палатке
Век умирает, а потом
Два сонных яблока на роговой облатке
Сияют перистым огнем.*

1924

Декларативному отрицанию сиюминутного Мандельштам противопоставляет понимание хода времени в глубинном, почти библейском смысле. Трудно не согласиться. Если и можно говорить об избранности Мандельштама, то он был избран природой стать интуитивным медиумом времени.

В 1909 году, в Гейдельберге ², цитадели академизма, восемнадцатилетний Мандельштам написал этот короткий неловкий стих, своего рода юношеское обещание начать с *tabula rasa* в восприятии мира:

*Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,
И печальна так и хороша
Темная звериная душа:*

*Ничему не хочет научить,
Не умеет вовсе говорить
И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым.*

Декабрь 1909

Мандельштам никогда не был усидчивым студентом, но он всегда искал и находил в формальных науках точки отсчета своим подсознательным догадкам. Что же касается интуиции как фактора познания, то можно представить, с каким чувством слушал Мандельштам лекции Анри Бергсона в Париже годом раньше (1908). Каждое слово мэтра падало на благодатную почву ³.

Интуитивные догадки рождают новое знание, но и возникают они на уровне накопленных знаний. Что было в самом начале – вечный вопрос. Разрывая эту цепь, Мандельштам в раннем стихе говорит, что его интуиция питается мистической субстанцией – исторической памятью, данной поэтам:

*Я не слышал рассказов Оссиана ⁴,
Не пробовал старинного вина;
Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна?*

*И перекличка ворона и арфы
Мне чудится в злобещей тишине,
И ветром развеваемые шарфы
Дружинников мелькают при луне!*

*Я получил блаженное наследство –
Чужих певцов блуждающие сны;
Свое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны.*

*И не одно сокровище, быть может,
Миняя внуков, к правнукам уйдет,
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.*

1914

Свое назначение как приемника и дешифровщика сигналов пространства и времени он осознал рано и был в этом постоянен.

Мандельштам критически относился ко многим ранним стихам, но в стихотворении 1912 года, к которому он вернулся в 1937-м, изменена (не самым удачным образом) всего одна строфа — по мнению поэта, она нарушала космический тон стиха:

*Я вздрагиваю от холода –
Мне хочется онеметь!
А в небе танцует золото –
Приказывает мне петь.*

*Томись, музыкант встревоженный,
Люби, вспоминай и плачь,
И, с тусклой планеты брошенный,
Подхватывай легкий мяч!*

*Так вот она – настоящая
С таинственным миром связь!
Какая тоска щемящая,
Какая беда стряслась!*

*Что, если, над модной лавкою,
Мерцающая всегда,
Мне в сердце длинной булавкою
Опустится вдруг звезда? ⁵*

1912

Еще более отчетливо мысль о поэте как медиуме, извлекающем образ из хаоса или звук из шума, прозвучала вот в этом стихе:

*И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьей гаме,
И Гете, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.*

*Быть может, прежде губ уже родился шепот
И в бездревесности кружились листья,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.*

1933

Это из цикла «Восьмистишия» конца 33-го года. А вот более позднее, почти финальное, — о том, как это происходит, о процессе рождения образа. Трагический окрас этих строк к раскрытию темы мало что прибавляет. Но с этим ничего не поделаешь — оно написано в 1937-м:

*Дрожжи мира дорогие:
Звуки, слезы и труды –
Ударенья дождевые
Закипающей беды
И потери звуковые –
Из какой вернуть руды?*

*В нищей памяти впервые
Чуешь вмятины слепые,
Медной полные воды, –
И идешь за ними следом,
Сам себе немил, неведом –
И слепой, и поводырь...*

Мандельштам воспринимал мир синтетически, в соединенности его отдаленных частей. Сверстник Мандельштама, в будущем академик, Виктор Жирмунский ⁶ писал в 1921 году: «Мандельштам любил соединять в форме метафоры или сравнения самые отдаленные друг от друга ряды понятий». Юрий Тынянов ⁷ ему вторит («Промежуток», 1924): «...Эти странные смыслы оправданы ходом всего стихотворения, ходом от оттенка к оттенку, приводящим в конце концов к новому смыслу. Здесь главный пункт работы Мандельштама – создание особых смыслов. Его значения – кажущиеся, значения косвенные, которые могут возникать только в стихе, которые становятся обязательными только через стих».

Пожалуй, первым по времени таким неожиданным смыслом, найденным в современном событии, была Мандельштамовская «Европа», написанная в связи с началом Первой мировой войны. Маяковский откликнулся на «августовские пушки»⁸ драматической предельно-конкретной риторикой:

*«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
И на площадь, мрачно очерченную чернью,
Багровой крови пролилась струя! ...*

1914

Совсем иначе воспринял это событие Мандельштам, глядящий на карту Европы отстраненно, с высоты птичьего полета, подобно Лермонтовскому Демону:

*Как средиземный краб или звезда морская,
Был выброшен последний материк.
К широкой Азии, к Америке привык,
Слабеет океан, Европу омывая.*

*Изрезаны ее живые берега,
И полуостровов воздушны изваянья;
Немного женственны заливы очертанья:
Бискайи, Генуи ленивая дуга.*

*Завоевателей исконная земля –
Европа в рубище Священного Союза –
Пята Испании, Италии Медуза
И Польша нежная, где нету короля.*

*Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних⁹, –
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!*

Сентябрь 1914

Более сиюминутными были отклики Мандельштама на февральскую и октябрьскую революции. Эти стихи позитивны и полны гражданского пыла. Способы обличения эпохи средствами высокой поэзии ему еще предстояло изобрести и освоить. Пока что больше ему удастся эпический, философский тон, как ранее в «Европе». Мало кто сказал лучше о великом перевороте и о тех, кто ужаснулся, но сохранил надежду:

*Прославим, братья, сумерки свободы,
Великий сумеречный год!
В кипящие ночные воды
Опущен грузный лес тенёт.
Восходишь ты в глухие годы,
О, солнце, судия, народ!*

*Прославим роковое время,
Которое в слезах народный вождь берет.
Прославим власти сумрачное время,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть, тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.*

*Мы в легионы боевые
Связали ласточек, – и вот
Не видно солнца, вся стихия
Щебечет, движется, живет.
Сквозь сети – сумерки густые –
Не видно солнца и земля плывет.*

*Ну, что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи,
Как плугом, океан деля.
Мы будем помнить и в летеиской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.*

Май 1918

Поворот руля происходит и в поэзии Мандельштама. В ответ на расстрел Гумилева он пишет чудесные стихи, которые звучат как стихи нового времени:

*Умывался ночью на дворе.
Твердь сияла грубыми звездами.
Звездный луч – как соль на топоре.
Стынет бочка с полными краями.*

...

*Тает в бочке, словно соль, звезда,
И вода студёная чернее.
Чище смерть, солёнее беда,
И земля правдивей и страшнее.*

1921

Эти строки могут быть истолкованы и как признание правоты «исторического процесса», и как призыв к самому себе снять розовые очки и проститься с революционным идеализмом.

Пожалуй, второе толкование все же вернее, если вспомнить «Концерт на вокзале», предваряющий написание «Шума времени». Замечу, что вокзал в Павловске, о котором идет речь, это первая в России железнодорожная станция, которая была названа вокзалом¹⁰. Именно потому, что с пушкинских времен и до начала 1900-х станция оставалась вокзалом – местом гуляний и концертов.

Пушкин еще в лицейском стихе 1813 года «К Наталье» писал:

*Пролетело счастья время,
Как, любви не зная бремя,
Я живал да попевал,
Как в театре и на балах,
На гуляньях иль в воксалах
Легким зефиром летал...*

О, эта пушкинская легкость! А вот – Мандельштам. Контраст трагикомичен:

*Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит,
Но, видит бог, есть музыка над нами, –
Дрожит вокзал от пенья аонид¹¹,
И снова, паровозными свистками
Разорванный, скрипичный воздух слит.*

*Огромный парк. Вокзала шар стеклянный.
Железный мир опять заморожен.
На звучный пир в элизиум¹² туманный
Торжественно уносится вагон.
Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это сон.*

*И я вхожу в стеклянный лес вокзала,
Скрипичный строй в смятеньи и слезах.
Ночного хора дикое начало
И запах роз в гниющих парниках,
Где под стеклянным небом ночевала
Родная тень в кочующих толпах.*

*И мнится мне: весь в музыке и пене
Железный мир так нищенски дрожит.
В стеклянные я упираюсь сени.
Горячий пар зрачки смычков слепит.
Куда же ты? На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит*

1921

В годы НЭПа Мандельштам не пишет стихов. Этот период, в который уложились почти вся жизнь и борьба обэриутов, где-то с 1924-го и по 1930 год, для Мандельштама-поэта обернулся пятилетним молчанием. Он писал прозу — «Шум времени», «Феодосию», «Египетскую марку», переводил, пытался понять свое место в «советском литературном процессе», который в эти годы отвстал на ноги. В результате выработал к нему глубокое отвращение и осознал свою с ним несовместимость. Требовался только повод, чтобы этот нарыв прорвался.

Началось, как известно, с литературного скандала 1928 года по поводу перевода «Гиля Уленшпигеля»¹³. Этот сам по себе рядовой литературный скандал был использован сторонами для выражения крайней взаимной нелюбви и идеологической неприязни. Мандельштам сжег мосты, написав «Четвертую прозу», и к нему наконец вернулся поэтический голос.

И этот, третий Мандельштам — уже единственный в своем роде, несравнимый и несравненный. Его поэтический язык приобрел не имеющую параллелей свободу, прямоту и «вневременную современность». Этим оксюмороном¹⁴ я хочу выразить мысль, что время идет (80 лет прошло), а стихи Мандельштама этого периода действуют на сознание с абсолютной непосредственностью и силой.

Не могу удержаться от короткого списка стихов, написанных в 1930 — 31 годах:

«Куда как страшно нам с тобой, / Товарищ большеротый мой!»
 «Не говори никому, / Все, что ты видел, забудь — / Птицу, старуху,
 тюрьму / Или еще что-нибудь»
 «Я вернулся в мой город, знакомый до слез, / До прожилок, до
 детских припухлых желез»
 «Мы с тобой на кухне посидим, / Сладко пахнет белый керосин»
 «За гремучую доблесть грядущих веков, / За высокое племя людей»

Интересно, что из его библиотеки в это время почти уходят поэты-современники. Читает он Державина, Фета, Полонского, Баратынского.

*Дайте Тютчеву стрекозу —
 Догадайтесь, почему.
 Веневитинову — розу,
 Ну а перстень — никому.*

*Баратынского подошвы
 Раздражают прах веков.
 У него без всякой прошвы
 Наволочки облаков.*

*А еще над нами волен
 Лермонтов — мучитель наш,
 И всегда одышкой болен
 Фета жирный карандаш.*

Упражнение в расшифровке каждой строки этого стихотворения можно, например, найти в статье Евгения Сошкина, которая занимает 14 страниц. Это пример вивисекции Манделъштама, чем занимаются многие Манделъштамоведы. Все-таки разбор этого стиха безобиден. В конце концов сам Манделъштам приглашает: «Догадайтесь, почему».

Другими жителями его книжных полок стали в эти годы итальянцы – Данте (интересно, что Манделъштам предпочитал прозаический перевод, в частности Горбова, – перевод «Чистилища», 1910 года), Ариост¹⁵. Ариоста он привлекает, чтобы на фоне буколической картины средневековой Италии произнести одну из своих застревающих в памяти фундаментальных формулировок:

*Во всей Италии приятнейший, умнейший,
Любезный Ариост немножечко охрип.
Он наслаждается перечисленьем рыб
И перчит все моря нелепицею злейшей.*

*В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея,
А он вельможится все лучше, все хитрее
И улыбается в крылатое окно –*

*Язенку на горе, монаху на осяти,
Солдатам герцога, юродивым слегка
От винопития, чумы и чеснока,
И в сетке синих мух уснувшему дитяти.*

*А я люблю его неистовый досуг –
Язык бессмысленный, язык солоно-сладкий
И звуков стакнутых прелестные двойчатки...
Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг.*

*Любезный Ариост, быть может, век пройдет –
В одно широкое и братское лазорье
Сольем твою лазурь и наше черноморье.
...И мы бывали там. И мы там пили мед...*

4 – 6 мая 1933

Пока мы в Италии, не могу не вспомнить другое стихотворение, просто потому, что оно любимое, хотя потрудившись, и его можно пристегнуть к теме.

Новеллино¹⁶

*Вы помните, как бегуны
У Данта Алигьери
Соревновались в честь весны
В своей зеленой вере.*

*По темнobarхатным холмам
В сафьяновых сапожках
Они пестрели по лугам,
Как маки на дорожках.*

*Уж эти мне говоруны —
Бродяги-флорентийцы,
Отъявленные все лгуны,
Наемные убийцы.*

*Они под звон колоколов
Молились Богу спяну,
Они дарили соколов
Турецкому султану.*

*Увы, растаяла свеча
Молодчиков калёных,
Что хаживали вполлеча
В камзольчиках зеленых,*

*Что пересиливали срам
И чумную заразу
И всевозможным господам
Прислуживали сразу.*

*И нет рассказчика для жен
В порочных длинных платьях,
Что проводили дни, как сон,
В пленительных занятиях:*

*Топили воск, мотали шелк,
Учили попугаев
И в спальню, видя в этом толк,
Пускали негодяев.*

22 мая 1932

Трудно поверить, что в этот же год основным занятием Мандельштама были хлопоты о получении хоть какого-либо жилья. Наконец долгожданная квартира стараниями Бухарина получена ¹⁷. Какова реакция? Вместо благодарности — упражнение на тему власти, которая покупает художника. Дано в приземленно-бытовом ритме городского романса. Это его знаменитая «Квартира». В этом стихотворении и в ряде других Мандельштам определяет словарь и тон всей российской литературы протеста 20-го века:

*Квартира тиха, как бумага —
Пустая, без всяких затей, —
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей.*

*А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
И я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть.*

*Наглей комсомольской ячейки
И вузовской песни бойчей,
Присевших на школьной скамейке
Учить щебетать палачей...*

*Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель,
Достоин такого рожна.*

*Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю
И грозное баюшки-баю
Колхозному баю пою.*

*И вместо ключа Ипокрены¹⁸
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья...*

Ноябрь 1933

30-м годам принадлежит и знаменитое «Мы живем, под собою не чуя страны». У серьезных критиков есть тенденция говорить об этом стихе с извинительной интонацией. Мол, это лубок или частушка, полная персональной ненависти. В общем, не добавляет лавров поэту. Я все-таки скажу, что это гениальный лубок. Уникальный в истории русской поэзии. Не уступающий в резкости потоку современных ему газетных шельмований и при этом выбравший достойную цель.

Приводить я его не буду – его все хорошо знают. Приведу хороший стих Евтушенко – с перебором по части риторического пафоса, но верный по фактам:

*...Не Маяковский с парходным рыком,
не Пастернак в кокетливо-великом
камлание соловья из Соловков,
а Мандельштам с таким ребячьим взбрыком,
в смешном бесстрашии, петушино диком,
узнав рябого урку по уликам,
на морду, притворившуюся ликом,
клеймо поставил на века веков...*

Мандельштам остался в довоенной России жертвой великого террора. Можно только гадать, что написал бы он, живи он дольше, как его одноклассник и соученик по Тенишевскому училищу академик Жирмунский, умерший в 1971 году. Не могу не вспомнить – с некоторым внутренним изумлением, – что и я училась в здании Тенишевского училища (192-я школа на Моховой в советское время), а мой муж был знаком с дочкой Жирмунского Алей. Мандельштам мог бы быть живущим поэтом для меня в пору, когда человек более всего восприимчив к поэзии.

Вершиной творчества Мандельштама остались «Стихи о неизвестном солдате», написанные им незадолго до гибели. Они открывали новый этап, которому не довелось реализоваться. Сам Мандельштам с некоторым смущением говорил, что получается черт-те что, какая-то оратория. Он же называл стихотворение колбасой, имея в виду его незавершенность, неотработанность ритма и структуры. Дважды или трижды посылались варианты в

редакцию «Знамени». Единственный отклик был: «Что, мол, войны бывают справедливые и несправедливые и что пацифизм сам по себе не достоин одобрения».

В наши дни, как писал академик М.Л.Гаспаров, о «Солдате» написано так много, что внутри мандельштамоведения уже выделилась отдельная отрасль – «солдатоведение». Омри Ронен определил, что в «Солдате» Манделъштам вдохновился Фламарионом, поэт Дмитрий Каратеев – что Случевским¹⁹, а Гаспаров доказал, что «сверхзадачей» Манделъштама в «Солдате» было выразить желание встать в ряды советских литераторов²⁰. (По поводу последнего вывода вывода хотелось бы сказать, что, может, Манделъштам и хотел как лучше, но получилось как всегда.)

Эта поэма – сумбурная и захватывающая. С ораторией ее роднит чувство, которое охватывает при звуках мощного хора, когда всех слов не разобрать. Меняются ритм и размер и точка отсчета. Поразительные по силе строфы соседствуют с варварскими, нарушающими нормативный язык. Все вместе производит сильнейшее впечатление. Отбросив анализ, хочется воспринимать эти стихи интуитивно, на слух – так, как они рождались:

*...Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами –
Растяжимых созвездий шатры,
Золотые созвездий жиры...²¹*

Трудно удержаться и не процитировать последние, итоговые строфы:

*...Наливаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком:
– Я рожден в девяносто четвертом,
– Я рожден в девяносто втором... –
И в кулак зажимая истертый
Год рожденья – с гурьбой и гуртом
Я шепчу обескровленным ртом:
– Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году – и столетья
Окружают меня огнем.*

Хочу завершить эти записки словами Владимира Набокова из интервью для 13-го Нью-Йоркского канала в 1965 году:

«...И когда я читаю стихи Манделъштама, написанные при проклятом правлении этих зверей, я испытываю подобие беспомощного стыда за то, что я волен жить, думать, писать и говорить в свободной части мира... Вот те единственные минуты, в которые свобода становится горькой».

¹ С.И.Бернштейн, 1892–1970, филолог, историк искусства. Записи восстановлены впервые на пластинке 1978 года «Голоса, зазвучавшие

вновь». Переизданы на CD в конце 90-х годов. Всего восстановлено около 10 стихов, таких как «Я по лестнице приставной», «Цыганка», «Я буду метаться по табору улицы темной». Их все можно прослушать на сайте Государственного Литературного Музея.

² Гейдельберг — город на юго-западе Германии, в графстве Баден-Вюртемберг. Университет Гейдельберга основан в 1386 году. О.М. учился в Гейдельберге два семестра (1909—1910; Старофранцузская литература и искусство Возрождения).

³ Анри-Луи Бергсон, 1859—1941, крупнейший французский философ. Польско/ирландско/английский еврей. Учил, что интуиция более ценна для постижения реальности, чем рационализм и наука. Нобелевский лауреат (1927).

⁴ Оссиан — легендарный кельтский бард III века, от лица которого написаны поэмы Джеймса Макферсона (1736—1796) и его подражателей.

⁵ Вариант 1937 года: «...Что, если, вздрогнув неправильно, \Мерцающая всегда, \Своей булавкой заржавленной\Достанет меня звезда?»

⁶ Виктор Максимович Жирмунский (1891—1971), лингвист и литературовед, академик; труды по истории немецкой и английской литературы, тюркологии, теории эпоса.

⁷ Юрий Николаевич (Насонович) Тынянов (1894—1943), русский советский писатель, драматург, литературовед и критик. Троюродный брат Жирмунского.

⁸ «*The Guns of August*» — название романа 1962 года американки Барбары Такмен (*Barbara Tuchman*, 1912-1989), посвященного истории Первой мировой войны.

⁹ Клемент Венцель Лотар фон Меттерних (1773—1859), австрийский дипломат из рода Меттернихов, министр иностранных дел в 1809—1848 годах, главный организатор Венского конгресса 1815 года. Руководил политическим переустройством Европы после Наполеоновских войн.

¹⁰ Вокзал — искаженное *Vauxhall*, район в центре Лондона. В его пределах — железнодорожная станция с тем же названием.

¹¹ Аониды — название муз искусства в древнегреческой мифологии, которые обитали в Аонии (Беотии) и происходили от беотийского царя Аона.

¹² Элизий (латинизированная форма др.-греч.) — Елисейские поля. В древнегреческой мифологии часть подземного царства, обитель душ блаженных.

¹³ В 1928 году Мандельштам отредактировал и свел воедино два перевода «Тия Уленшпигеля»: Аркадия Георгиевича Горнфельда (1867—1941), перевод 1919, 1920, 1925 (переиздания) и Василия Никитовича Карякина (1878—1938), перевод 1919г. На титуле Мандельштам был указан по ошибке как переводчик. Горнфельд и Карякин о выходе книги узнали задним числом. Денег им за это издание не заплатили. О.М. был обвинен в плагиате. За это он назвал Горнфельда в «Четвертой прозе» «паралитическим Дантесом».

¹⁴ Оксюморон — «умная глупость» (греч.), сочетание слов с противоположным значением.

¹⁵ Лудовико Ариосто (1474—1533, Феррара) — итальянский поэт и драматург эпохи Возрождения. Наиболее знаменитое сочинение Ариосто — поэма «Неистовый Роланд» («Неистовый Орландо»). Ариосто работал над ней 25 лет (1507—1532). Сюжет «Неистового Роланда» заимствован из каролингского эпоса о рыцарях Круглого стола.

¹⁶ «Новеллино» – сборник коротких рассказов исторического, отчасти анекдотичного содержания, появившийся не ранее 1281 года. Название «Новеллино» сборнику было дано в миланском издании 1836 года.

¹⁷ Квартира из двух комнат была в Москве, в писательском доме в Нащокинском переулке. «Дом был одним из первых кооперативных, и кандидатуру каждого жильца обсуждали сами писатели», – вспоминала Эмма Герштейн.

¹⁸ Ключ Ипокрены – чудесный источник на горе Геликон, о котором рассказывается в греческих мифах, появившийся в том месте, где крылатый конь Пегас ударил копытом о землю. Пившие воду из этого источника получали дар поэтического вдохновения и начинали говорить стихами.

¹⁹ Константин Случевский (1837 – 1904), поэма «Коллежские ассессоры».

²⁰ В качестве источников вдохновения предлагались также: Эйнштейн, Хлебников, сатира Байрона «Видение ада», Н. Федоров с его проектом воскрешения мертвых техническими способами, оккультист Гурджиев с его космическими фантазиями.

²¹ По мнению российского литературоведа О. Лекманова, возможно, восходит к фрагменту обращения Моисея к евреям: «Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской и с полей Гоморрских; ягоды их – ягоды ядовитые, грозди их горькие».



Петр Ильинский – прозаик, поэт, эссеист. Родился в 1965 году в Ленинграде, выпускник МГУ, научный работник, в 1991 – 1998 и 2001 – 2003 годах – сотрудник Гарвардского университета. Книги: «Перемены цвета» (Эдинбург, 2001), «Резьба по камню» (СПб., 2002), «Долгий миг рождения. Опыт размышления о древнерусской истории VIII-X вв.» (М., 2004) и «Легенда о Вавилоне» (СПб., 2007). Статьи и рассказы публиковались в российской и зарубежной периодике («Отечественные записки», «Время и место», «Русский журнал», «Зарубежные записки», «Северная Аврора»). Живет в Кембридже (США), работает по специальности в частном секторе, преподает в Бостонском университете.

Век просвещения

Трехчастное повествование о самом лучшем столетии
(фрагмент)

Пролог

Приговоренных к смерти было двое, они стояли в тесном кругу солдат и ждали своего часа. Один, изможденный калека, вместо левой ноги опирался на грязную, суковатую деревяшку. Был он бледен, космат, с гноящимися, воспаленными, но жгуче-злыми глазами, одет в дряхлое, подпоясанное веревкой рубище. Несмотря на скрученные за спиной руки, одноногий держался прямо, поминутно дергался и даже задира л караульных. Тем же, по-видимому, был дан приказ довести калеку до плахи живым и стоячим, поэтому в ответ на его жалкие прыжки они только сжимали беднягу прикладами до предпоследнего вздоха, а потом отпускали, чтобы через минуту-другую он снова принялся за свое. Впрочем, мучиться караульным оставалось недолго.

Вторым смертником был русоволосый юноша, почти мальчик. Правая часть его лица была обезображена многоцветным кровоподтеком, и он все время норовил повернуться к толпе боком, словно стеснясь. Но тут же снова растерянно оглядывался и застывал, глядя на виселичные бревна, сложенные неподалеку. Руки у него оставались свободными, и он безостановочно крестился, едва шевеля сухими узкими губами. Согласно только что зачитанному высочайшему указу, основная масса осужденных – несколько десятков – была помилована: смерть заменялась наказанием кнутом. Счет назначенных ударов шел на десятки – значит, выживут почти все.

Люди на площади дружно прокричали «ура!», кинули вверх промасленные картузы и, жадно толкаясь, расположились вокруг помоста для бичевания. Лежака было три – по разные стороны плахи, чтобы избежать обычной в таких случаях давки. Рядом с

каждым стояли кадки с водой, из которых готовно высывались рукоятки охочих до работы длинников.

Прозвучала хриплая команда, ударили барабаны, и подручные палача скопом набросились на тех, кто стоял поближе, не сумев забраться вглубь жалкой, смердящей кучки преступников. Осужденные упирались, кричали, умоляли погодить, им разводили руки, резко били в живот или в зубы, бросали навзничь, привязывали к лежанкам, кнутобойцы делали шаг назад и звучно размахивались...

Ближе к полудню в толпе начали снова разносчики – торговля шла бойко: и семечками, и сушеными яблочками. Зрители поначалу одобрительно свистели и улюлюкали и отвечали на вопли нестройным эхом, но скоро утомились, и, дружно жуя и отплеываясь, стали откровенно ждать самого главного. Постепенно над площадью повисло молчание. Пахло мясом и нечистотами. Казалось, палачи желали угодить заскучавшей толпе – кнуты стали вздыматься все ниже и ниже, а удары никто толком не отсчитывал. Было заметно, что последние преступники смогли сами подняться с помоста и до самого конца кричали громче положенного. Легонько понукая шттыками, их заставили присоединиться к остальным, менее счастливым сотоварищам по несчастью, многие из которых недвижно лежали ничком на грязном тряпье с напрочь разодранными спинами.

Струи воды окатили плаху, ей дали немного просохнуть, и плотники споро застучали топорами. Солнце уже начало садиться, когда по толпе прошло какое-то движение. «Раз, два – взяли!» – небольшая крепкая виселица, сработанная как по заказу, уверенно встала в самом центре помоста, равно видная отовсюду – даже с самого дальнего края широкой площади. Снова забили барабаны. Усердный глашатай опять попытался прокричать приговор. «За предерзостное... смертоубийство... злостный разбой... богохульное деяние... И сверх того, поношение и оскорбление... Смертной казнью...» Солдаты подтолкнули обреченных. Мальчик пошел сам, а калеку пришлось подколоть шттыком, в этот раз уже по-настоящему. Он рванулся в сторону, но не тут-то было – в руках начальника караула оказалась хорошо заметная на фоне близившегося заката веревка, и одноногий, едва не падая, странными скачками двинулся за ним. Взойдя на плаху, он, кажется, смирился со своей участью и не протестовал, когда ему надевали на шею петлю. И вдруг взвыл, взвился звериной прытью, заорал на всю площадь что-то ужасное, непонятное, и захлебнулся, когда расторопный ефрейтор умело засадил ему прикладом в самую оконечность тулова.

Мальчик стоял на скамье, вытянувшись как по струнке; он с готовностью продел шею в веревку и поцеловал поднесенный крест. Толпа его, видимо, жалела, да и пребывала в более добром настроении, не то что утром, когда радостно приветствовала

объявление о казни, которую заслужили все пойманные и избитые бунтовщики. «Ах, – раздавалось то и дело, – каков, скажи, жребий. Не по правде, ребята, ему помирать, не за свои грехи». Тут изнывавший от боли калека остушился и, по-обезьяньи дернув ногой, повалил набок смертную скамью. Палачи посмотрели на офицера-распорядителя – он недовольно махнул рукой, тогда они ловко скакнули, схватили приступку и окончательно отволокли ее в сторону. Одноногий тяжело обвис в петле, только плечи слегка дрогнули и расправились, чтобы сразу опуститься и застыть. В противоположность ему, юноша схватился за шею и стал изо всех сил раздирать затянувшуюся на ней веревку. Ноги его дергались во все стороны, задирались, из-под штанин обильно потекла жидкость. «Ай, срам!» – внятно сказал кто-то из глубины толпы. Ни один из зрителей не двинулся с места. Площадь околела и внимательно наблюдала за действием. Казалось, никто не решался громко дышать или, тем более, сплюнуть налипшую на губах шелуху.

Калека не доставил зрителям никакого удовольствия – скончался мгновенно, почти без агонии. Мальчик же мучился не меньше десяти минут: подтягивался на веревке, срывался, корчился, хрипел, глаза его выкатывались, тело выгибалось. Офицер отвернулся и, постукивая ногами по сапогу, ходил по краю помоста, иногда поглядывая на солнце. Палачи смотрели на умирающего юношу с видимым интересом.

Наконец он сорвался в последний раз и начал затихать. Еще несколько подергиваний, потом у него крупно задрожали пальцы на обеих руках, и все кончилось. Палачи тут же вскочили на козлы и начали снимать трупы с веревок. Снова грянули барабаны, и помилованных преступников повлекли в острог. Одни могли идти сами, другим повезло меньше.

Толпа стала понемногу расходиться – многие знали, что ввечеру на торговой площади, той самой, что на полдороге к южной заставе, накроют столы и выкатят бочки. Оставаться без угощения никто не хотел. Дарового дадут, и вволю, только успеть надо и зевать не след. Оттого сам собою прибавлялся шаг, сбивались в кучки старинные знакомцы, а то и шапочные – локтями сцепимся, плечи сдвинем и своего не упустим. Вместе толкаться сподручнее, а то ведь и затоптать могут. Да и оголодал народ за последние месяцы-то, тут надобно глядеть в оба.

Казалось, за версту разносится запах снеди, дышит по ветру, выбив затычки, сладкая брага. Кто-то утверждал, что будут даже медяки кидать горстями честному народу христианскому, по всем четырем углам, прямо из мешков казначейских, в размах пышным веером. Ему не верили, и правильно делали. Не сподобное нынче время и не гораздо важная оказия. Наш брат не дурак, знает, что такое лишь по большим праздникам бывает или после громких побед батальных над злохитрым супостатом. Так что ври, ври, пёсья башка, да не завираться.

Повесть первая

Несколько неровных холмов на самом берегу полноводной реки

1

Я отношусь к тем редким счастливым, которые могли воочию узреть удивительные и грозные события, что в минувшие десятилетия настигли самым окоём Европы, ее плавный, уходящий за горизонт и никем не преодоленный край. Ледяная пустыня – отнюдь, *terra incognita* – тоже неверно. Россия бездонна, но это не значит, что ее нельзя познать. Я там был, я там жил, я готов свидетельствовать.

Впервые я повстречался с русскими более тридцати лет назад и после этого провел в их стране не один десяток весен. Поэтому имею право сказать: нет нации, о которой бы обитатели просвещенных стран были так плохо осведомлены. Оправданием этому может служить лишь то, что русские тоже еще себя не знают – они едва двинулись по дороге самопознания, только начали узнавать мир и определять свое место в нем. Так и тянет сравнить их с народами, судьба которых нам хорошо известна, прикинуть, сколь долгий путь предстоит не вышедшей из отчуждения северной империи и сколь сложный. Но удержусь: вспомню сегодняшний день и признаю, что любые пророчества тщетны. Неужели зритель может снисходительно вложить реплики в уста актеров еще не написанной пьесы? И всего лишь вчера разве ведали мы, упоенные гордыней, просвещенные и умудренные, что за напасть придет на наши собственные земли?

Найдется совсем немного европейцев, тем более моих соотечественников, знающих Россию столь близко, как я, не побоюсь избитого слова, – изнутри. Рискни, читатель, попробуй окунуться в мою повесть – ведь, изучая другого, ты обязательно познаешь себя. Я видел русских в битве и бунте, торжестве и скорби – я был рядом, я соучаствовал. Я был иностранцем, но не посторонним. Я жил их жизнью и чуть было не умер смертью, которой были унесены их многие тысячи.

Иные могут задаться вопросом, почему сейчас, когда нас окружают невиданные и неслыханные бедствия, мне пришлось в голову рассказать о событиях давних, увядших в памяти редких уже стариков? К тому же произошли они в землях, о которых мои сограждане имеют смутное и, как правило, ложное представление. Что на это ответить? Теряюсь. У меня нет логичного объяснения своему упорному порыву. Отчего я взялся за этот труд и изо всех сил пытаюсь довести его до конца? Какого доказательства я алчу столь упорно, какого наказания страшусь, проводя вечера за конторкой при блеклом свете дурных свечей? Кто водит моим пером – ангел или бес? Что питает мою чернильницу – блаженство вдохновения или прихоть соблазна?

Способны ли кого-то заинтересовать излишне подробные записки человека без особых достоинств – теперь, когда мир не устает сотрясаться от карающей десницы Сильного, и катится, катится по крутому склону, раздавливая сотни и тысячи, равно сметая в кровавую грязь великих и малых, падших и невинных? Не знаю. Если честно, мне трудно представить читателя этой книги, тем более покупателя. Да и сам я ныне вряд ли готов отдать хотя бы грош за образы чужой памяти, сентенции не первой свежести, за скрупулезное сообщение об исчезнувшем прошлом. Таких книг в хорошие годы выходили десятки и сотни, даже в провинции. Их раздавали знакомым и родственникам, в лучшем случае два-три экземпляра добредали до библиотек – самых больших и самых пустых. Сему же труду, наверно, не суждено даже этого...

Остановлюсь, ведь это предисловие – сплошное лукавство. Во все стороны из него выпирает нескрываемое тщеславие, присущее любому сочинителю. Конечно же, я способен дать сразу несколько ответов на вопрос: «Зачем, сударь?» – но, если позволите, приберегу их на потом. Удовлетворитесь самым простым соображением: мне хочется вспомнить свою молодость, те дела и битвы, в которых мне довелось участвовать, тайны, к которым выпало прикоснуться моим пальцам и глазам.

И напоследок: я тщу надеждой, что когда прекратится нынешняя вакханалия, у оставшихся в живых и тех, кто им будет наследовать, прибавится смирения и мудрости. Пусть они обратят сделанное нами в прах, пусть громогласно проклянут грешных предков – лишь бы не забыли ничего, не прельстились теми же демонами! Иначе эта ненасытная гекатомба – здесь меня охватывает особенная горечь – еще и напрасна. Скажу честно, я не в силах отказаться от упования на грядущую справедливость, на воздаяние, на возмездие и суровую благодать. Я надеюсь, что потомки выучат на зубок наши преступления, что ужаснутся зверствам алчных отцов и подлостям слабых дедов. Тогда, возможно, они станут другими и будут с большим вниманием смотреть на самих себя и на окружающий мир, слушать ближних, внимать соседям, оглядываться по сторонам и наконец-то перестанут упиваться своим мнимым первенством.

Не здесь ли ядовитый корень наших напастей – в гордыне, трубящей о превосходстве трех-четырех народов над остальными? В само собою ясном разумении, что миром правят несколько держав – одни цивилизованные, а другие дикие, – и суть верчения истории и политического движения сфер в неминуемой победе первых над вторыми. Поскольку те, верша чужую судьбу, действуют по высшей правде, а эти – по извращенной похоти, одни всегда благи, другие – неуклонно порочны.

Теперь, если вы не бросили мою книгу, задержитесь еще на мгновение. И я успею сказать, что ни одна страна – а я их видел немало – не представляется мне достойной, и в первую очередь – моя собственная. Нет, я ее не прокляну, но и не похвалю. Слепая

страсть не по мне, особенно в нынешнем возрасте. Я не преклонюсь перед родиной, какие бы обличья она ни принимала, но люблю ее, даже сейчас, когда ее трудно, почти невозможно узнать.

Итак, я буду рассказывать о своей молодости. Причина тому самая обыкновенная. Я не сделал карьеры, скорее наоборот, поэтому мои зрелые годы, за одним важным исключением, интереса не представляют. Тянул лямку, заботился о семье, когда она у меня была, думал о будущем, копил деньги на старость, искал удобства, даже покоя. Не то – на заре моего вхождения в мир. Я был легче на подъем, привыкал к любым оборотам фортуны и не боялся перемен. Делал глупости? Да, но это и прекрасно! Смешон старик без царя в голове, но еще более жалок сдержанный в порывах юноша. Пока у вас есть силы, не торопитесь отдыхать, спешите действовать. Беззаботность – вот мать настоящих свершений, их никогда не осилит человек со скучной душой, обремененный повседневными тяготами. Слушайте своих желаний, внимайте сердцу – и вам не придется ни о чем жалеть. Тогда я не знал этого девиза, но жил по нему. К тому же мне повезло. Или... Нет, скорее, все-таки повезло.

Да, меня зовут очень просто, проще не придумаешь. И действительно, имя, которое вы, возможно, видите на обложке этой скромной книжицы, – мое. Я не скрываю титула или герба – у нашей семьи никогда не было ни того, ни другого, она веками жила без гордости и стыда. Я дам издателю свой адрес, и если вы захотите убедиться в истинности моего рассказа, в том, что я на самом деле существую, а не придуман досужим писакой, – милости прошу. Мне незначительно и не от кого таиться. По профессии я лекарь – нет, к сожалению, не врач, а только лекарь. Или, быть может, к счастью? Ведь именно из-за этого недостатка в образовании мне всю жизнь удавалось оставаться свидетелем, не становясь действующим лицом. Да, конечно, сейчас я в полной отставке. Иначе откуда бы взять столько времени для сочинительства?

Теперь, совсем кратко – о самом себе. Не ждите на этих страницах моей биографии – она была бы интересна немногим. Я вырос в небольшом городе, почти деревне, на востоке Лотарингии, на самой границе земель королевских и герцогских, и хотя родной мой язык – французский, пусть не самой лучшей закваски, но по-немецки я тоже говорил с детства. Однако никогда не изучал его толком, с грамматикой в руках, поэтому многие мои словесные обороты не раз приводили в смущение людей венского или геттингенского разлива. Знал бы я, когда и где мне пригодится наречие соседнего села! Однако прервусь, ведь в сей мысли довольно банальности – любому достаточно пожившему человеку известно, насколько плохо мы осведомлены о своем будущем. И часто, в благоговении оглядываясь назад, можем только преклониться пред всеильной волей Господней.

Отец мой, вечная ему память, содержал аптеку, единственную в том славном городке из трех с половиною улиц, а потому жил

неплохо, знал толк в хороших книгах и рейнских винах – конечно, не самых дорогих. Само собой разумеется, он собирался передать мне свое дело. Других наследников не было, старшая сестра моя вышла замуж за молодого стряпчего из соседнего города и уехала, когда он получил место при муниципальном суде. Теперь она жила в одном из столичных предместий и виделась с нами не чаще раза в год. Матушку свою я не помнил, отец же мой предпочел содержание верной экономки новой женьтьбе, так что и с этой стороны юридические сложности были невозможны. Все было определено заранее, и я тому хоть и не восторгался, но отнюдь не противился. Однако мой дорогой родитель допустил ошибку, столь распространенную среди относительно успешных, но не слишком предусмотрительных людей – он хотел, чтобы сын пошел дальше его самого. И, накопив денег, послал меня в университет набираться ума и манер. Как же заблуждался мой достойный родитель! Ведь в обители мудрости я окончательно распродался с аптекарскими планами, которые и до того, признаюсь, посещали меня не слишком часто. Но прежде мне даже в голову не приходила мысль об иной жизненной дороге. О чем спорить, когда все уже решено, и решено наилучшим образом? А тут хватило одной случайности, и, столкнувшись с первыми же перипетиями на моем земном пути, я бросился вперед, прочь, дальше и дальше от деревенской аптеки. И ни разу меня не посетило желание повернуться спиной к открывавшемуся миру и вернуться за отеческий прилавок.

В Страсбурге я учился на медицинском факультете – вот вам еще одна малая подробность, призванная доказать, что я не самозванец. Но не доучился, и снова не могу сказать при этом ни «увы», ни «слава богу». Обыкновенная юношеская оплошность, шалость, вовсе не зловредная, но раздутая силою неблагоприятных обстоятельств – сейчас уже неважно, какая именно, скажу лишь честно: жалкая, незначительная и, самое главное, поправимая, – вынудила меня срочно покинуть одновременно строгий и суматошный, навеки зависший в пограничье город, с которым я уже начал свыкаться.

Куда направить свои, высокопарно говоря, стопы, а точнее, хоть и несколько фигурально, – быстро мелькающие пятки? Сомнений не было. Конечно, в Париж. Тем паче, моя сестра обитала совсем неподалеку от столицы и могла при случае помочь советом и делом (замечу, что такового случая ей так и не представилось, да и разыскивала она его не слишком тщательно). Но даже не будь у меня сестры, почти парижанки, этот вопрос не мог быть решен иначе. Надеюсь, что вы можете понять меня тогдашнего, едва двадцатилетнего. Где еще юному беглецу-недоучке может представиться шанс сделать карьеру, завести роман и найти в уличных отбросах драгоценный камень? Магический блеск нимба святой Женевьевы влек меня так же, как многие тысячи румяных от глупости бедолаг. Да, я был ничуть не умнее нынешней молодежи, и не стыжусь в этом признаться. Ведь уважения заслуживает не

гений от рождения, на ком исходно почил воля Божья, а тот, кто поначалу ни в чем не превосходил других, но сумел развиться со временем, кто питался собственным опытом, а не праздно убивал год за годом в жалобах на превратности судьбы.

Итак, Париж. Не стану повторять то, что описано не раз, и перьями много лучшими. Зачем вам мои восторги и разочарования, неотличимые от восторгов и разочарований других, ведь столько людей попали туда примерно в моем возрасте и при сходных обстоятельствах. Думал ли я о том, чтобы покорить столицу мира? Если честно, нет – мне надо было выживать, и все. Лучшее лекарство от грез – поиск хлеба насущного. Тем более, что этим чаще всего приходится заниматься не в покое, а на помойке.

Отбросов в великом городе и впрямь пузырилось предостаточно, особенно в тех местах, где я был вынужден искать приют. И вот какова сила молодости – вместо того, чтобы сойти с ума от ужасающей мусорной вони, я на всю жизнь утратил к ней чувствительность – как потом оказалось, с пользой для себя. Но от остального окружения я по-прежнему страдал, хотя деваться было некуда. Стеснять сестру я не желал, да и жила она, оказалось, в двух часах ходьбы от Нотр-Дам – совсем не там, где хотелось обитать вашему покорному слуге. Конечно, я первым делом нанес ей визит, и был при этом полон неясных, но отчетливо радужных ожиданий, впрочем, быстро испарившихся. Опять же, обычное дело – наивный провинциал и столичная родственница. Были ли близки в детстве – уже не помню. Наверно, нет. Встреча наша оказалось скомканной – ее муж то вбегал в залу, то хлопал дверьми, сославшись на срочные дела, громко выговаривал единственной служанке и беспрестанно негодовал на постоянную задержку жалования. Был очень доволен моему уходу и на прощание радушно притянул меня к своей груди. Надо сказать, что отец предупреждал меня о чем-то подобном, но, будучи чрезмерно поглощен собой и своими страсбургскими делами, я не слишком хорошо расслышал его трезвые намеки.

Ну что ж – разве мало в Париже убогих мансард? Я быстро нашел жилье и вскорости перестал бояться узких и склизких лестниц с траченными перилами. Средств у меня было с гулькин нос, и поначалу я старался соблюсти разумность в тратах. Да и этим скудным пенсионом я был обязан великодушию моего батюшки, хотя мое вынужденное бегство (и тем более, его причина) не могло его обрадовать. Я же, чувствуя себя виноватым, обещал тратить сию небольшую сумму со сколь возможно великой экономией и поклялся найти способ продолжить образование, в которое уже вложено столько сил.

О дальнейшем вы можете догадаться. Все случилось точь-в-точь в соответствии с описаниями назидательных романистов. К тому же я, легкомысленно откладывая все дела на завтра и послезавтра, непременно ожидал добрых известий о том, не улеглось ли совсем некое пустяковое дело, из-за которого я много часов ехал в почтовой карете, плотно надвинув шляпу на лицо и даже утратив с перепогу

свойственный молодости аппетит. Но никаких новостей не было – и это меня полностью деморализовало. Учиться я бросил, даже не начав, деньги постепенно прожил, а отца больше года кормил пылкими обещаниями и умеренно лживыми письмами. Наконец, разозленный моими увертками, он потребовал доказательств моего возвращения к медицинским штудиям, а до той поры прекратил высылку и без того скромного пособия. К сестре же я за все время пребывания в столице сподобился зайти раз или два – поздравить с церковными праздниками, но и этого хватило, чтобы отбить у меня даже малейшую мысль искать в той стороне какого-либо вспомоществования.

Самое грустное – мне совершенно нечего вспомнить о тех унылых днях. Мое безделье было во всех отношениях бесплодно, из него даже нельзя извлечь никакого урока. Я не кутил и не развратничал, не воровал и не побирался. Я вел скудную и неинтересную жизнь, бесцельно бродя по скользким от мусора улицам от тусклого рассвета до мерзлого заката, не зная, куда податься и какое найти применение своим способностям, к тому же мне на тот момент вовсе неизвестным. И вот деньги кончились, а зарабатывать их я не умел. Оставалось покориться и привести реальность в соответствие с собственным и весьма продолжительным враньем. Со дня на день мне должны были отказать от каморки в три шага длиной – и что потом?

В отчаянии от накопивших цепей несвободы я с трудом привел платье в порядок, и, по-прежнему ненавидя весь белый свет, поплелся в Сорбонну, искренне желая, чтобы мне сразу дали от ворот поворот. Зачем, спросите вы, – неужели у меня был припасен еще какой-нибудь выход? Нет, но я все равно сопротивлялся, не знаю уж кому. Тогда для чего вообще идти? Если желать – а в силу отсутствия должной подготовки еще и ожидать – провала, то не лучше ли воздержаться от неизбежного позора? И выдумать душещипательную историю, посыпать голову пеплом, нарисовать в письме отцу достоверные портреты истинных виновников несчастья: злобного профессора в облаках перхоти, либо, на худой конец, въедливого крючкотвора-ассистента с изъеденными кислотой ногтями?

Однако для решительного отчета родителю требовались подробности и правдоподобные мелочи, выдумать которые я, по отсутствию опыта и таланта, был не в состоянии. Да, даже в юности я весьма реалистично смотрел на свои дарования. Поэтому вам не встретить на этих страницах откровенную исповедь блудного сына или запоздало раскаявшегося вертопраха. Вдобавок, я пообещал себе – и сумел сдержать слово, – что в этот раз не опущусь до прямой лжи. Она бы и не помогла – рассерженный моим поведением, отец мог навести справки, прислать запрос в университет, да мало ли что? Поэтому я приготовился пройти через все унижительные инстанции и выслушать многочисленные аргументы «против», дабы потом скрупулезно расцветить ими

грядущую эпистолу в родные пенаты. Несмотря на то, что многое случилось в соответствии с моими ожиданиями, в главном меня подстерегал крутой поворот судьбы.

С самого начала все пошло по непредвиденному руслу. Меня не пытались подвергнуть перекрестному допросу, тщательно проверить скудные познания неизвестно откуда взявшегося самозванца – наоборот, каждый мой ответ просто принимался к сведению, как вполне адекватный, и тут же заносился в некий формуляр. Будучи этим крайне удивлен, я по нескольким обрывочным замечаниям постепенно уяснил причину столь мягкого обращения к соискателям медицинской степени. Невероятно, но в последние годы по всему королевству набралось совсем немного желающих корпеть над микстурами, разделявать трупы и заглядывать в рот покрытым розовой сыпью и бредящим от лихорадки пациентам. Версальские же указы то и дело требовали врачей: в колонии и армию, порты и пограничные заставы. Как я теперь понимаю, обсуждать было нечего, только подчиняться. Лекари нужны – значит, лекари будут. Испечем, повернем два раза с боку на бок, вручим диплом – и ногой под зад. Иди, исцеляй страждущих как умеешь. Может, повезет: выживешь, загубишь не слишком многих и даже денюжат заработаешь.

Одновременно считалось, что охрана здоровья королевских подданных – материя важная и требующая неукоснительного исполнения. Поэтому всевозможные ордонансы следовали один за другим, только успевай поворачиваться. Ни одну науку, кроме разве финансовой, артиллерийской да крепостной, не жаловали подобным вниманием. Но и понятно, отчего за ней приключился такой высокий надзор. Страх, единственно он двигал сановными рескриптами, открывал двери высоких кабинетов, вовремя прикладывал печати на расплавленный сургуч. Нет сильнее чувства у человека, почти нет, и министры поддаются ему ничуть не меньше нашего брата. Держава, сколь она ни мощная или обустроенная, живет одним лишь страхом владетельных частных лиц, выдаваемым за государственные интересы.

В этом случае они действительно совпадали – такое бывает. Голод или мор в стране не нужен ни королю, ни последнему бродяге. И если от голода можно уберечься во дворце, то про мор такого не скажешь. Оттого к врачебному делу существовал державный интерес – ведь бледный посланник не спешивается у позолоченных ворот и ни у кого не спрашивает разрешения. Конечно, черной немочи тоже можно поставить заслоны, но только лишь из живых людей. Кто-то должен первым встретить незваную гостью из дальних стран, если она, не ровен час, захочет заглянуть во владения нашего все милостивейшего монарха. Тогда старики еще помнили страшный мор в Марселе, случившийся несколько десятилетий назад по нерадивости тамошних береговых служб, которые пропустили в гавань левантинский корабль, несший в своем чреве пятнистую летучую смерть.

Сейчас же наши суда сновали по всем океанам, везли туда и обратно солдат, поселенцев, иноземные дары, трофеи и многоликие диковины. Да и по дорогам старушки Европы нескончаемо мельтешили потоки людей, обремененных всякого рода барахлом, и слишком часто их пути пересекались посреди *la belle France*. Где же, спрашивается, находится центр мира? Куда больше всего желает попасть обладатель хоть какого-нибудь таланта, любого средства к извлечению дохода? Негоцианты, искатели приключений, наемники, бродяги, поденные рабочие, нищие, пилигримы, сутяги, поэты, проповедники – все они ехали либо в Париж, либо обратно. Великая столица пожирала одних, отталкивала других, ее ворота без усталости работали на вход и выход. И вслед за людьми отовсюду шли смертоносные поветрия, самые нежеланные гости нашего блистательного королевства. Как отказать им от двора – вот трудная задача, даже для сильнейших мира сего. Ясно, что в Версале от них не укроешься, Божья гроза никого не щадит. Думаю, Его Величество прекрасно помнил – точнее, наверняка знал из рассказов, – как почти в одночасье потерял деда, отца и старшего брата. Да ведь из многочисленных родственников тогдашнего монарха едва ли хоть один дожил до взрослого возраста. Вот вам и прямой государственный резон к усиленному производству знахарей с дипломами: нужно, чтобы у каждой пограничной заставы стоял бедолага-врач и досматривал, досматривал, досматривал. А если дойдет до худшего, он же и помрет раньше других – разве лишь успеет поставить себе точный диагноз.

Итак, оказалось, что продолжить обучение легче легкого, и его даже не обязательно доводить до конца и писать диссертацию – лекари и фельдшеры, как и цирюльники-зубодеры, были чуть ли не нужнее врачей, ведь им можно было меньше платить за ту же самую работу. Отрывочное чтение дешевых изданий римских классиков не позволило мне окончательно забыть латынь. Поэтому дальнейшее оказалось предсказуемо. Заполненный формуляр без малейших помех отправился в массивный скрипучий шкаф и тут же затерялся среди пожелтевших бумаг с узорной каймой. Кто-то из ассистентов быстро и поверхностно меня проэкзаменовал прямо в углу большой библиотечной залы, не стесняясь присутствия корпевших над книгами коллег (гордость не позволила мне отвечать хуже, чем я мог), после чего я был произведен в вольнослушатели с правом дальнейшего перехода в полноправные студенты. Замечу, что, как выяснилось несколько позже, фельдшерские познания я тогда уже превосходил, а до лекаря немного не дотягивал. Учиться мне нужно было года два-три, а потом меня ждало место в тусклом портовом карантине, где-нибудь в Сете или, в лучшем случае, неподалеку от Бордо.

Я совершенно упал духом и почти уже побрел к выходу, но тут в зале неожиданно возник изысканно одетый господин среднего возраста, коллега и приятель тех самых двух-трех докторов и профессоров, которые только что вполуха слушали от соседних

конторок, как оценивается степень моей вовлеченности во врачебную премудрость. С первых же слов стало понятно, что достойный кавалер наносит визит своей альма-матер в связи с долговременным отъездом по важному делу, связанному с каким-то правительственным поручением. Обо мне тотчас же забыли, а я, ничуть не радуясь неожиданной отсрочке – служители, должные окончательно зафиксировать необходимые формальности и внести меня в списки будущих жрецов Асклепия, при появлении гостя встали в почтительную и недвижимую позу, – тихо прислонился к стене и чуть не завыл от отчаяния. Совсе не от ненависти к своей будущей профессии, а оттого, что, как казалось, надо мной произвели акт грубого насилия. Это был плач униженной жертвы – не больше, но и не меньше. Однако застывший было от моего горя мир продолжал двигаться. Постепенно я, помимо воли, стал прислушиваться к оживленному разговору почтенных эскулапов, который те вели, надо признать, на довольно приличной латыни, звучно и с видимым удовольствием выплескивая ее друг на друга.

Вскоре стало понятно, что визитер недавно получил почетное, но хлопотное назначение и что его дорога лежит на другой конец Европы, в столицу империи, долгое время бывшей нашим главным соперником на континенте. Борьба эта то затухала, то опять яростно разрасталась, и так без конца, десятилетие за десятилетием. Одна за другой шли жестокие битвы, да что там – целые войны. Если не верите, загляните в учебник истории. Впрочем, как раз в те годы наши отношения неожиданно наладились. Скажу честно, я по молодости лет не интересовался политикой и не имел никакого понятия о подробностях и подоплеку тогдашних событий.

Профессора жарко поздравляли давнишнего соученика, но в то же время прохладно выражали беспокойство по поводу предстоящего ему нелегкого пути и сложной официальной миссии. Кажется, они ему все-таки завидовали. Тот не спорил: поздравления принимал, а на слова о тяготах кивал согласно и с пониманием, даже добавлял кое-что от себя, не теряя, впрочем, важности и даже некоторой, как я успел заметить, надутости щек.

«Да, вот еще, – донеслось до меня, – какая незадача: мой ассистент Тома – помните его, славный малый – свалился два дня назад с какой-то хворью. Долго терпел, никому не говорил, но как слег, так пошло-поехало. Ничего не ест, дыхание дурное, сыпь по всему телу, лихорадка... А откладывать отъезд невозможно. И так все затянулось из-за этих дряг с казначейством, мне говорили, министр очень недоволен. Придется оставить беднягу в Париже. Что поделат... Честно говоря, он совсем плох – не знаю даже, поправится ли. Надо искать замену – только времени в обрез. Если паче чаяния, у вас, дорогие господа, есть кого порекомендовать мне в услужение, буду рад. Хотя вряд ли такой должностью можно соблазнить умелого фельдшера. Думал даже нанять кого-нибудь из простых, лишь бы не воровал да содержал в исправности инструмент и аптечку. Закинул удочку среди своих домашних –

может, у кого есть дельный знакомый или родственник, особо если нуждается? Пустое! Народ чересчур туп да косен – боится заграницы как огня. Я решил не канителиться, только время потеряю. Может, найду в пути, хотя бы даже крестьянина – среди них, знаете, попадаются смышленные. Выкручусь как-нибудь. Да и платить много не могу – государственное жалование, сами знаете, особенно с нынешней войной. Сколько? Хм, ну разве что...» – он назвал цифру и почему-то оглянулся по сторонам. Наши глаза встретились, я поклонился и услышал размер своего будущего заработка.

Впрочем, картина, обрисованная сановитым врачом, меня нисколько не заинтересовала. Он же осведомился, кто я таков, экзаменовавший меня ассистент услужливо притиснулся к нему и прошептал что-то на ухо. Кавалер благожелательно кивнул и сделал мне знак, повелевавший приблизиться. Он задал мне еще два-три вопроса, приказал рассказать о себе, а потом, не задерживаясь, небрежно спросил, слышал ли я, о чем только что говорилось в зале? Я кратко повторил сведения, несколько минут назад занесенные в мой формуляр, отступил на шаг, поклонился и учтиво ответил, что да, слышал, и что присоединиться к такой важной миссии было бы для меня чрезмерно высокой честью, поскольку обстоятельства семейные, а также слово, данное дорогому родителю... Он, не дослушав, сказал, что судя по акценту, я происхожу из мест, граничащих с империей, и что мог бы особенно... И тут же прервал себя, не желая уговаривать нижестоящего и тем терять лицо перед коллегами. Несклько мгновений все молчали, а потом он начал церемонно прощаться. Я скромно отступил в сторону.

После отбытия кавалера служитель, отчего-то глядя на меня весьма снисходительно, завершил канцелярские формальности, связанные с моим зачислением, и объявил, что с завтрашнего дня я могу являться на лекции. Не знаю, почему, но в этот момент меня охватила острая тоска, которая еще больше усугубилась, когда я вышел из мрачного старинного здания на необычно яркое парижское солнце, в первую минуту ослепившее меня и заставившее застыть на месте.

– А, снова вы, молодой человек! – рядом стоял давешний посланник. – Так расскажите, какими судьбами вас занесло в Париж. Вы один? Где столуетесь? Какие болезни вас больше интересуют – внутренние или наружные?

Я старался отвечать осторожно, вежливо, но крайне аккуратно, опасаясь выдать истинную причину моего переезда в столицу. Он слушал меня несколько отстраненно, словно потеряв всякий интерес. Но потом спросил о чем-то еще, затем, глядя в сторону, спросил снова. «Жаль, – он перебил меня в какой-то момент, когда я уже начинал изнемогать под грузом собственных выдумок и, кажется, раз или два уже запутался, – для вас бы это было хорошей возможностью. Во всех отношениях. Но заставить вас я не могу. Впрочем, отбываем мы только завтра, так что, если передумаете...» –

и он назвал адрес своего особняка. Я облегченно поблагодарил, раскланялся и постарался поскорее скрыться.

Домой идти не хотелось. В каком-то смысле я был ошеломлен необходимостью принимать столько важных решений за такой короткий промежуток времени. К тому же мысль о том, что наутро нужно будет снова приниматься за учение, саднила мое нутро, и я вдруг подумал, что предложение важного незнакомца вовсе не так уж худо. Но нет, покидать Париж – непонятно зачем, и на сколько времени, в каком качестве?..

К вечеру я, наконец, добрался до своего жилища, и тут меня ожидало известие, наполнившее мою душу холодом. Оказывается, пока я пребывал в обители мудрости, на съемную квартиру явились полицейские, подробно расспрашивали обо мне и обещали прийти снова. Хозяйка же, не будь дура, под этим предлогом – не забудьте, я ей порядочно задолжал – конфисковала мои нехитрые пожитки и соглашалась отдать их, только если я расплачусь с ней до последнего денье. Она отлично рассчитала – пойдя я на нее жаловаться, меня бы точно арестовали.

Я не мог поверить своим ушам: в письмах отец уверял, что мой проступок прочно забыт, хотя появляться в родном городе он мне пока не советует. И вот – такой зловеющий поворот! Я клял себя, что так долго тянул с поступлением в университет и что позволил своим делам прийти в такой упадок. Ведь, возможно, проведи я эти месяцы среди студентов, у меня бы уже были заступники в Париже, а сейчас... Тут я сразу вспомнил дипломатического врачавателя и, поразмыслив, рассудил, что у меня нет другого выхода, кроме как принять его предложение. Подходя к указанному мне давеча дому, я окончательно убедил себя, что в нашей сегодняшней встрече был перст судьбы, и, страшась узнать, что место может быть занято, сначала ускорил шаг, а потом побежал, несколько раз споткнувшись и с головы до ног измазавшись в нечистотах.

Я подошел к запертым воротам глубокой ночью, но за ними слышался шум – там не спали. По-видимому, сборы в далекий путь требовали немалых усилий. Я постучал в круглый щит подвешенным на столбе молотком, и скоро в железном окошке появился свет факела, а затем чье-то смутное лицо, которое обрушило на меня потоки всевозможной ругани. Я униженно это перетерпел и попытался назвать свое имя. Открывать мне не хотели, тогда я, против своей воли малодушно изгибая поясницу, подробно объяснил, в чем дело. Окошко в воротах с лязгом захлопнулось, и я услышал тяжелую поступь удалявшихся шагов. Я стоял на пустой улице, изгнанный отовсюду, без кола и двора, преступник на грани приговора, и молился, чтобы мне сопутствовала удача. Прошла целая вечность, прежде чем я услышал скрип открывающегося засова. Меня впустили и в мерцании коптящего светильника указали на мешок прелой соломы: «Завтра хозяин с тобой разберется».

Но завтра до меня никому не было дела. Несколько слуг

беспрестанно сновали взад и вперед, забивая разным скарбом стоявшую посреди тесного двора карету почтового образца, и ни один из них не желал отвечать на мои вопросы. Впрочем, когда им вынесли еду, то одна порция оказалась уготована на мою долю, и я с жадностью на нее набросился. Затем мне, в числе многих, приказали вынести какой-то необыкновенно тяжелый сундук, потом из дома поступило еще одно распоряжение, требовавшее совместных усилий, и еще одно. Вскоре я оказался включен в общую работу и воспринял это с неожиданным облегчением. Когда ближе к вечеру хозяин наконец-то вышел во двор, то я был уже совсем запарен и почти забыл о начальной цели своего прихода.

«А, молодой человек, – обронил он, проходя у меня за спиной, я же при этом не мог повернуться к нему, ибо толкал снизу обширную корзину, должную быть водруженной на крышу кареты. – Мне сказали, что вы согласились к нам присоединиться. Рад, очень рад. Надеюсь, что перемена в вашем расположении произошла от полезных размышлений, а не от внезапно возникших неблагоприятных обстоятельств. *Domina omnium et regina ratio*, не правда ли? Работайте хорошо, и вы не раскаетесь в своем выборе». Я порадовался, что он ни в коей мере не нуждался в продолжении беседы и, постукивая тросточкой по булыжникам, прошел куда-то дальше – наверно, отдавать самые последние визиты. Ночью мы покинули Париж.

Вот так я был нанят в штат французского посольства, которое под охраной целого взвода драгун – при виде их формы, начищенного оружия и знаков государственной власти у меня отчего-то опять защемило сердце – отправилось в Вену с деликатной и чрезвычайно важной миссией. Цель ее была неизвестна никому, кроме моего нового хозяина, что, конечно, не мешало его слугам судачить о ней вполголоса чуть ли не каждый вечер (впрочем, только после того как лошади были распряжены и накормлены). Уже в дороге я узнал, что в случае необходимости наш путь будет лежать много дальше, совсем на край цивилизованного мира – в Петербург.

Тогда, если помните, разгоралась война, объединившая недавних злейших врагов – нашего короля и австрийского императора, точнее, императрицу, особу во всех отношениях достойнейшую и любимую своим народом. Третей в этом союзе была императрица русская, дочь великого Петра. Означенная монархиня, статная, красивая женщина, к старости стала все больше времени уделять высокой политике – занятию, за редчайшими исключениями, лицам ее пола вовсе по природе не свойственному. В конце концов, эта правительница оказалась настолько поглощена государственными заботами, что стала преждевременно недомогать и умерла в возрасте, который, например для многих мужчин сходного положения, является цветущим. Мне довелось увидеть ее, пусть мельком, поэтому я знаю, о чем веду речь. Ведь правду говорят, что перед самой смертью на челе у человека проступает вся

его жизнь. Сие верно и в отношении царей, может быть даже больше, чем кого-либо еще. Подождите, в свое время я скажу об этом со всеми печальными подробностями.

Кстати, из тогдашних коронованных особ я удостоился лицезреть только повелительницу России. Но можно ли было рассчитывать на большее? Понятно, что к свите нашего короля или цесарской фамилии меня бы не подпустили на пушечный выстрел – я не вышел ни чином, ни происхождением, ни даже внешностью, которая у меня обыкновенней обыкновенного. Вы, наверно, удивлены, что я об этом упоминаю – не глупец ли? Однако в России все обстоит не совсем так, особенно в столице, которая, правду сказать, заметно отличается от остальной страны.

Там никто не пребывает в благостном, обыкновенном европейском покое, плотно погруженный в привычное место, зная, чего ожидать завтра и послезавтра и в следующем месяце, и так до гробовой доски. Любой сколько-нибудь стоящий российский житель обязательно мечется между дворцами и тюрьмами, мертвецкими и банкетными залами. И я тоже вкусил от этого горько-сладкого блюда, приправленного силами превыше человеческих. Потому случилось так, что покойная императрица прошла перед моими глазами – да, на самом закате своей жизни. Оттого не стану говорить о ее красоте, говорят, поражающей наблюдателей еще лет за десять до моего приезда в Санкт-Петербург. Вы складываете годы и успели подсчитать, что, став работником врачебной миссии, я должен был оказаться в русской столице лет этак за пять до смерти старой царицы. Все правильно, то есть ваша арифметика точна, только не торопитесь. Может быть, я вас разочарую, тогда зачем спешить? Вообще, мои познания о том времени отрывочны и однобоки, увы. В то время я не думал, что документы и своевременные записи могут помочь воспоминаниям и что последние могут иметь какое-нибудь значение. Даже если исходят всего лишь от меня, грешного. Но какие-то вещи из памяти не исчезают. Поэтому мне не удалось отказаться от замысла доверить их бумаге, такой хрупкой, но часто неумолимо стойкой и выносливой. Пусть след моих скромных шагов отпечатается на этих страницах. Пусть вечность рассудит меня и мою жизнь.

Могу добавить к вышеизложенному, что чуть спустя, в силу прихотливых обстоятельств, которые еще предстоит описать, я оказался поблизости от двух наследников царственной покойницы: несчастного племянника и его великой жены, единственной монархини нашего времени, способной сравниться с мужами и героями прошлых дней. Итого я, француз-провинциал, лекарь-недоучка и беглый преступник, за свою жизнь видел вблизи трех императоров, и все – русские. Скажу честно, этим могут похвастаться только немногие тамошние сановники. Какова ирония, вы не находите? Хотя нашего последнего короля я тоже видел, как и любой из вас, но незачем доказывать, что зрелище это было совсем другого рода. К тому же, если следовать урокам моих

учителей логики, то придется заключить, что королем он тогда, на площади у эшафота, почитаться уже не мог. Не то – русские цари. Они на троне сидели величественно и правили жестко. По мановению их руки не просто срывались с места сотни клеветов – нет, поворачивалась махина из многих миллионов голов. Даже люди, никогда не слышавшие имен их величеств, напрочь меняли свою жизнь, как поднятые ветром мельчайшие пылинки, сами не понимая, как сильно разворачивался их крест судьбы оттого, что державная рука указала налево или направо.

Даже трудно вообразить, насколько разными были эти три правителя, но одно их объединяло, оставляло печать на поступках, словах, движениях: они царили, царствовали по-настоящему, ежедневно выбирая судьбу для себя и своей страны. А как же иначе – любой властитель государства в первую очередь правит собой, а потом уже остальными. Да, это не всегда к добру, и я думаю, вас не надо убеждать в пагубности монархического слабоволия. Но, поверьте, я видел и обратное. Кто взнуздан себя, укротит и других. Короли часто отнюдь не безрассудны, а их фавориты бывают совсем не бездарны. Другое дело, что спесивость и тупость сильных мира сего виднее и опаснее, чем у вашего соседа-бакалейщика. Но при этом они всегда пытаются доказать обоснованность своего возвышения – себе, людям и Всевышнему. Осознают свою роль и стараются сыграть ее как можно лучше, ибо, подобно предшественникам, тоже хотят оставить след на бумаге. Поскольку все мы не вечны, и только слава бессмертна в людской молве. Да, я не боюсь это сказать и не вижу в такой мысли ничего крамольного. Старый порядок тоже рождал достойных граждан. Правда, ныне подобные соображения заведомо бесплодны. Теперь, думаю, на нашей земле долго не будет никаких королей и тем более императоров. А также их честолюбивых любимцев, алчных родственников и внебрачных детей. Только я не уверен, что это к лучшему. Просто их заменит кто-нибудь еще. Власть всегда влечет людей, и почему-то среди них очень редко встречаются праведники.

Прошу прощения за чересчур злободневное отступление. Я все-таки решил его не вычеркивать. Ведь – это пришло мне в голову совсем недавно – одним из предметов моего повествования является верховная власть, и почему бы не порассуждать о ней уже в самом начале. Да, не скрою, несколько раз в жизни я оказывался поблизости от тех, кто правит миром. Нет, я им не советовал, даже нельзя сказать, чтобы служил. Но я их видел совсем рядом – тех, кто повелевает народами, объявляет войны, учреждает законы, ведет армии и скрепляет подписями мирные соглашения и смертные приговоры. Упоминаю об этом не для того, чтобы подчеркнуть собственную важность, – тем более сегодня от таких знакомств больше опасности, чем чести, – а затем, чтобы настоять на своем праве давать оценки прошедшему, жаловать героев моего рассказа лавровыми венками признательности и горькими порицаниями

разочарованности. Если хотите, даже читать мораль. Да, я считаю, мемуаристы могут, более того, должны читать мораль читателям – иначе зачем братья за перо? Нет, повторю, я не занимал высоких должностей, не сидел в собраниях избранных, не решал судьбы государства, я всего лишь несколько раз оказался поблизости от тех, кому Господь вручил тяжелое право миловать и казнить, взыскивать и награждать. Но когда прошедшее отдалилось и приобрело неожиданную выпуклость и отстраненность, то стало казаться, что мои свидетельства могут быть важны. Кому? Не знаю. Возможно, я просто искал оправдание тому зуду, что сначала точил меня и томил, а потом заставил испортить не одну кипу писчей бумаги.

Впрочем, почти все важные персоны, с которыми меня сводила судьба, ныне пребывают в ином мире или давно удалились от дел. За одним, наиболее значимым исключением. Поэтому сразу расставляю точки над «и». Несмотря на домыслы, кои потоками размазывают по бумаге бурлящие желчью пасквилянты, я полагаю, что Ее царствующее Величество совершенно не в чем упрекнуть. Наоборот, стоит преклониться перед настойчивостью, решительностью и государственной ревностью мудрой повелительницы севера. Не все ее слуги были одинаково ревностны, но она умела выбирать лучших и заменять негодных. Будь правитель подобных талантов дарован нашей несчастной стране... Но прикусываю язык – что толку жалеть о невозможном.

Да, можно рассуждать о мелких деталях, изыскивать крупницы редких неудач новой Семирамиды, но главное направление ею было избрано верно и, что удивительно, с самых молодых лет. С очевидностью не поспоришь. Пусть фернеец не всегда бывал прав и почти всегда предпочитал скольжение пахоте, но здесь он как раз не ошибся, хоть судил о России по газетным отчетам да просмотренным цензурою письмам. Думаю даже, что льстивая велеречивость его панегириков лишь отчасти лицемерна, он действительно понимал, с какой сверхъестественной громадой имеет дело, с какой силищей. И преклонялся перед ней.

Легко ли десятилетиями вести такую махину через пучину треволнений, не имея права ни на единую ошибку, на самую ничтожную погрешность? И сколь же гибко, сколь же уверенно и неброско шла она, и как, подобно тончайшему стеклу, ничем не замутнено совершенное ею, без малейших примесей и червоточин! Возможно, я чего-то не ведаю, но ни одно очевидное или преднамеренное прегрешение этой великой, не побоюсь громкого слова, государыне нельзя поставить в вину. Не всплескивайте руками и не верьте низкой клевете – при желании многим противоречивым событиям можно найти логичное объяснение, которое только послужит преумножению чести Ее Величества. Поверьте, мы слишком многого не знаем. И я постараюсь сделать все, что в моих силах, дабы на последующих страницах разубедить скептиков и циников, которыми не могут не стать чересчур усердные читатели недобросовестных памфлетистов. Хотя, не утаю,

по этому предмету у меня не раз происходили острые дискуссии с убежденными и образованными оппонентами, оказавшиеся, кстати, весьма полезными, поскольку дали мне возможность тщательно отточить необходимые аргументы.

Вернемся же теперь в ту повозку, что сорок лет назад везла меня через Европу по широкому, плотно наезженному тракту, расхоженному не одной тысячью солдатских сапог. Погода выдалась хорошая, и посольскому анабасису ничто не мешало. Мы медленно продвигались сначала через напы, а потом через имперские земли. Стояла весна, и жизнь, как говорится, была прекрасна. Ни о какой политике я не думал и ничего в ней не понимал. Сейчас, конечно, я могу предположить, каковы в тот момент были планы королевских министров, какие замыслы вынашивали наши нежданные друзья-австрийцы, но тогда меня волновали совсем иные предметы. Ныне же это скрупулезно описано многими историками – они учнее меня и расскажут вам о том времени во всех подробностях. Мои сегодняшние суждения о предвоенных днях не могут никого удивить новизной или оригинальностью, а тогдашних у меня нет – ни в памяти, ни в записи. Рискну предположить, что их и не было. Поскольку меня интересовал только один предмет – я сам. Не правда ли, вы знакомы с таким состоянием неоперившейся души?

Мое настроение улучшалось с каждым днем. Чем дальше, тем больше я приходил в полный восторг от радикальной перемены своих жизненных обстоятельств и необыкновенного путешествия, избавившего меня от стояния за студенческой конторкой и от еще одной, совсем малоприятной перспективы. Поэтому ваш покорный слуга изо всех сил старался угодить новому патрону и даже время от времени штудировал учебники из его обширного медицинского багажа. За счастье надо расплачиваться – это я понимал уже тогда. И без малейшего ропота вертелся как белка в колесе. Без работы мой хозяин – как выяснилось, главный врач посольства, по своему положению почти равный самому послу – не оставался почти ни на день. Забегая вперед, замечу: в России врач-иностранец бывает важнее посла, он часто вхож в места, недоступные для обычных дипломатов. В Версале об этом, кажется, знали.

Но и в цесарских владениях к моему хозяину то и дело обращались с разными жалобами, искали советов, особенно на длительных остановках, в больших городах. Постепенно он перестал стесняться моего присутствия даже при весьма частных разговорах – возможно, потому, что не подозревал о моем знании немецкого. Когда мне в голову пришла эта мысль, я некоторое время терзался – не надо ли сообщить о данном обстоятельстве патрону, но потом понял, что ему будет неприятно известие о совершенной им ошибке, и промолчал. Задним числом могу сказать, что это был первый зрелый поступок, сделанный мною в жизни. К сожалению, всего их насчитывается с гулькин нос, если не меньше.

Сказанное в моем присутствии разными офицерами, почтмейстерами, губернскими советниками, а особенно их женами, постепенно оседало у меня в мозгу и в один прекрасный день неожиданно сложилось в стройную и удивившую меня самую картину. Стало ясно, что цели будущей войны, способы ее ведения, само отношение к ней необыкновенно различались по обе стороны границы. Это был ошеломительный политический вывод, сделанный вдруг, без долгих размышлений. Пригодились молчание и услужливость. И толика свободного времени. Также мне пошло на пользу чтение толстых медицинских книг, которые я поглощал, когда выпадала очередь сторожить посольский скарб. Все-таки я был всего лишь слугой дипломатического эскулапа и поэтому должен был делить обыденные повинности с остальными дворовыми.

В любом случае, я быстро и безболезненно привык к своей роли: таскал тяжелый саквояж с инструментами, следил за покупкой санитарных средств, подносил полотенца, подавал и забирал инструменты. Нет, я не испытывал никакого унижения – напомним, я вовсе не дворянин, и к тому же получал за свою службу деньги. А если вспомнить свои чувства досконально и высказаться начистоту, то мне все нравилось. Я находился при деле, более того, в моих услугах была нужда, и мою должность мог исправить далеко не каждый.

При этом вся ответственность ложилась на патрона, я только ассистировал, внимательно слушал и следовал инструкциям с наивозможнейшей точностью, тютелька в тютельку. Пинцет подать под левую руку, скальпель вложить в правую, а сейчас забрать пинцет, заменить его на малые щипцы. Теперь забрать щипцы и приготовиться к перевязке. Хорошо плыть по течению, когда ты умеешь грести. Исполнять приказания, тем более разумные – что может быть лучше для спокойствия души? Пусть иногда я совершенно сбивался с ног от работы – хозяин мой не чурался лишних денег и принимал пациентов на всех привалах и остановках, вскрывая нарывы и пуская кровь любому, кто мог за это заплатить, – но все равно ваш покорный слуга не мог поверить своему внезапному счастью.

Отцу я написал с дороги, мы ехали через Страсбург, и это меня немного беспокоило. Меня могли узнать, оповестить городскую стражу. Я старался вести себя как ни в чем ни бывало, дабы не вызвать подозрений в нашем караване и отговорился от похода в ближайший кабак, сославшись на нехватку денег. Все обошлось: посланник спешил переправиться на австрийские земли, и мы провели в городе только три дня. Я заматал лицо шарфом, отпросился у патрона и ненадолго навестил отчий дом. Кто бы сказал мне тогда, что в следующий раз я окажусь в нем через долгие годы, когда никого из родных не будет в живых. Впрочем, с высоты прожитых лет могу изречь: человеку не надобно знать свое будущее, у него и без того хватает забот.

За Рейном мы стали чаще менять лошадей и в конце пути останавливались только по воскресеньям. Судя по всему, руководство миссии торопилось прибыть к цесарскому двору, однако после въезда в столицу империи, вселения в боковой флигель посольского дворца и распаковывания многочисленных сундуков темп жизни снова замедлился. По-видимому, высокая дипломатия не любила чрезмерных скоростей. Одна неделя сменялась другой, не внося никаких перемен.

Во время длительного пребывания в Вене мой немецкий, и до того не такой уж плохой, стал для вашего покорного слуги почти родным, и это оказалось очень кстати, поскольку месяца через три судьба моя повернулась еще раз. К лучшему, к худшему? Теперь уже и не знаю. Поначалу я воспринял случившееся как неприятный сюрприз, нарушивший, казалось бы, уже твердо обозначенное плавное течение вещей.

В столицу империи прибыла депеша с новыми инструкциями из Версаля. В то время, как мы пребывали на месте, военная ситуация решительно изменилась, а вместе с ней подлежали коррекции и обязанности нашего посланника (я тоже что-то слышал о сногшибательных газетных известиях, но будучи занят интрижкой с одной милой прачкой, которая с природным изяществом заворачивала в подол мои скромные сбережения, не обратил особого внимания на новости с батальных театров). Да, сейчас я с легкостью могу сообщить вам, в чем было дело и какую армию разгромил тогда прусский король. Однако зачем переписывать из чужих книг даты сражений и условия соглашений между державами? Не правда ли, надоедливая материя? Подробности, параграфы, стрелки на картах – подножный корм для историков. А для вашего покорного слуги – того, каким я был осенью 1756 года, – это были не вполне интересные дела из высоких политических сфер, меня к тому же совсем не касавшиеся. С кем воевать – решают короли. Ах да, я должен теперь сказать «решали», это будет, что называется, больше соответствовать духу эпохи, но почему-то такая словарная замена мне кажется немного преждевременной.

Вы поняли, что я хочу сказать. Дела великие вершатся помимо нас, так было и будет. Если хотите поспорить, то сначала возьмите в руки Писание и внимательно перечитайте, ну хотя бы деяния царей Иудейских. Нет, не нам, не отмеченным никакой печатью, решать судьбы народов, вести армии, открывать новые земли. Только печалиться незачем. У Господа несчетное число забот и столько же слуг. Посему наше дело – честно исполнять порученную работу и по возможности соответствовать той должности, которой нам удастся добиться годами тяжелого труда. Так вот, известие о том, что теперь-то война неизбежна, меня нисколько не взволновало. Но вместе с дипломатической эстафетой нас нагнал старый ассистент патрона, который чудесным образом сумел победить почти смертельную болезнь, и это тут же внесло в мою

жизнь предчувствие решительных перемен.

За месяцы, проведенные в Вене, я несколько раз успешно ассистировал хозяину по ходу случаев, связанных, скажем так, с патологиями средней степени сложности, и неожиданно обнаружил в себе способность предсказать последовательность действий, которые он должен был выполнить для излечения того или иного пациента. Сначала меня это позабавило, а потом заставило серьезно задуматься. Выводы из происшедшего я сделал поверхностные и радикальные, можно даже сказать, наивно-хирургические. Вкратце – я проникся несоразмерным уважением к собственным познаниям в медицинском ремесле и стал подумывать о том, чтобы зарабатывать им на жизнь. Да, я был нагл и самонадеян – а кто в этом возрасте недооценивает себя? Разве что монахи да каторжники.

Было очевидно, что господин посольский доктор испытал немалую радость, узрев своего давнего и бывалого напарника. Возможно, он даже ощущал известные угрызения совести, будучи вынужден оставить его в Париже почти на смертном одре. Тот же ни единым вздохом не подавал ни малейшего упрека, не напоминал ни о чем, что могло быть расценено как бестактность, и украдкой всячески выказывал полную преданность своему благодетелю. Невооруженным глазом было легко разглядеть, что их связывают отношения настолько тесные, насколько они могут быть между высшим и низшим, верным слугой и великодушным патроном: такое, как вы знаете, водилось уже в Древнем Риме. Да и, скажу откровенно, несмотря на мое резвое продвижение в практических навыках, старый фельдшер был опытнее и умелей недоучившегося студента. Скоро я почувствовал, что занимаю чужое место. Сначала мы ассистировали попеременно, но через неделю-другую хозяин стал вызывать меня в процедурную, только если ему была нужна еще одна пара рук.

Не хочу сказать о патроне ничего плохого – он ощущал некоторую ответственность за мое бытие в чужой стране и вовсе не стремился прогнать ставшего лишним недоучку. Кажется, он даже мне несколько симпатизировал и с одобрением следил за моими скромными успехами на врачебном поприще. Однако посольские расходы продолжали расти – война не снижает цен. А в те годы наше правительство с трудом оплачивало и самые ответственные поручения, их почетность служила залогом того, что те, на кого они возложены, не будут мелочиться и внесут свою долю, только бы добиться искомого результата. Считалось даже, что таковой взнос должен, как бы точнее выразиться, соответствовать престижности назначения и важности поставленной задачи. Я не хотел чересчур стеснять того, кому и так был немало обязан, и подумывал, не отказаться ли от жалования, но роман с прачкой продолжал требовать финансовых вложений, пусть, не буду от вас скрывать, очень и очень умеренных. Все же она была настоящая женщина – и ждала подарков, капризно требовала бессмысленных трат и прочих

знаков внимания.

Несмотря на неудобство своего положения, я решил не форсировать события. Меня не гнали – и ладно; платили – и слава богу. Обычно столь неприхотливы лишь завзятые неудачники, но здесь все было наоборот. В ту зиму меня грела и занимала одна лишь любовь. Не могу сказать, что я был тогда совсем неопытен и невинен, вовсе нет. И что же? Связь, начавшаяся легко, даже прозаично, постепенно затянула меня в клочковатый вихрь. Не желая наскучить деталями, скажу лишь, что объект моего вожделения был ко мне благосклонен, но переменчив, и не давал ни заскучать, ни понежиться хотя бы мгновение в томном блаженстве счастливого победителя. Жил я как во сне или как в бреду – выбирайте сами.

Границы между днем и ночью стирались, недели одна за другой проплывали у меня меж пальцев. Сомнамбулически, растопырив руки, я шагал по самому краю пропасти и почти ни о чем не думал. По-видимому, именно это принято называть словом «страсть». Обязанности свои я, впрочем, по-прежнему честно исполнял, оставаясь чем-то вроде второго ассистента. Однако ходики высших сфер, наконец, повернулись, и передо мной встал сложный вопрос душевного свойства: дела направляли моего хозяина еще дальше, на самый восток, в Петербург. Об этом нам – прислужникам всех мастей, включая кучеров, чистильщиков одежды и поварят, – с некоторой торжественностью объявил посольский дворецкий, присовокупив, что высокое начальство рассчитывает на то, что мы продолжим достойно выполнять свой долг перед Его Величеством и любимой родиной, после чего дополнил эту сентенцию небольшим количеством наградных. Мои сотрапезники тут же отправились пропивать нежданный подарок фортуны в какое-то цыганское подворье, а я в изумлении застыл, не зная, куда податься. Купить еще один подарок возлюбленной и броситься в по-прежнему гостеприимные объятия – но не нужно ли будет тогда известить ее о том, что нам предстоит расставание? В эту ночь я никуда не пошел. А на следующий вечер явился без подношения – и не встретил взаимности.

Дни летели, а я продолжал находиться в замешательстве. Если мне прикажут ехать в Россию, то смогу ли я, посмею ли отказаться? Что подсказывает чувство долга: кого я обязан предпочесть – женщину или родину? Замечу, что к тому времени я оказался прилично вымуштрован и, будучи в постоянных раздумьях, тем не менее содержал инструмент патрона в полном порядке и являлся к началу его приема минута в минуту. Отчасти поэтому, а может, еще по какой причине мне пока не указывали на дверь. Более того, когда слепая удача и моя неожиданная расторопность помогли нам выпутаться из одной хирургической процедуры, складывавшейся не самым лучшим образом, то показалось, что эскулап-дипломат посматривает на меня с одобрением. Старый помощник и до этого не баловал вашего покорного слугу излишним вниманием, а с

некоторых пор едва говорил со мной, разве что в хозяйском присутствии и исключительно по профессиональной надобности. Неужели я, сам того не желая, начал выигрывать соревнование за ассистентское место?

Только это не отменяло ни один из вопросов, а лишь заостряло их, не давало откладывать неизбежные решения. Что делать? Напрашиваться на поездку в Россию? Да и напрашиваться не нужно – меня, кажется, и без того берут, непонятно правда, в каком качестве. Незачем понапрасну переживать, где-нибудь да клюнет, проживем – увидим. Перевернем страницу, откроем новую главу. Негоже бросать карьеру, начавшуюся под знаком столь многих счастливых случайностей. Тогда, делал я нехитрое логическое заключение, придется оставить возлюбленную. Тут у меня начинало въедливо сосать под ложечкой и перехватывало дыхание.

Осесть в Вене – но в качестве кого? Ответа не было, однако, опьяненный страстью, я склонялся к последнему и даже думал упасть патрону в ноги и просить его о рекомендации для поступления на местный медицинский факультет. Скажу больше – я был уверен, что теперь с легкостью сдам все требуемые экзамены, за год-полтора доберу немногие необходимые курсы, после чего останется только выбрать тему для диссертации, а работать над ней можно без отрыва от врачебной практики. И это был, скажу я вам, не такой уж дурной план, даже наоборот, достаточно разумный и основательный, совсем в стиле моего почтенного родителя. Не порхать по свету в поисках нелегкой добычи, а осесть на месте, трудиться и зарабатывать. С каждым днем такая перспектива казалась мне все привлекательнее. Пусть бегающие глаза прекрасной смуглянки продолжали бросать меня то в жар, то в холод, еще неделя-другая, и я бы открылся ей, смею верить, получил полную поддержку и твердо стал на путь, который привел бы меня к заслуженному положению венского семейного доктора – и не в самом худшем предместье. Рискну предположить, что клиентура у меня создалась бы представительная – я все-таки был французом, а на представителей нашей нации есть мода в любой профессии и в любой стране мира. Вероятно даже, и сегодня я бы жил много покойнее и радостнее. Но что о том рассуждать! Грань между устроенностью и неприкаянностью я так и не переступил, ибо опять все вышло не по-моему.

Не вдаваясь в излишние подробности, выскажусь кратко и без обиняков. Чернобровая и гибкая, украшенная тяжелой копной буйно курчавившихся волос прачка-венгерка, засучивавшая рукава столь же деловито, сколь расстегивавшая юбку, горячо шептавшая в минуты страсти непонятные слова, шипуче скользившие наружу из-за мелких желтоватых зубов, разбила мое сердце, несмотря на известный опыт все-таки еще нежное и юное. Сделала она это поухарски беззаботно, в единый миг и, как мне тогда казалось, окончательно. Что именно произошло, не имеет значения, вы слышали сотни таких же историй, и моя ничуть не интереснее

других. Вы же не хотите, чтобы я опустился до общеизвестных фигур речи и поведал вам про рассеченную ударом судьбы горемычную грудь покинутого любовника, его опустошенную душу и прочая, прочая. Важны не чувства, а поступки, сейчас нас интересует то, что случилось вследствие этого события моей всего-навсего личной жизни.

Ошарашенный и подавленный, я без дела бродил по шумной, разряженной, даже пышной, несмотря на собиравшуюся случиться войну, Вене и, подобно множеству молодых людей в моем состоянии, был привлечен шумом, доносившимся с вербовочного пункта. Нечего говорить, что у меня и в мыслях не было становиться солдатом армии ее всемиростивейшего величества, особы, впрочем, во всех отношениях наидостойнейшей, заслуживающей бесчисленных похвал и самой доброй памяти. Упомяну кстати, что за несколько дней до этой оказии хозяин уличил одного из слуг в присвоении небольшой суммы денег и хорошенько отделал его той самой парадной тростью, с которой я впервые увидел его в здании Сорбонны. Наутро опозоренный воришка пробрался в людскую и поведал мне, что записался в имперские гренадеры (а роста он и вправду был порядочного), и похвастался обещанной ему круглой суммой, положенной каждому новобранцу. Тогда все эти известия оставили меня совершенно равнодушным.

Теперь же, разговорившись со средних лет поручиком в топорищившемся по швам черно-белом мундире, преодолевая жестяную барабанную дробь и гнусные крики батальонного зазывалы, я узнал, что имперским войскам потребны не одни гренадеры. В частности, недавно выявилась значительная недостача младшего врачебного персонала, поэтому им очень прилично платят и содержат на офицерском довольствии. Также поручик рассказал, в какой департамент военного ведомства обратиться и какие бумаги представить для подтверждения своего лекарского мастерства. Рассказываю так подробно, чтобы вы не думали, что я решил изменить свою жизнь прямо там, на месте. Нет, я думал еще целых два дня, и только потом испросил аудиенции у патрона, где во всем признался и попросил помощи.

На удивление, хозяин отнесся ко мне более чем снисходительно. Был ли он рад неожиданному разрешению конфликта между помощниками – а он был слишком умен, чтобы того не замечать. Во всяком случае, я не заметил горести в его взгляде – возможно, мне только показалось, что он начал подумывать, а не сделать ли меня своим настоящим ассистентом. Патрон вел себя воистину благородно: выдал денег на месяц вперед и позаботился выправить ряд документов и рекомендательных писем, которые подробно описывали мое вежество в вопросах медицины. Короче говоря, снабдил всеми бумагами, какие только могли компенсировать отсутствие у меня врачебного диплома, которого, забегая вперед, скажу, я так и не получил. Даже осведомился, считаю ли я себя уже в силах общаться с пациентами на немецком, ведь многие рекруты с

окраин империи и сами-то знают его с пятого на десятое. Я ответил утвердительно, причем был весьма тронут – такого внимания я и вообразить не мог. Впрочем, тут же оказалось, что мне есть чем отплатить за проявленное по отношению ко мне участие. Патрон признался, что давно собирает материал для трактата об организации медицинской службы в военных условиях, и спросил, не мог ли бы я оказать ему в этом содействие. Разумеется, я отвечал утвердительно и обещал писать краткие отчеты из действующей армии и пересылать их по условленному адресу. Это было самое меньшее, чем я мог его отблагодарить.

2

Ай какие думы в голове у тебя, Василий, какие, можно сказать, задушевные мысли! Мало не покажется. Дай-ка лучше себе по рукам, а то и пальцы прищеми, да побольнее, чтобы место свое знали, не лазили куда ни попадя. Опасное, очень опасное дело в наше время – дневник вести. Не надо, не надо следов оставлять – такие сочинения до добра не доводят. Даже, скорее, подводят, то есть подведут. За милую душу, подведут, а потом подтащат и еще дадут. Хм, каламбур получился, штука французская. Так о чем я? Да, одна беда с писаниной этой – выкрадут, подсмотрят, донесут. Свои же собственные друзья-товарищи, между прочим, собутельники ласковые да приметливые.

Однако вот как же записи сотрудииков Преобразователя – небось, не по памяти составлены? Значит, не тряслись бумагу мараТЬ соколы-то старинные. Или тряслись и всё равно марали? И что же – теперь оные труды повсеместно вышли в печать, даже наперегонки, и к чтению высочайше дозволены. А великий-то государь был крутенок, не чета дочери, многая ей лета. Нашел бы какие потайные листки – раз, и на дыбу. Доказывай потом с вывороченными руками, что не было у тебя никаких умыслов да замыслов.

Ноне-то не так. Милейшая, можно сказать, эпоха стоит на дворе. Не февраль, а сплошные ионы да майи, нежный ветерок да солнышко душистое. А тогда все тряслись, как бы не оплошать, не разгневать отца-то отечества делом глупым или недеянием ленистым. К концу жизни он уж и не разбирал – кто прав, кто виноват: раздавал всем по полной. Только треск стоял да стружка дымилась. Нашкодили – получайте: хрясть и в масть. Не церемонился, одним словом. Ну и верно, с нашим народом только таким макарон и можно борщ варить. Суровость потребна изрядная да и кнут кой-когда надобен, да. Правильно, народ, он туп, ни к чему не ревнив, и без ремня вострого пребывает в болотной косности и емелиной дури. Не запряги его шкипер наш в три узды, не прищпорь безжалостно до пены буйной да кровищи изрядной – и посеичас гордый росс на печи бы лежал, лапу грыз с голодухи. И мы бы жили-маялись в грязи вязкой, бедности нескладной и великом незнании о всяких высоких материях.

Никаких тебе политесов, короткопольх камзолов, усадеб с полтыщей вечноотданных крепостных и балов императрицыных, на которых страсть сколько бывает дам с голыми шеями, и некоторые премиленькие.

Так что нечего бояться, Василий Гаврилович, хочется – пиши. С оглядкой, да с присказкой. Не для печатания, конечно. Лишнего бумаге не доверяй, а тишком додумывай. Оторви от бумаги перо, договори про себя мысль долгую – так, и вслух не сказав, все запомнишь и никого не обидишь. К тому ж время нынче поспокойнее будет – кому о нем интерес случится среди ближнего и дальнего потомства? Сомнительно это. Поскольку эпоха наша очень даже обыкновенная. Как при царе Горохе – благодать и тишь. Не то у отцов – полмира прошли, какую державу сокрушили! Мы против них – что лягушки встревоженные. Но зачем тогда бумагу портить? А хотя бы так, сыновьям да внукам для вразумления, потомству от прародителя на добрую память. И мудро, в подражание самому царю Соломону, и богоугодно. Господь, он мудрость любит, привечает, в Писании об этом не раз сказано. А можно и по-другому обернуть: труд этот невидный самому на пользу идет. Иной раз как перечтешь и кое-что припомнишь, заскребешь черепушку-то, да и поступишь по-незнаемому, на новый лад. Из сего же прямым путем заключается, что бумагомарание – вовсе не блажь, а есть мысль совершающаяся, перетекающая в мысль запечатленную. Посему любой писатель – не бездельник, а человек думающий. И даже как пером карябать бросает, то мыслить перестает не всегда.

Значится, приступим, помолясь. Что у нас сегодня? Получены известия от армии, находящейся во владениях прусского короля, и не просто по дальнему ободу, а во самой их, так сказать, глубине. Новости самые благоприятные. Пишут: солдаты бодры, офицеры исправны, генералы, как водится, мудры и проницают замыслы неприятеля в малейших подробностях. Здесь, правда, надобна пауза и краткий отскок в сторону. И перо ненадолго отложим, как уговаривались.

Между нами, в столице давно понимать перестали, зачем эта война и к чему. Которое лето маемся. Конечно, открыто никто не скажет, даже промежду своих, а вот по фразам да отдельным словам, взглядам да косым намекам – очевидно, как на духу: ни один не знает, не ведает, не разумеет и разуметь отказывается. Скажете, высшие государственные соображения, многосоставные да тайные, не всякому сподручны? Возможно, спорить не буду, воля ваша. Только ежели соображения такие высокие, что никому не вместительны, даже тем, кто вовсе не из последних болтунов будет и о государстве родном не первый год печется, то возникают известные сомнения: да существуют ли вообще те соображения, в чем они могут содержаться и нет ли тут, скорее, нашей обычной глупости? Кою великий царь, к самому сердечному сожалению, целиком в российской стороне извести не сумел.

Вот начнем запросто, без экивоков, но и без лукавства. Генералы

у нас, прости Господи, ни к черту. Про мудрость лучше бы не начинали, тут – как шаром покати. Бравости много, особливо на плацу, а поковыряй, так сплошная гниль. Правда, откуда ж им взяться, проницательным распознавателям прусских замыслов? Столько лет воевали только с ближними и известными соседями. Сперва с салтаном – и того графа Миниха давно уже в вечную ссылку отправили. А он хотя бы команды знал и правила походные да красиво рукой указывал с коня в яблоках – все не так мало, особо в сравнении если. Народу положил немало, но зато славу России принес, а солдат-то у нас, чай, хватает, не оскудеем. И помощников его всех тоже – кого повыгнали, кого в отставку с рядовым награждением. Потом, конечно, было лучше, когда опять со шведом бодались за Финляндию-то. Так ведь нет больше с нами Петра Петровича – умре, вечная память, знатный был вояка, породистый. Вот и остались либо старичье промокательное, что еще нарвскую баталию помнят, либо служаки парадов пригородных: войск не видали, лошадей в рысь не пускали, пушек побаиваются, горла нет, отвага умеренная. Стыдоба одна, великий-то государь, небось, в гробу ворочается своим, Петропавловском, – так то на другом берегу, никому, кроме караульных, не слышно.

Тянет, тянет меня на подробности. Хорошо, уступлю соблазну нелицемерно, всех помяну, мамочек, не обессудьте. Значит, сначала генерал-фельдмаршал – как принял командование, так и закручинился, впору лечить от черной меланхолии. Где он свой чин сыскал, в каких битвах, о том умолчу. Да и хотел бы сказать, раструбить по миру – не смог бы, сколько ни тужился, ибо баталий тех никто не ведает. Но все ж из семьи видной, воспитания изрядного и не остолоп последний, а при нем знающие люди. Думали, обойдется. Как же, обошлось! Выпустили гуся с лисицей сражаться. Да и вслед ему понеслось от Высочайшей Конференции указов видимо-невидимо, и все такие велелешные, многоречивые. Пока до конца дочитаешь, начало забыл. Пунктов легион, и не все между собой складные. И не понять, какие рекомендации выполнять строго, а какие отложить. Посему он в ответ – тоже речисто и тоже кудряво. А что при этом происходит на боевых театрах, каковы ближние планы и стратегические цели, уяснить невозможно.

Вот спроси у любого министра из самых главных, куда и зачем движается наша доблестная армия и в чем состоит глубокий умысел господина фельдмаршала? Кому ведомо, наступает ли он, как велено, или же, наоборот, отступает? Что ответили бы? Из донесений много не почерпнуть: кто их читал, только голову затуманил и досаду усугубил. Что в начале депеши уж куда ясней, то в последних строках затемнено дочерна. То он форсирует, то контрманеврирует, то проводит глубокий охват, то выставляет заграждения и окапывается в несколько линий. То все солдаты, слава богу, здоровы и крепки духом, то через два дня, оказывается, полвойска мается животом да нарывами. А он, тюфяк разлапистый,

искренне так рапортует и печать прикладывает: дескать, хоть и имеется от Петра Великого повеление, чтобы солдат в пост мясом кормить, но я того устава соблюсти не осмеливаюсь.

Не зря говорят, что откровенность хуже воровства. Да, король бы такого вояку давно под криксрехт отдал, а то расстрелял бы перед строем для пушного научения, а наши – глаза отводят и делают вид, что так надо. Стало быть, что им нужно – дело или одна видимость? Или еще какой-нибудь интерес имеется? И главное, кого бояться? А здесь отвечу, не скрою – друг дружку бояться и будущего нашего, чего скрывать, совершенно непредсказуемого. И никто из членов высокочтимой Военной Конференции, попади он в те же щи, лучшего бы не удумал. И сие им прекрасно известно, тоже не скроем. Наоборот, милёночки наши рады были прямо-таки несусветно – пушай генерал-фельдмаршал, бедовая голова, за всех отдувается, позорится. А если вдруг вывезет растяпу Пресвятая Богородица, то и тут не пропали бы, примазались за здорово живешь. Вообще, чужие заслуги – самая лакомая пища.

И ведь случилось – вышли из леса полки королевские с утра пораньше, никого не спросившись, и сразу в бой, как обухом по голове. Чуть всю армию в капусту не порубили драгуны прусские, загнали в болото, как овец. Если бы резерв вдруг по своей воле в бой не ринулся, через лес и обоз собственный продравшись, тут бы досрочный конец православному воинству и настал. Могли в одночасье закончить войну на том поле туманном, да спаслись, неведомо как, и даже с честью, канонаду праздничную в столице объявили, перебудили народ светлой ночью. Говорят иные, гаубицы-де выручили секретные. Не знаю, пушки-то, они сами не стреляют.

Только все ж командир-то наш после этого палку чуток перегнул со своими фортелями, марш-бросками взад-вперед да скороспелым отходом на квартиры зимние. Видать, настропалил его кто ложно. Дескать, плоха матушка донельзя, день ото дня ожидаем страшного. Особо еще великий князь – ох, не радовался победе неожиданной, а ходил мрачнее мрачного, как съел какой сморчок грустный да горький. Ну, решил тут фельдмаршал играть в большой политик, брать крупный банк – и опростоволосился. Благодетельница жива-живехонька, а он – под суд и в крепость. За трусость и неисполнение. Получилось, всем на удивление, почти как при государе-отце: виноват – ответь. Оно, правда, верно, в каземат подземный и за меньшие вины угодить можно, так что зарекаться от того негоже, все под богом ходим. И хучь, конечно, злорадствовать – грех, а все же скажу – поделом. Жалко, видный он из себя был, и не совсем на голову барабанистый, а все равно – поделом.

3

Генри Уилсон, во всех отношениях почтенный, но вовсе не старый коммерсант, британский подданный и младший компаньон

торгового дома «Сазерби, Брекенридж и Уилсон», был человеком обстоятельным, но немного ленивым. Этот грех он за собой знал и наедине с собственной совестью признавал даже, что сия склонность, совсем незначительных размеров и заметная только наметанному английскому оку, была, скорее всего, обязана его долгому петербургскому сидению и тому, что сидение это ему с годами начинало нравиться. На фоне остальных петербургских коммерсантов, а в особенности самих русских, он мог почитаться за неустанного трудягу – и вправду, успевал много больше, чем любой, даже как-то негоже употребить здесь такое слово, «делец». Если честно, то большинство конкурентов этого названия не заслуживали. В сонном, вечно темном и продрогшем городе сэра Генри был почти чемпион. Даже если работал в день всего лишь часов пять-шесть. «А больше, – то и дело повторял он про себя, – и не нужно. Вредно для здоровья, портит баланс внутренних гуморов. А главное, в этой стране подобное поведение совершенно бесполезно. Непродуктивно [sic]. Деятельность разумного человека должна продлевать его жизнь, а не укорачивать. Поэтому самое важное – в любую погоду ходить на прогулки и не злоупотреблять алкоголем. Соблюдать гигиену, следить за отоплением и не менять любовниц слишком часто – это нервно, хлопотно и обременительно с финансовой точки зрения. И здоровье тоже может пострадать, *my dear lords*, вот так».

Нельзя не признать, что умозаключения достойного мистера Уилсона были логичны, обоснованы и подкреплены серьезной доказательной и экспериментальной базой. И сам прекрасный сэра это отлично знал, отчего находился в полной гармонии с собственной персоной. К сожалению, того же нельзя было сказать об окружающем его мире, с неприятной закономерностью порождавшем одну напасть за другой. Вот и сегодня пронесся очередной и, как уверяли уже несколько человек, полностью достоверный слух о тяжелой болезни императрицы. Последствия такой болезни могли радикально изменить несколько пошатнувшееся в последнее время политическое положение британских подданных в Петербурге.

«Может ли слух быть достоверным?» – поражался милейший сэра Генри. И отвечал: в России, пожалуй, да. Хотя нигде двор не блюдет столько секретности, сколько здесь. Потому официальных сообщений обычно нет, тем паче своевременных, а слухов сколько угодно. В том числе и правдивых. Только от кого хранятся эти, с позволения сказать, тайны? Ведь кроме иностранцев, врачей здесь нет, а лейб-медик ничего серьезного не предпримет, не собрав очередной консилиум. Поэтому новости из царичьей спальни известны в посольствах уже на следующий день. Сами же русские – не простонародье, конечно, но даже ответственные и высокопоставленные лица – остаются в полнейшем неведении. Оттого всегда предпочитают действию медлительность – как бы, упаси боже, не ошибиться. Так-то оно безопаснее. Но чтобы не быть

обвиненным в бездействии, изо всех сил увиливают и вертятся, вертятся и увиливают. Все в поту, а стоят; запарились, а ничего не сделали.

Почтенный коммерсант давно прекратил развлекаться, задавая какому-нибудь русскому знакомцу каверзные политический вопрос, правдивый ответ на который был ему самому, в отличие от подопытного, хорошо известен – например, даже из старых лондонских газет. Впрочем, иногда собеседнику, в силу служебного положения, полагалось лгать – тут уж цена розыгрыша невелика. Но чаще чиновник, иногда весьма высокопоставленный, действительно не знал истины, и все равно лукавил и выдумывал вовсю, дабы, как полагал, не упасть в глазах иностранца.

В торговой фирме, возившей по миру масло, пеньку, деготь, воск, лес, пушнину и перья – компании не самой крупной, но известной и уважаемой, – господин Уилсон отвечал за восточное, в данном случае российское, направление. Брекенридж работал на другом краю света – в североамериканской массачусетской колонии, а Сазерби координировал их действия из Лондона. Поэтому любую неудачу на здешнем фронте уроженец Бристоля, давно покинувший родной город и всего за двадцать лет дослужившийся от младшего клерка столичного офиса до компаньона, воспринимал как свою личную. Оттого он и перебрался сюда, в худо-бедно мощеное гнилыми досками болото, чтобы твердо держать руку на пульсе Санкт-Петербургского филиала. И вот – на тебе!

Война эта сэру Генри положительно не нравилась. Во-первых, нарушился едва лишь состоявшийся союз России с Англией, значительно облегчивший разнообразные торговые сложности. Во-вторых, после того как столько денег из казны его Вестминстерского Величества утекло в казну русскую (и немало, как достоверно знал опытный коммерсант, осталось в карманах некоторых важных чинов), можно было ожидать некоторого ослабления поборов, и именно в отношении лиц британского подданства. Теперь на этом стоял большой крест. В-третьих, степень доступности многих товаров изменилась – все шло в армию. Точнее, должно было идти, но гораздо больше терялось и разворовывалось. Как говорят русские, все наперекосяк. Налаженные пути и проверенные схемы работали с большими переборами. Выходить на новых людей или, тем более, пытаться счастья в сделках с тороватыми интендантами сэра Генри не хотел – опасно: можно не разобраться, кто кому покровительствует, и сильно ошибиться.

К тому же подобные комбинации – инструмент одноразового пользования. Да, бывает: неожиданно на горизонте появляется партия добротного товара, можно броситься на него по-кошачьи, при известной ловкости и удаче снять жирные сливки, радостно перекреститься и ждать следующего случая. Знаем, слышали – так обделывают дела в Индии да Турции. Пожалуйста, пусть живут как знают. Ему же нужна работа бесперебойная, тем более что война

скоро кончится, надо будет возвращаться на круги своя. Вот и получилось, – не раз говорил себе мистер Уилсон, усмехаясь над стаканом чая с контрабандным ромом, – попал я в самый что ни на есть русский переplet: что-то надо срочно предпринимать, а все же лучше выждать. Правда, вот хорошо – пришли вести, что англо-ганноверская армия на континенте то ли сдалась французам, то ли полностью эвакуировалась. Ничего, мы где-нибудь в другом месте свое возьмем. Не хватит у галлов сил на колонии, ох, не хватит, и денег им тоже взять неоткуда. Обижало, правда, отсутствие какой бы то ни было храбрости у герцога Камберленда, послушно подписавшего довольно позорную, что скрывать, конвенцию, но с этим горячий патриотизм почтенного господина Уилсона мог примириться. Ганноверскую династию он не особенно любил.

По совокупности же все новости непреложно означали, что непутевый берлинский король остался со всей Европой один на один, и посему дни до его капитуляции можно пересчитать по пальцам. «В два счета все кончится, – думал сэр Генри. – Русская армия даже толком не успеет залезть в Восточную Пруссию, тем более с этакой-то скоростью. Знаем мы, видели эти маневры. Союзники с ними, конечно, ничем не поделятся, надуют и наплюют, пойдут на сепаратный, как тогда, с турками. Уж Кенигсберга здешним лапотникам не видать во веки вечные».

Впрочем, и с ближайшего фронта известия поступали во всех отношениях утешительные: несмотря на слащавую выпренность официальных депеш, было ясно, что русские успешно выдержали первое столкновение с пруссаками и продолжали двигаться дальше, а в довершение австрийцы, выбив короля из Чехии, успешно занимали Силезию. Ну а если и этого мало для оптимизма – шведы вторглись в Померанию. «Не сегодня-завтра, не сегодня-завтра...» – дважды повторил про себя мистер Уилсон.

И все равно, где-то глубоко, на грани желудка и пищевода, коммерсантскую утробу терзало малоосновательное, нелогичное, но явное неудовольствие злободневным политическим ландшафтом. «Словно стая собак эти монархи», – неожиданно для себя подумал сэр Генри. Подобно многим своим соотечественникам, он был человек с определенными демократическими наклонностями.

4

Утро в Москве выдалось холодное и чересчур мокрое, как об эту пору редко бывает, – почитай, никогда. Воздух резал глотку, загонял обратно под рогожу. «Не спать, не спать», – привычно повторял себе Ерёмка, ища впотьмах кадку с водой. Едва не споткнулся, но нашел и погрузил голову до самой шеи, и терпел колючий ожог, повторяя про себя, как учили мастера: «И один, и два, и три, и четыре». Наконец, когда уже перед глазами полетела мутная рябь, откинулся назад и хрипло, с клочочущим свистом, вдохнул что было силы. Пробормотал «Отче наш», как всегда, без остановки – грех, приходской священник такого не любит. Но что ж поделаешь,

работа не ждет!

И сразу в блеклом свете из слюдяного окошка прошлое вспомнилось, а будущее нарисовалось. Начинался день, дай бог, не хуже прежних. «Благословен буди! Святыи, Крепкий, помилуй нас!» И чтобы лучше прежнего – о том просить не надобно, Господь все решит, и что надо ниспошлет. Будем трудиться в поте лица своего и зарабатывать хлеб насущный, как то от века завещано. Не роптать, а молиться, не просить, а благодарить. Ну, с богом, пошли!

Высочив на улицу, Ерёмка таки споткнулся о хитрый корень и чуть не упал, широкими прыгучими шагами перескакивая лужи да рытвины. Брешут иные люди, что в тридевятом царстве да тридесятном государстве, там, где кисельные реки да молочные берега, есть к тому же дороги ровные, камушек к камушку, по которым можно ходить, под ноги не глядячи, а, наоборот, взирая вперед и прямо, встречным девкам да честным людям в самое лицо. Но сие, что и говорить, сказка. Может, есть такое чудо где за морями-океанами, только никто такого не видел, да еще чтоб в родной дом вернуться и рассказать с подробностями. И не станем о том печалиться – чужие чудеса нам не в помощь.

Пока же поспешал Ерёмка на работу, на Большой суконный двор, и торопился, чтоб не опоздать. Он, благослови Боже покойных родителей и родителей их родителей, был человеком вольным, не казенным мастеровым, вечноотданным, а потому жил отдельно, от мануфактуры вдали, и никому ответа ни в чем не давал. Обитал дома, в старой, еще дедовой хибаре, вместе с сестрой Натальей, зятем Семеном и выводком племянников. Всего-то места, что сени, горница да спальня, но свое, не чужое. Куском хлеба не попрекнут, на улицу не выгонят, а в ненастный день и плечо подставят. Ну, не хоромы, а все-таки не на голове друг у дружки, как фабричные, и без лая. Семейство. Был еще один брат, старшой, Арсением звали, но его в армию свели, поскольку бобылем остался, растяпа. И канул на веки вечные, может, и не увидеться боле. Двадцать пять лет – не шутка. Но ежели уцелеет, руки-ноги сбережет и выйдет в отставку почетную, тем паче в чинах унтер-офицерских, – всяк ему завидовать будет, с государевой-то пенсией и рассказами о странах небывалых да делах невиданных.

Пришла от него одна весточка о прошлом годе, а с тех пор ничего не слышно. Инвалид принес, с покореженным лицом, из армии боевым калечеством уволенный. Товарищи ему таких записочек, писарем правленных, целый ворох надавали. Ходит теперь, разносит их, кормится помаленьку. Ни малейшей крохи он не знал, кто да куда да откуда, ничего толком сказать не мог. А в письме том всего две строки, приходской Ерёмке разобрать помог. Дескать, жив-здоров, чего и вам желаю, и молитесь за меня, грешного, как я за вас. Но давно это было, а судьба солдатская, она, известное дело, переменчива.

Говорят, ныне в неведомых странах, за лесами, за морями, воюют наши соколики, но не с туркой басурманской, как по

давнему обычаю положено, а у немчуры в северных землях порядок наводят. Поссорились, дескать, меж собой тамошние графья, вот мы их и мирим, по христианскому добротолوبию. А иные вредные полковники не хотят, чтоб по справедливости, вот и потребна для их вразумления военная силушка. Очень даже понятная каша. Ведь окромя такого распорядка, чего с ними воевать? Ерёмка этих немцев каждый день видел, и были они незлобные, работающие. Речь развалистая, грубого помола, голоса треснутые, щеки всегда складно побритые – ни страха от них, ни интереса. Жили, правда, в особицу, но это уж давно повелось, не нам судить. Не хотят – и ладно, насильно мил не будешь. Так-то оно и лучше, без раздоров и задираств. Вера-то у них духом опасная, смутная, не наша, хоть не басурмане они, а в тот же раз и не родные, не православные.

Пусть так, тишайше: у нас свое, у вас – свое. Да и то – случались теперя такие немцы, что не боялись и не гнушались, ставили дома прямо в городе, только сперва всё вымеривали да прикидывали, и чтобы им непременно сруб был ровным-ровнехонек. Потом брали всякие клинья да веревки и иной какой инструмент и тем же регулярным макарком подводили крышу и резали двери. Стояли эти дома по слободам чисто и стройно, с широкими окнами, словно иноземцы, что в неведомые края заглянули и страсть как чудесам тамошним удивились. И оттого застыли, болезные, заморозились, ни согнуться не могут, ни головы повернуть.

Только ежели взаправду – хороши были те дома необычные, тянуло Ерёмку к ним сердечное любопытство. А почему, сам не знал. Неладно это, должно быть, дурной приворот. Не зря говорится: от добра добра не ищут. Коли есть свой край – на чужое гляделкой не зыркай и пасть не разевай. И так на Суконном дворе всяк Ерёмке в лицо завидовал, а особливо в вечную крепость приписанные, завсегда не свои. Без того различия им крутьба общая, не покладая рук от рассвета до заката, поскольку не сказать, чтобы работа безмерная, ткацкая да фабричная, легкостью славна, ох, не сказать. Народу тьма, света мало, пыль клубами, кругом стук, гам, и так без продыху до самой ноченьки. Те мужики, что годков по двенадцать, а то и пятнадцать так проработали, завсегда терпели разные недомогания, обычаем долго крепились, не показывали виду, потом, когда уже было невмочь, сходили с лица, с тела, сказывались больными и оставались, порой стонучи, лежать по хижинам, землянкам да жилым рядам, сгрудившимся за оградой Двора. Часто потом уже и не поднимались, скреблись в углах или по стенам, на боковых лавках, даже тряпичей не огороженных, рази только изредка ковьяли до ведра и обратно. Их прощали, не гнали, щами не обделяли. Понимал народ, вышел страдальцу последний срок – здесь до пятидесяти доживали немногие, а многие и ране надрывались да скукоживались. Всё так, никому не избежать, рождены мы в этот мир на труды великие да муки жестокие, и да не вопиём о том напрасно, бо се есть удел человеческий.

Рядом с угасавшими, гулко заходившимися в протяжном кашле, пристеночными в тесноте и пыльной спертости, среди сладкой гнили и весело шнырявших туда-сюда мышшей рождались дети, опора наша, работнички. Ох, пряхи-ткачихи позорные, ох, естество наше аспидное. Вот так: Бог взял, Бог дал.

По воскресеньям служил Ерёмка в церкви, иначе сказать – был на побегушках. С утра мотался по пономаревым поручениям, чистил батюшке рясу, выносил прихожанам жестяной кубарь для милостыни. Работал споро, ничего не путал, отдыха не просил. После службы садились духовные за трапезу с богатыми прихожанами – Ерёмка опять тут как тут, кому вина подлить, кому рушник подать. Вертелся изо всех сил, только что через голову не прокатывался. И дьякон, и сам поп были им довольны, привечали, лаской баловали, без куска не оставляли. Тем здоровья и поднабрался, никакая хворь не берет, тьфу-тьфу-тьфу, сгинь, нечистая сила. Да вот еще: отец Иннокентий читать его научил по складам, и псалтирь ветхую преподнес в назидание. Вот это подарок так подарок, руки за него целовать мало!

Оттого Ерёмке в доме почтение, особенно в праздники: сядет вся семья рядом, племяши притиснутся поближе плечико к плечу, слушают, а Ерёмка им нараспев читает священные песни Давида, царя Израилева. Особо любил он ту, что написана была, когда бежал Давид от Авессалома, сына своего. Хоть и коротка она, но трогательна, прямо страсть. Слезы у Ерёмки проступали в голосе, когда начинал он: «Господи! Как умножились враги мои!» И остальные псалмы, что сразу за этим следуют, продолжал читать без перерыва, пока мочи хватало. Отец Иннокентий рассказывал: они тогда же писаны, потому и горестны столь, оттого царь иудейский и утомлен вельми в воздыханиях и ночь каждую омывает свое ложе слезами изобильными. Печалуется, значит, от бед своих душевных.

И это отец Иннокентий тоже объяснил: дескать, сыну на отца руку поднимать – великий грех, но и самому родителю такое от своего чада терпеть – горе смертное, неизбывное. Сие, добавил отец Иннокентий, верно во всех обыкновениях, не только домашних, внутри семьи разбираемых и решаемых. Слово Писания – оно на все случаи применимо и советностью богато. Вот, к примеру, тяжкий грех человеку восставать против властей, а грех крайний – пойти на самого богоспасаемого монарха, кой своим подданным все равно что родной отец. И как монарх – помазанник Божий, обязан он для благополучия и законности государства таких бунтовщиков покарать наисуровейше, но сердце его при этом болью обливается за непутевых деточек своих, с пути сбившихся.

Это Ерёмке было очень даже понятно. Он, когда Дашку или Сергуньку хлестал за разное шлопутство – не сам по себе, только по сестринской просьбе, – тоже жалел племяшей, сдерживал руку, послабже старался. Наталья ведь тоже, понял он однажды, потому их редко прибывает, лишь если под горячую руку, – любит. Но и без урока нельзя, детское баловство спускать – всем только во вред,

отыграется потом в лихую годину. Нет раскаяния без наказания, прощения без епитимьи. Такова, говорил отец Иннокентий, заглавная максима нашего бытия.

На Дворе Ерёмка работал второй год – свела его туда сестра, как только в возраст вошел. Да куда ж еще – остальные мануфактуры еще хуже, многие и с законом не в ладах: бумаги не выправлены, каждый день не знаешь, что назавтра будет. Сбегут ли хозяева ненадежные, нагрянут ли полицейские, вовремя не подкупленные, и устроят конфискацию? В одном разе – жалования не видать. И в хорошие-то времена задерживают, тянут до праздников. Хотя верно – часто платят неподзаконные лучше, чем в казенных мануфактурах, нужны им, фабрикантам, работники умелые, неплохой они, видать, с нашего труда и пота барыш наваривают.

Давеча, сказывают, указ им вышел – запрет на покушку работных людей: чтобы нанимали вольных, не скаредничали, деньги не зажимали. Напряглись купчины, затрясли кошмарами-то – подавали государыне сказку: дескать, разрешить им крепостных людей обретать по-прежнему. Скинулись на круг, посылали выборных в Петербург челом бить. Но не позволила матушка. Знает заступница, много среди хозяев фабричных водится злыдней, кому человек – как товар: истратить, вымотать его – и в помойку подзаборную, а на смену другого, свежего, неистраченного. Так хороший хозяин со своими дворовыми в жисть не поступит. Верно, не все мануфактурчики столь жестоковыины, но ежели под их волю закон принять – совсем защиты не будет у горестного люда, над своею судьбой не властного. Потому все же лучше иметь дело с казной: и прижимиста она, и увертлива, а такого обмана никогда не выписывала. Есть над ней высшая власть и надзор государственный – перед ним всяк начальник преклоняется, чрезмерного озорства сторонится.

Ерёмка работу свою блюл, старался. Не дитё, чай, знает, почем лохань пота. Мал медяк, да в хозяйстве пригодится, лишним не будет. А работа – она и есть работа, дело привычное, надо не выбирать, не рядиться, не искать, где лучше, и, поперед всего, не отлынивать да радоваться, что ввечеру тебе – домой, а не за угол, под мокрую тряпку. И по воскресениям – в церковь, под звоны да перепевы, благостность вкушать неземную и о заботах недельных забывать совершенно. Нет, жизнью своей Ерёмка был бессомненно доволен. Да спроси его кто, отчего так, не понял бы, о чем речь-то? Чему ж не радоваться! И утро выдалось, он сейчас разглядел, солнечное да забористое. Разбежаться бы да с разгону зарыться в траву с цветочками. Нельзя, однако, всему свое время, жди, значит, престольного праздника. А пока дело такое – тюки тормошить, холсты раскладывать, сушить и к окрасу готовить.

Вот одно только не терпел Ерёмка на Дворе – крыс. Не, особливим страхом не баловался, остромордых и в городе немало, паче всего вокруг трактиров да домов питейных. Только все-таки больно жирные они были при мануфактуре, отменно наглые да

расхряпистые, по всем закоулкам шмыгали, за каждой тряпкой хоронились, промеж любых бревен проскакивали, визжали злобно, огрызались зело. Спасибо, на людей не нападали. Хотя, как стемнеет, держался Ерёмка подальше от стен и ходил с топотом – может, испугаются косозубые, приструнят норы, посторонятся? И то сказать, хуже аспида огненного твари эти окаянные. Не пристукнуть их и не перетерпеть, из земли да грязи множатся легионом, полошатся неумным писком, нет на них истребления. Одно слово, наказание божеское, иначе и не объять. За грехи, небось, наши посланы, знаемые и незнаемые. То-то и оно, в аду, чай, похлеще будет. Потому не озорничать надо в жизни этой, а робить, прощение вечное вымаливать. Вот уже скоро Двор, сейчас вступим в него и приложимся к трудам нашим безоглядным. Только пока – чуток поменьше бы этих крыс, миленький Господи! Помилосердствуй, не плоди их пуще мочи!

Так молился Ерёмка, а если по-взрослому – Еремей, сын Степанов, Курского прихода обитатель и житель, Большого суконного двора вольный работник, удивительно ярким осенним московским утром перепрыгивая раскидистые лужи на главной слободской улице. Хоть кое-где и были заботливыми людьми положены досточки – ан нет, мы так не умеем, осторожно и рядком, нам бы с кочки на кочку, с уступа на камешек, вверх да вперед, вперед и вверх.



Зиновий Кане – инженер-кораблестроитель, кандидат технических наук в области сверхкрупнотоннажных танкеров для перевозки сырой нефти. В Штатах – с марта 1979 года. Работал в Танкерном департаменте компании *Exxon International* во *Florham Park (NJ)*, в Техническом отделе по проектированию, строительству и обслуживанию сверхкрупнотоннажных танкеров, а с 1990 года – в группе, управлявшей зафрахтованными судами. Настоящая подборка стихов Зиновия Кане – его первая художественная публикация.

Стихотворения

Читая Кафку

Проснулся вдруг, воздух сглотнул и сразу открыл глаза.
Пуля летела в темя мне, во сне бушевала гроза.
Там, за густой пеленой сна, мой враг нажал на курок.
Лежал я пластом без сознания, без сил. В двери раздался звонок.

Очнулся, оделся, дверь открыл. Стоит мой враг из сна.
За дверью неясно: осень, зима, иль лето, или весна.
Я говорю ему: «Входи, я знаю что ты мой сон».
Он входит с пакетом, его мне дает, заметно он сам удивлен.

Отдал мне пакет и хочет уйти: «Я вас впервые вижу».
А я ему: « Я знаю, кто ты, и я тебя ненавижу!
Во сне ты была королевой зла, ты там в меня стреляла,
Со мною рядом по городу шла, но ты в меня не попала.
Вернее, ты метила в темя мне, но смог я раньше я проснуться».

Она говорит мне: «Во-первых, я – он, а вовсе и не она.
Я бы от вас сразу ушел, но подпись мне ваша нужна».
Видны кружева из рукавов, перчатки с руки чужой,
И голос его, хоть с хрипотцой, но в общем-то не мужской.

Квитанцию я ему подписал. Она на кого-то похож.
В бэйсменте есть у меня на стене острый рыбацкий нож.
Она ушла, пакет я открыл. Убить я его не успел.
В пакете приказ: «Утром к шести! Прибыть на свой расстрел».

* * *

Мяч катится вверх под уклон,
Река потекла вспять,
Воры куют закон,
Никак превратилось в опять.

Камень взлетел вниз,
Потом упал вверх,
Стоит вертикально карниз,
В стон захлебнулся смех.

Славой покрылся позор,
Ночь превратилась в день,
Доволен собой укор,
Ярко сияет тень.

Волк грызет траву,
Зебра жует кость,
Тайна идет наяву,
Змей шагает, как трость.

Сон бодрится, не спит,
Кит дирижаблем летит,
Лев от страха дрожит,
Осел на троне сидит.

В горб распрямилась спина,
В нас толпы пустота,
Гордо глядит вина,
Сложная жизнь проста.

Глаз, а под ним бровь,
Жидка водянистая кровь,
Стал ненавистным кумир.
Так вижу я антимира...

В сомнении бесконечном

В сомнении бесконечном,
В томлении сердечном,
В одиночестве пребывают,
Себя выедают
 Чары забытые,
 Упреки избитые,
 Потухшие чувства
 Любови искусства
 Заводят в тупик,
 И слезы, и крики,
 И ревность стихают,
 И слезы отчаянья
В ночи высыхают...

Детство

Бывает, вдруг из памяти
Картинки проявляются
Нечеткие, размытые,
Но не совсем забытые.

Я на скамейке маленький,
Снимает мама валенки:
Они забились снегом.
Упал я в снег с разбегу.

Колочий снег кусает,
Иголки мне впивает,
Хоть холодно, но тает
И щиплет мне лицо.

А мама приседает,
Лицо мне утирает,
Ладонь прикрывает...
А на руке кольцо...

Инкарнации - реинкарнации

Я был когда-то, говорят,
То ль зверь, то ль царь, то ль раб иль моль.
Они (таков буддистов взгляд)
В моей играют жизни роль,
И суть ее, и крови соль.

Они в яву или во сне
Вдруг проявляются во мне,
Оскалив пасть. Тогда рычу,
А то бессмысленно мычу
Иль выжимая газ, лечу.

Злодейство-месть мне по плечу,
Тянусь к кинжалу я, к мечу,
Из ножен пустых хочу достать,
Хоть нет его, а рукоять
В моей руке огнем горит
И руку жжет. А сталь блестит
И мне мои глаза слепит!
Во снах, когда сознание спит...

Предсмертный час

Замолкли птицы. Яркий день угас.
Я в парке встретил свой предсмертный час.
Он шел и просто прутиком махал.
Я ничего вокруг не замечал.

Моя жена его тотчас узнала,
Хотя его ни разу не встречала.
Ее рука заметно задрожала.
«Пошли домой», - она мне прошептала.

Я обернулся. Он за мной следил,
Но очень резко отвернулся он...
Я глубоко вздохнул, глаза открыл
И понял - кончился кошмарный сон...

Другу, на вечную память

Мой друг, мой друг, мой друг, мой друг
Ушел, ушел в далекий путь.
Темно и пусто стало вдруг.
Его оттуда не вернуть.

Ты далеко не уходи,
Стой у ворот и жди.
Пусть сыплют звездные дожди.
Не улетай. Ты жди.

Еще мы встретимся с тобой
И всех других найдем.
И вместе шумною гурьбой
Мы, как всегда, пойдем.

Подруги наши к нам придут
И улыбнутся нам.
Пусть сотни, тыщи лет пройдут,
Не страшно – вечность там.

Не улетай, ты подожди,
На ту далекую звезду,
Не исчезай, не уходи,
И я тебя найду...

Вспоминая о друге

Мой друг,
Тебя со мною рядом нет.
Вокруг
Струится предзакатный свет.
Давно ль
Умолк навеки голос твой,
Окно
Закрылось жизни за тобой.
Судьбы
И рока нам не избежать.
Забывать
Нам не дано. Нам ждать
Грозы
Удар, предписанный конец.
Лозы
Бегущей жизни расплетается венец.
И я
Под сенью звезд один стою,
Житья
Завет, закон, дороги познаю...

Цикл стихов, посвященных Цветаевой

Эх, ноченьки бессонные,
 Деньки неугомонные,
 И тропы не проложены,
 Стоит трава нескошена.
 И чувств поля несжаты,
 Любить, а не женаты,
 Их слезы неусохшие,
 В глуши ночей утопшие,
 В пухах подушек спрятаны,
 В атлас перин закатаны,
 А утром лица вспухшие,
 И взор, и взгляд потухшие.
 Зима – одно их время года,
 А утро – серо, без восхода...

* * *

Ах, трудно дышится порой,
 Хоть воздух свеж и солнце над землей.
 Вдруг мелкое, невнятное терзанье
 Закопошится в глубине сознания,
 И страх взовьется пылью серой,
 Еще не проявившись полной мерой.

С собой тогда ты сам поговори,
 Взгляни на всех с тобою рядом,
 Поставь свечу, пускай она горит,
 Зажги ее своим ты взглядом.
 И в колыханиях теней свечи горячей
 Пути найдутся к жизни предстоящей...

* * *

В прошедшем, будущем и настоящем,
 В сознании ледяном или кипящем,
 В биении сердца нервном, аритмичном,
 В смятении духа истощенном, хаотичном,
 В бессонном мраке нескончаемых ночей,
 В бессмысленном потоке кратких дней
 Слова и слезы изливаются в упреки.
 Так жизнь получает свои горькие уроки...

* * *

Ревность сжигает разбитое сердце,
 Разум взрывает. Душа – пепелищем,
 Холодом дышит, и не согреться,
 Раненым зверем мечется, рыщет.

Ревность отметит ревность другого,
 Каждому взгляду прибавит значенье,
 Знаком пометит каждое слово,
 Страстно осудит в слезах без прощенья!

* * *

Их книги открываю снова,
 Их каждому внимаю слову,
 Они так трудно, жадно жили,
 Страдали сладко и любили.

Они пытались увлеченья
 Преобразить в предназначенье,
 Увековечить, вставить в строки
 Любовных чувств свои потоки.

И в этом весь их скрытый смысл,
 Их жизнью горестных посыл:
 Свалиться в новую измену
 И биться головой о стену.

* * *

Мне кажется, я где-то рядом с вами,
 Но вы не замечаете меня,
 Вам все равно, что утекает время
 От вас в ничто, секундами звеня.

Еще вам не знакома жизни тяжесть,
 И знать пока еще вам не дано,
 Как вам страдать и что в простую старость
 Вам не вступит. Нет! Вам не суждено!

Мне б вас предупредить, чтоб вы на гору
 Не забирались, не ходили с ним,
 Мне вам бы предсказать, что горя море
 Испить вам за прогулки с тем, другим.

Сказать бы, что придется вам узнать,
 Как слезы могут быть сухими,
 Как эти слезы могут выжигать
 Глаза. И мы становимся другими.

Ах, если бы вы догадались сами,
 Что жизни полной тяжелы уроки.
 «Мне нравится, что я больна не вами».
 Я б вас просил: «Вы не пишите эти строки».

* * *

Они любили много так,
 Недолго, часто, кое-как,
 Обманным жаром забавлялись,
 Друг другу буйно отдавались
 В постели и в воображении,
 Бесчувственно, без сожаленья.
 А то вдруг чувство их пылало
 И сердце страстью обжигало.
 Тогда слова к ним приходили,
 Они словами теми жили,
 И в тех словах своих страдали,
 И новый цикл начинали,
 Чтобы опять попасть в впросак
 В любовь, горя за просто так!

* * *

Так кто же нам страдания дал?
 Не боль в костях, не в сердце боль,
 Нет, не тогда, когда упал.
 Кто нам втирает в раны соль?
 Кто солью нам наполнил слезы?
 Они глаза нам выедают.
 Кто гасит утренние грезы?
 Зачем же люди так страдают?
 За что им сохнуть от тоски?
 Зачем родные исчезают,
 Оркестр стонов взлетает
 Через трубу, вверх к небесам,
 К пушистым белым облакам?

Он там страдания наши знает?
 Он слышит наши стоны там?
 Зачем Иова мучил он,
 Войдя в согласие с Сатаной?
 И для чего теряем сон?
 Зачем был создан мир другой?
 Его законов не познавши,
 Уходим, вдоволь настрадавшись.
 Нам так страдать – Его закон?
 Так это Он? Все это – Он?

...Вернуться в логово отчизны,
 В страданиях муки утопив,
 Без слез, молитв, без упокойной тризны
 Закончить жизнь, себя убив...

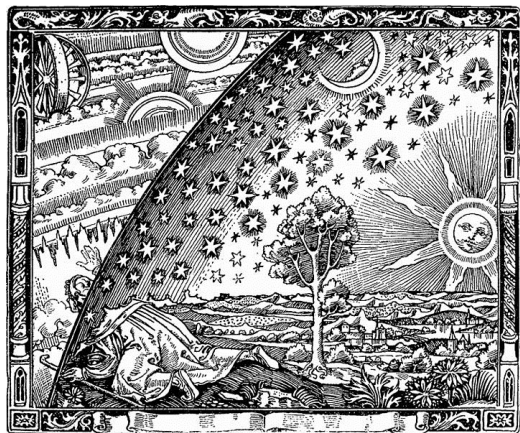


Яна Кане - родилась и выросла в Ленинграде. Несколько лет училась в ЛИТО под руководством Вячеслава Абрамовича Лейкина. Эмигрировала в США в 1979 году. Закончила школу в Нью-Йорке, получила степень бакалавра по информатике в Принстонском университете, затем степень доктора философии в области статистики в Корнелльском университете. Живет в США с мужем и дочкой. Работает в должности *Senior Principal Engineer* в фирме

Comcast. Русскоязычные стихи и проза Яны Кане вошли в сборники «Общая тетрадь», «Неразведенные мосты» (2007 и 2011), «Страницы Миллбурнского клуба» (2011, 2012 и 2013) и «Двадцать три». Англоязычные стихи и переводы печатались в журнале «*Chronogram*».

Гравюра

Когда я была подростком, мне попала на глаза гравюра, на которой был изображен человек, добравшийся до края земли, приподнявший полог небесного свода и заглянувший за пределы нашего мироздания. Путешественник уронил свой посох, рука его была приподнята в жесте изумления, а взгляд устремлен куда-то далеко-далеко, за те первые слои надзвездного пространства, которые были изображены на гравюре.



Образ этот врезался мне в память и с тех пор все занимает меня, все манит и тревожит вопросами. Так что же предстало взору этого пилигрима там, за пределами гравюры? Что удивило его еще больше, чем облака, волны, языки пламени, светила и таинственные колеса, движущиеся над куполом небес? Что лежит за гранью воображения художника, создавшего рисунок? Может быть, путник узрел бурление первозданного хаоса или постиг стройную арматуру законов, предопределяющих все, что происходит во Вселенной? Или же ему открылся неиссякаемый поток Дао, порождающий, включающий в себя и уносящий все сущее? Может быть, его заворожил нескончаемый, прихотливый танец божества, создающего и разрушающего свои творения? Или же его вверг в

трепет грозный лик неумолимого Судьи? Или привела в экстаз лучезарная улыбка милосердного Спасителя? А быть может, он увидел там свой земной мир и самого себя, но отраженного в зрачках, в мыслях иного живого и разумного существа, уязвимого и конечного, как и он сам, способного радоваться и страдать, стремящегося, как и он, познать и понять бытие?

Зеркальная симметрия

Если Бог создает человека
По своему образу и подобию,
То Бог многообразен и изменчив:
Женщина, мужчина,
Младенец, девушка, старик.
Молоко и кофе, горечь и сладость
Смешаны по-разному в разных чашках.

Если человек создает Бога
По своему образу и подобию,
То Бог противоречив и разнороден:
Отец, мать, судья,
Сестра милосердия, палач,
Пастух, самодержец.

Одно постоянно и неизменно:
Уязвимый и конечный создает слово,
Отделяющее темноту от света;
Познавший свою смертность
Становится творцом.

Soap Bubble

God is a soap bubble –
Sublime, without flaw,
Evanescent,
Emerging over and over,
Reflecting the universe,
Empty.

Лыжня

Снегопад своей пухлой лапой
Накрывает цвета и звуки.
День смыкает сонные веки.
Мне пора возвращаться домой.

Но лыжня, убегая в сумрак,
Манит, словно тропа потайная
В тридесатое государство,
В дом иной, неизведанный, мой.

Lilacs

Every spring there comes a day
When the lilac bush in the back yard
Bursts into bloom. All at once
Innumerable flowers open their petals
Flooding the midday heat,
The delicate coolness of twilight
With wave upon wave of sweetness and longing.

Three days, four... Then it subsides,
Blends back in – green into green.

When I was young, I used to think
The blooming of lilacs is fleeting.

Сирень

Каждую весну приходит день,
Когда куст сирени в углу двора
Расцветает. Бесчисленные лепестки
Открываются все сразу, затопляя теплый полдень,
Хрупкую прохладу сумерек
Волнами сладости и томленья.

Три дня, четыре – и все утихает,
Смешивается с фоном – зелень среди зелени.

Когда я была молодой,
То цветение сирени казалось мне быстротечным.

Theological Questions

Orbiting the pulsing center of their universe
 The fish are passing through sunlight and shadow.
 Their existence is framed, circumscribed, and protected
 By the carved marble rim of the fountain's basin.

Do they fear or worship the hands that feed them,
 Remove their dead, repair the stonework;
 The hands that brought their ancestors here
 From another world in a wooden bucket?

Can they see that these hands now move more slowly,
 That the long, bony fingers have grown stiff with age?

Self-knowledge

The early bird gets the worm.
 The early worm gets a ticket
 For a one-way trip down the bird's intestine.

Therefore, seek self-knowledge.

If you are a bird,
 Do not feather your bed overmuch.

If you are a worm,
 Do not delude yourself into expecting
 That your wings will be sprouting any day now.
 Instead, dig deep and stay away from alarm clocks.

Самолет

Я привыкла доверяться самолету.
 Ускорение пронзает пустоту;
 Мятный, сладкий холодок на взлете;
 И полет не ощущаешь на лету.

Где-то там, над облаком наркозным,
 Где не сон, не смерть, а забытьё,
 Изредка бросаешь взгляд бесслезный
 Вниз, на тело распростертое свое.

Что судьба со скальпелем разлуки?
 Я внутри, в серебряной игле.
 Гул моторов остальные глушит звуки.
 Безымянны огоньки во мгле.

Памяти Натальи Горбаневской

Возвращается Орфей без Эвридики...

Наталья Горбаневская

Отпечаток ступни в подступающий час прилива
Размывается в гладь, забывает свои очертанья.
Как и повествованье, рассыпаясь на инфинитивы,
Возвращается в круговорот языка; как становится данью
Плоть (огню ли, червям, не имеет значенья).

Орфей к Эвридике, а не Эвридика к Орфею.
Орфей к Эвридике – единственное возвращенье,
Сообразное непрекращающемуся вращенью.

Сбросив путы и слов, и напевов, Орфей к Эвридике
Ускользает из мифа за горизонт молчанья.

Master Class

In the empty meditation hall
A semicircle of sunbeams and cushions
Faces the teacher's seat, ready to heed
The signal of the silent gong.

I, a beginner, am privileged to glimpse
This master class.

Сад

К чугунной ограде я знаю тропу потайную.
За пазухой ключ от тяжелых ворот берегу.
Как пышно в саду этом иней разросся на ветках,
Как свет многоцветно дробится на белом снегу!

Здесь синь лучезарно-ясна, без теней и печалей.
Здесь не о чем больше гадать, сокрушаться, просить.
Здесь древо забвенья свой плод ледяной предлагает,
И кто запретит его вечную сладость вкусить?

Encounter

*A muscular, thick-pelted woodchuck,
created in yield, in abandon, lifts onto his haunches.*

.....

*In Russian, the translator told me,
there is no word for "thirsty"...*

Jane Hirshfield

I watch the thick-pelted woodchuck
Waddle across the poem.
Alert, yet oblivious to the attention
Of both the poet and the reader,
He pauses, lifts onto his haunches
Then plunges into a thicket of ferns,
Vanishing into a space that opens
Beyond the boundaries of the words.

The stream that flows across the line breaks
Has its wellspring in that same landscape.

Mirrored in the rippling water
I glimpse a face that seems oddly familiar.
Perhaps it is my own reflection.
But it breaks up and disappears
Too quickly for me to know for sure.

How unreachable and alluring
Is that world of mysterious beings.
The woodchuck's fur is stippled with starlight,
The nameless translator's face is serene.
Surely she knows what I can utter
Only as a hesitant question:
"Is the difference between our worlds
In the direction of the gaze?"

* * *

...В ответ на лучшие дары...

А. А. Ахматова

А я в ответ внимаю безглагольно.
Чужой звезды лучистые дары
Вбирает темнота зрачков голодных,
Как черный взгляд космической дыры.

Чужие крылья осеняют плечи.
По пересохшим руслам рек моих
Искрятся и звенят чужие речи,
И в памяти чужой трепещет стих.

Март 2014

Когда весна, захлебнувшись, уходит под лед,
Равноденствие, сбившись с орбиты, летит во мрак,
То разум, зажмурясь, твердит, что зрение врет,
А сердце перечит слуху: «Не может быть так!»

И только душе предначертано ведать и бдеть;
Что было, что есть и что будет – во слово облечь;
Замерзшую птицу пытаться дыханьем согреть
И хрупкий подснежник, хоть в памяти, но уберечь.

Double Negative

A knife cannot cut itself open...
Jane Hirshfield

Nothing is certain.
Nothing can be guaranteed.
Not even nothing.

Кантата

Словно музыка Баха,
Спокойна и высока
Летнего вечера синь
Над темнотою сада.

Звезды и светляки
Мерцают над влажной травой.
И благодарна душа
За тишину и прохладу.

И благодарна душа
Творцу, которого нет,
За то, что небытие
Его сокрыто от взора;

Что звезды и светляки
О Боге всю ночь говорят;
За то, что причастна она
К безмолвному их разговору.



Мир Каргер - в прошлом работал в Колмогоровской статистической лаборатории МГУ, в различных отраслевых институтах и в АН СССР (РАН). Ныне - организатор больших геолого-геофизических горнорудных и нефтегазовых проектов. Основные научные результаты лежат в сфере применения математических методов в геологии и геохимии. Кандидат г.-м. наук. Автор около 100 научных статей и книг. Мир Каргер рассказывает, что профессия и увлечения заносили его в прошлом в такие советские «преисподнии», которые не должны были существовать. Его нынешние маршруты пролегают от Латинской Америки до Южной Африки - и тоже вдалеке от туристских центров. От такой жизни он получает удовольствия вполне цыганские, но печали еврейские, так как «узнавать людей и видеть жизнь их глазами - грустное дело».

Стукачи в интерьере

Стукачество и доносительство сродни детскому ябедничанию. Если ребенок угодничает, если он жалуется на неправильное поведение товарища, чтобы услужить и понравиться взрослому, то это слабохарактерный и несамостоятельный ребенок. Бывает, что умные родители применяют к нему психотерапию повышения самооценки. Чаще всего безрезультатно. Детскую привычку ябедничать невозможно отменить, множество людей сохраняют ее до старости.

Ябедники и жалобщики лепятся к тому, кто помогает угнездиться в жизни или проложить дорогу на жизненном пути. В молодом динамичном обществе они лепятся к букве закона, и нет более законопослушных граждан. Иное дело - архаичное человеческое общежитие, вроде СССР. Здесь ябедники и жалобщики снуют между начальниками, по всей их иерархии, и щекочут, и щекочут их своими вибриссами про недостатки и про недоработки.

А чуть какой кризис - эта архаическая система порождает гражданскую войну, в которой донос есть самое эффективное оружие. Сексоты, стукачи, информаторы роятся и множатся. Народонаселение проникается ими в таких концентрациях, что даже фольклор робко шепчет: «каждый третий - стукач». В конце концов доносительство становится народным обыкновением - как выпить квасу после бани. Война доносов переходит в хронические формы. Это и случилось с народами, населявшими бывший СССР.

Вы слышали, чтобы человек этого рода, как его ни называй - стукач, доносчик, сексот или осведомитель, - покался? Хотя бы интимно, перед другом или женой? Тем более, повинился прилюдно? Я - нет. А как хочется прочесть что-нибудь в таком роде:

«Я, Имярек, оперативный псевдоним (), сообщаю городу и миру, что я был (варианты: служил, работал в качестве) информатором () и еженедельно доносил (рапортовал) в письменной форме т. Имяреку о том, чему я был свидетелем при исполнении служебных обязанностей (в моем присутствии). Я был завербован (сам предложил свои услуги) и дал подписку т. Имяреку, исходя из партийной дисциплины (из убеждений, из зависти, из чувства мести) и в стремлении смести с лица земли (устранить с моего пути, нанести удар)...»

Мой интерес к этой теме имеет личную и болезненную для меня подоплеку. Один мой давнишний друг, как недавно выяснилось, был стукачом. Факт, доказанный надежно и сомнению не подлежащий. Он из тех советских карьеристов, кто был втянут в стукачество волею карьерных обстоятельств и не сумел из них вырваться. Однажды он сам коснулся этой темы мимоходом: сказал, что, мол, есть люди, которые на него клеветают, и т.д. Я промолчал и отвел глаза. Для меня мучительно, что я знаю правду, но мне неловко с ним об этом говорить. Поэтому то, что я пишу здесь, – отчасти попытка вступить с ним в диалог типа: «Покайся, Ваня, тебе скидка выйдет».

Другой мотив – моя давнишняя мечта поделиться моим пониманием того стукаческого фона, на котором все мы существовали, и знанием о стукачах. Надо, надо запечатлеть имена тех, кто зван был в этот мир подсматривать и подслушивать. Я, к сожалению, не был бдителен, не умел – да и не стремился – вычислять стукачей в реальном времени. Это случилось спустя много времени, когда судьба вдруг дарила мне доносы на меня самого. Никак нельзя предать эти подарки забвению.

Из моей коллекции стукачей я ниже предьявляю три истории о стукачах в обрамлении обстоятельств, в которых они себя проявили. Истории давние, но некоторые их герои сегодня живы и вполне активны. Надо сказать, коллекция моя растет, ибо доносительство не умирает. Недавно она пополнилась уникальными образцами новейшего массового стукачества. Но с рассказом о них я временно пока, так как опасаюсь быть небеспристрастным.

ТАНЯ АНДРИЯНОВА

Геологический мир всегда плотно пересекался с миром одиноких женщин. В геологии оседали те из них, которые были склонны к чтению и тяготели к социальному уюту. Массы выпускниц провинциальных геологических ВУЗов и техникумов плыли по течению геологической жизни из партии в партию, из экспедиции в экспедицию. Многих прибивало к тем берегам, где обитали непрременные сексуальные партнеры мужской части геологоразведочных партий. Но некоторым удавалось-таки ухватить женскую долю получше. Побывать замужем. Или прижить ребенка, наконец. Эти последние составляли кадровый резерв, которым уверенно распоряжались вербовщики стукачей. Таня Андриянова была из этого резерва.

Небольшого роста, худая, плоскогрудая, рыжеватая в кудряшках, с мелкими веселыми голубыми глазами на веснушчатом лице. Слегка шепелявая, с легким уральским говорком речь. Достаточно общительная и смешливая, чтобы ее должность «представитель первого отдела» не настораживала нас – тех, среди которых она этот отдел представляла.

Казалось, она очень хочет понравиться. В частности, мне. О чем бы я ни рассказывал, Таня была первая среди слушателей. Первая смеялась шутке, смаковала анекдот, морщила конопатый лобик в стремлении понять. Казалось, если ты можешь хоть на сантиметр продвинуть ее в ее развитии, она пойдет за тобой. И она как раз стучала! Точнее, потому и вела себя так, что стучала. Или, еще точнее, для того и вела себя так, чтобы стучать, то есть провоцировала.

Таня исполняла функции своего рода архивариуса в объединенном московско-узбекском коллективе, где я был одним из руководителей проекта со стороны Академии наук. Она вела учет бумажных, магнитных и прочих носителей программ и информации, которых всегда полным-полно на любом ВЦ. Упомянутый коллектив создавал некую систему автоматизированного проектирования. Ее почти полное название таково: САПР добычи урана методом сернокислотного подземного выщелачивания.

Дело происходило в пустыне Кызылкум, в 70 км к северо-западу от г. Навои, в поселке Зафарабад. Поселок принадлежал Минсредмашу, следовательно, являл собой земной рай, на зависть москвичам. Тихая бессобытийная жизнь, комфортный быт, магазины, наполненные промтоварами и едой, и, наконец, гарантии будущей безбедной старости на Большой земле.

В 20 км дальше на север простиралась пустыня, покрытая скважинами и трубопроводами уранодобывающих промыслов. К тому времени Чернобыль уже взорвался. Средмаш и родственная ему АН СССР продолжали жить по инерции прежней жизнью, но мы торопились и сделали упомянутую систему за девять месяцев – вместо трех лет. Надо заметить, на эти месяцы выпал один из самых счастливо-продуктивных периодов моей жизни.

Я затеял еще один, весьма романтический, проект: натуральный эксперимент по моделированию многофазного неравновесного массопереноса в реальной неоднородной геологической среде. Проект был задуман и выполнялся вне каких бы то ни было планов, «на голом энтузиазме». Оказалось, что все мы, его участники, сознавая убожество наших теорий, давно мечтали взглянуть на процессы массопереноса в реальной среде в реальных масштабах расстояний и времени. Эксперимент длился почти три года и оборвался с крахом СССР. Как и ожидалось, он принес неожиданные и подчас удивительные плоды, но без практического выхода. Единственный результат – три моих статьи, на которые я не получил ни одного (ни одного!) отзыва...

Однако вернемся к Тане Андрияновой. Вскоре после распада СССР предприятие остановилось. Зафарабад перестал быть райским уголком, и все, кто мог, включая директора, прочих начальников и рядовых сотрудников, побежали на Большую землю. До самого конца «на хозяйстве» оставался один Виктор С., заместитель директора и мой тогдашний аспирант. Этому последнему и сдал свои дела тов. Клепач, особист, начальник первого отдела. Таня в это сложное время с места не трогалась. Перемещаясь из отдела в отдел, она стремительно занимала освобождающиеся должности.

Виктор покинул тонущий корабль последним. Перед тем, как прыгнуть в последнюю шлюпку, он должен был сжечь содержимое сейфов т. Клепача. Но кое-что из этого содержимого он до меня донес.

Он со своей семьей появился у меня дома в Медведково поздним вечером в конце мая 1992 года. Пропыленные и усталые после недельного автопробега из Кызылкумов до Москвы, они полночи отмокали в ванной и рассказывали, рассказывали о последних днях на покинутом пепелище и о дорожных приключениях между Средней Азией и Россией. Виктор рассказал и про десятки папок с доносами, которые он нашел в наследстве Клепача. Среди них «очень пухлая» личная папка Тани Андрияновой.

Тексты в ее папке представляли собой хронометрированные «рапорты» с довольно занудным цитированием сомнительных высказываний и указанием обстоятельств, в которых эти высказывания произнесены. Два главных героя цитирований, Каргер и Червоненкис, фигурировали почти в каждом рапорте. Следует пояснить, что А.Я. Червоненкис, хороший математик, в те времена работник Института проблем управления, был одним из ключевых сотрудников нашего творческого коллектива. Ныне он профессор Лондонского университета.*

Вот как, в среднем, они выглядели, эти рапорты (перечисления заменены отточиями в угловых скобках, абзацы убраны):

...2/IX/1987 Каргер рассказал анекдот про М.С.Горбачева. Присутствовали <...>. Все смеялись ... Я отлучилась в 11:30 на 7 минут. Когда я вернулась, <...>говорили про войну между Ираном и Ираком; присутствовали <...>. Т. сказал: Мы в этой войне заинтересованы, и американцы тоже. С. сказал: Конечно, заинтересованы. Каргер сказал: Цены на нефть быстро падают, это для нас плохо. П. спросил: Почему плохо? Каргер ответил: Потому что...

4/IX/1987 Весь день разговаривали только про программы... В 16:40 пили чай. Каргер и Червоненкис передразнивали М.С.Горбачева. Присутствовали <...>. Все смеялись. Т. сказал: В

* Пока этот текст готовился к публикации, пришла горькая весть: в ночь с 21 на 22 октября 2014 года А.Я. Червоненкис погиб.

московских магазинах давно нет никакой посуды, а здесь (в Зафарабаде) от нее полки прогибаются. Червоненкис сказал: Средмаш – государство в государстве, у них хороший посудный главк. Все смеялись.

8/IX/1987 По вашей рекомендации я пригласила всех к себе на квартиру в честь праздника... Присутствовали <...>, всего 12 человек... Каргер пел неприличные антисоветские частушки. Все смеялись. Червоненкис рассказал анекдот про обезьянку, которая...

Вечеринку 8/IX/1987 я помню хорошо, и частушки помню, и про обезьянку. В г.Навои, в приличной квартире среди полированной мебели, в комнате с пианино, веселые и расслабленные, мы много ели и пили, дамы – красное, мужчины – как всегда, разбавленный гидролизный спирт, умяченный клюквой. В антракте между блюдами Танина дочка исполнила «К Элизе» Бетховена. Курить выходили на балкон. Частушки моего собственного сочинения были исполнены в крепком подпитии. Об их содержании можете судить по ключевым рифмам: минет – партбилет – Центральный комитет, колхозный – навозный.

* * *

– Прислушивайся внимательно. Не надейся на память, матерьял записывай. Рапорты пиши с матерьялом, – приблизительно такими словами, как я представляю, напутствовал Таню тов. Клепач, когда направлял ее на службу в наш болтливый коллектив.

– Я не нахожу с ними контакта. Они меня игнорируют, – наверно, жаловалась Таня в ответ на упреки в отсутствии «матерьяла».

– И в курилку я за ними не могу ходить.

– Курилка не твоя забота. Твоя забота – заслужить доверие, подружиться. Попроси, например, книгу почитать, – наставлял ее Клепач. – Или нажми по женской линии. Прояви инициативу поженски. Не мне тебя учить.

Таня инициативу проявляла в виде специального внимания к указанным Клепачом лицам. Ко мне она обращалась с проникновенными просьбами – то книжку из Москвы привезти, то «объяснить непонятное». Книжки она заказывала странноватые. Например, книжку «Дипломатия», которую достать у букинистов мне стоило немалых трудов. А импозантного Сашу С. она разрабатывала «по женской линии»: перегибалась через его стол, усердно демонстрируя свои женские прелести. Но Саша был неподатлив.

Они с тов. Клепачом проявили чекистскую сметку и в отношении мероприятий пассивно-наблюдательного характера. Скажем, сидишь ты, т. Андриянова, в углу общей комнаты и потому половину того, о чем эти болтуны судачат между собой, не слышишь. А что, если под предлогом пожарной безопасности переставить их чайник на твой стол? Ты немедленно получаешь тактически выгодную позицию в центре событий. Отныне ты

будешь, не привлекая внимания, ходить в туалет мыть чашки после чая и, не спеша, записывать свежий матерьял.

Сегодня я задаю себе вопрос: кем она себя воображала? кто были мы в ее глазах? Мне кажется, нервность шпионства и приводящая к экстазу благодарность начальства – вот что наполняло Танину не избалованную эмоциями женскую натуру. «Грамотно, Андриянова, грамотно. – Ворковал т. Клепач над ее рапортом. – Благодарю за службу». И охватывал ее спазм восторга, и счастливые слезы текли по щекам.

Мы в ее глазах были не то чтобы пустое место, но что-то вроде клинического материала для хирурга. А случись Саше С. распахнуть ей свои объятия? Полагаю, что и тогда в этой картине ничего бы не изменилась. «Грамотно распорядилась, молодец, – похвалил бы Таню начальник. – Но матерьялом не увлекайся. Работай ответственно, думай головой, а не тем местом!»

Прошли десятилетия, утихли постсоветские пертурбации. По сообщениям из Узбекистана, Таня Андриянова продолжает работать в Зафарабаде на том самом уранодобывающем предприятии и пользуется плодами посеянных ею доносов: сегодня она Главный геолог, то есть второе после директора лицо в иерархии начальников. Не удивлюсь, если дочка ее идет по стопам мамы. Как показывает жизнь, чадолюбивые профессиональные стукачи и детей своих выводят в этот мир для того, чтобы подсматривать, подслушивать и любить начальство.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

В 1960-х годах я знал в Алма-Ате одного мужичка из органов. В то время он работал начальником первого отдела Геохимической экспедиции. В конце 1930-х – в 1940-х он был палачом-расстрельщиком. И даже больше того: как рассказывал о нем, понизив голос, Игорь С., в конце 1930-х мужичок побывал членом тройки; а расстреливать он чуть ли не сам вызвался по личной своей склонности. Откуда сведения? Из его личного дела, с которым обязан был (по должности) ознакомиться начальник экспедиции Ф., который шепнул Игорю С., тот расщептал всему свету...

Надо сказать, в те годы множество отставников ГУЛАГа, МГБ и МВД расплодилось по стране в поисках трудоустройства. Разумеется, без работы никто не остался. Их рассадили по милициям, паспортным столам, комендатурам, а также первым отделам и отделам кадров геологических и прочих контор, которые как раз тогда (конец 50-х – 60-е) во множестве плодились в Казахстане и Средней Азии. Как видно, в то время эти люди еще не секретили свои послужные списки.

К сожалению, имя мужичка я забыл напрочь, и никто из тогдашних моих коллег не помнит. Поэтому будем, по справедливости, называть его Николаем Ивановичем, в память о Николае Ивановиче Ежове. Надеюсь, его сын Ваня жив, работает по специальности, которую ему выбрал отец, и если прочтет это,

узнает и себя, и своего отца.

Пожилой, среднего роста, худощавый, невыразительной внешности мужчина. Всегда в потертом темно-синем двубортном костюме. Говорил негромко, смотрел мимо собеседника. И, надо признаться, внушал некоторую оторопь. А может, это его должность внушала.

В коридоре длинного экспедиционного барака он остановил меня и тихим голосом попросил взять с собой в поле его сына-девятиклассника: мол, пусть мальчик подзаработает летом, и «построже там с ним». Мальчик Ваня стоял тут же, вежливо помаргивал, смотрел в пол. Я согласился взять его с собой и не ошибся: это был хороший, понятливый и прилежный коллектор.

С первого взгляда Ваня на удивление не походил на папашу. Не по возрасту очень рослый, с крупными кистями рук – как раз для немудреного, но потогонного коллекторского дела, которое состояло в упаковывании, надписывании образцов камней и ношении их в рюкзаке.

Но вот что радикально выделяло его среди других таких же пацанов, которые летом работали у геологов: он сторонился сверстников, был очень вежлив, молчалив и абсолютно исполнителен. Казалось, этот молодой человек с прилизанным честным лицом мог неделями молчать и оставаться недвижимым, как выключенный станок, до первого окрика.

К примеру, идем мы с ним маршрутом. Вверх, вниз, вверх на пригорок, вниз в распадок. Вдруг я вспоминаю, что полчаса назад на предыдущей точке я оставил коробок спичек. Прошу Ваню сходить за ним, а «рюкзак можешь оставить». Он послушно кивает, снимает рюкзак и удаляется скорым шагом. Я двигаюсь по маршруту дальше, и вскоре, желая закурить, опять не нахожу спичек. Не нахожу и Ваню тоже. Оборачиваюсь и вижу Ваню в полукилометре сзади. Иду назад. Он стоит в точке, откуда послан за спичками, с рюкзаком за спиной, в позе часового: «Но вы не сказали мне, что я должен вас нагнать». Этаким стойкий пионер на часах, как герой Л.Пантелеева. «Вольно, Ваня! Вольно! Ты не в армии, шевели мозгами сам!» К концу сезона он привык обходиться в мелочах без приказаний. На привале мог уснуть без приказа расслабиться.

Таким образом, отец в нем взрастил редкостные качества, которые не оставляли мальчику выбора при определении жизненного пути. Отец дал сыну целенаправленно охранительное воспитание, тем обеспечив его будущее. Я убежден, что мальчик был подготовлен к карьере, которая, по мнению его отца, была пределом мечтаний, – карьере *исполнителя*. Судя по сыну-роботу, Николай Иванович был гораздо хуже слухов, которые о нем ходили.

* * *

В день моего возвращения в Алма-Ату, не отряхнувши пыль, я заскочил в экспедицию и опять столкнулся с Николаем Ивановичем

в экспедиционном коридоре. Он сухо спросил, хорошо ли вел себя его парень, нет ли нареканий. Выслушав ответ – что да, все хорошо, нареканий нет, что «парень исполнительный и даже чересчур», – он одобрительно кивнул.

Чуть помолчав, глядя в сторону, негромко задал еще два вопроса: что это за арест в Сарыозеке и чем кончилась история с поварихой?

Я ляпнул: «Быстро, однако, у вас почта работает», подразумевая, что, ну надо же! – кто-то уже успел сообщить.

– Да-да, да-да, да-да, почта у нас работает, – тихо, скороговоркой, произнес он и посмотрел мне в глаза в упор.

Этот немигающий взгляд ясно говорил: да, мне стучат, а ты остерегайся.

Надо признать, в поле тогда в самом деле случилось несколько неприятных историй, две из которых он упомянул: я, действительно, был арестован, а наша веселая повариха попала в больницу по причине избиения ее мужем-шофером. Получалось, что старый паук был обо всем этом подробно информирован. И, вроде бы, он меня предостерегал.

Кто «стучал»? Я недолго ломал голову. Стучал тот, кто очень часто, с любой оказией, отправлял письма «До востребования» в Алма-Ату. Такая была одна-единственная: немногословная и хмурая, одинокая геологиня Лариса Р-к. Поэтическая натура, она в застольях напористо декламировала женские стихи, как будто обращалась к кому-то из присутствующих: «А ты придешь, когда темно,/ когда в стекло ударит вьюга» и т. д.

Все помнят ее мешковатую фигуру в полевом облачении, склонившуюся и что-то быстро пишущую на колене в полевом блокноте. Иронизировали, что пишет она стихи, в которых непременно рифмует «темное-томное» и «волнение-томление». Если и так, то стихи в блокноте чередовались с письмами Николаю Ивановичу. Письмо она запечатывала в конверт, надписывала адрес и относила в коробку для почты с приятным чувством исполненного долга. После чего приступала к обдумыванию следующего письма. По-видимому, ее доносы-рапорты были в стилистическом отношении безупречны.

ИЕГОВА VERSUS СЮГАЕВ

В 1920-х годах он был беспризорный мальчик из оренбургских крестьян, которого подобрала и усыновила еврейская семья. Стучилось это где-то на юге России. История умалчивает, что они были за люди, эти евреи, и были ли у них еще дети. Но войну они пережили и допили свою горькую чашу уже после войны. В общем, мальчику посчастливилось, как немногим из миллионов брошенных, осиротевших и одичавших детей.

Эти люди вырастили мальчика и дали ему образование. В качестве то ли Вайнштейна, то ли Вайнштока он выучился на

медицинского фельдшера. В середине 1930-х поступил в Ростовский университет и стал геологом. Геология уберегла его от армии и фронта, войну он провел в Челябинске, в ГУЛАГовской конторе под чугунным названием Челябметаллургстрой МВД СССР. Служил за совесть, благодаря чему после войны был переведен в Москву.

И вот пришли суконные времена борьбы советского народа с космополитизмом и космополитами. Геолог Вайншток объявил себя истинно русским, сменил фамилию и сделался Сюгаевым. Как Сюгаев Николай Авдеевич он вскоре защитился и стал сотрудником Кафедры динамической геологии МГУ.

Он порвал со своим еврейством публично, громко, как-то особенно гнусно, при всей гнусности тогдашней советской жизни. Его выступление на закрытом партсобрании прославилось. Тов. Сюгаев Н.А. обвинил безродных космополитов в том, что те злонамеренно пытались его к себе причислить, скрывая от него правду его настоящего происхождения. Но теперь, наконец, глаза его раскрылись, он знает правду, и он проклинает их с гневом. Собственно говоря, этим своим проклятьем он и столкнул лавину событий, о которых я здесь рассказываю.

Тамара Дмитриевна Т., профессор той же кафедры, рассказывала мне эту историю, брезгливо морщась. Ей, прошедшей войну, выдавшей всякие виды, была омерзительна даже эта его новая фамилия. Тамара Дмитриевна полагала, что он сам ее и придумал: «Где он только откопал эту мерзость – Сюуугааев? Недосюгаев, что ли?» Она была убеждена, что своих приемных родителей он таки загнал за Можай, уничтожил.

Не любила она его очень, как и многие другие люди на факультете его не любили. Потому что в строительстве своей карьеры он пользовался – и гордился тем, что пользовался – особой поддержкой со стороны *органов*. Ходили слухи, что стукач он был первостатейный и масштабный. Прослыть большим стукачом на геологическом факультете МГУ 1950-х годов значило так же много, как стать международным гроссмейстером в стране шахматистов.

* * *

Я помню Сюгаева в середине 1960-х. Тусклый, небольшого роста, сутуловатый, бесцветный. Прилизанные рыжеватые волосы с проборчиком, бородака *a-la* Николай II. Он действительно походил на Николая II и подчеркивал это свое сходство. Даже ступал как-то бочком, с развернутыми ступнями – точь-в-точь как Николай. Вот разве что глаза его были карие, а не голубые, как у Романова. Впрочем, к его глазам мы еще вернемся, они сыграют немалую роль в этой истории.

Да-да, карьерный член КПСС, непрременный заседатель в парткомах-месткомах, непреклонный товарищ, крепко державшийся линии партии, куда бы ее, эту линию, ни выгибало, почувствовал наконец, что настала пора русскому патриоту стать монархистом. А почему нет? Если он был назван в честь последнего

русского царя, как многие дореволюционные Николаи, то отчего ж ему не почитать тезоименника?

В 1970-м, на пороге своего 57-летия, он, наконец, стал профессором МГУ. Около того времени его дочь, поздняя дочь от позднего брака, стала студенткой на его собственном факультете.

Что еще желать? Солидная карьера состоялась, дом устроен, семья крепка. Жизнь, можно сказать, удалась.

Ан нет! Последующие события показали, что как раз в тот момент, когда, казалось, все сложилось, дошла наконец у еврейского бога очередь до тов. Сюгаева. Еврейский бог взвесил Сюгаева на весах и приговорил его к гибели. И какой гибели! Попытаюсь о ней рассказать и при этом сохранить рассудок.

Орудием божьей кары была назначена вышеупомянутая дочь-студентка. Предполагаю, что роковая запись в Книге жизни появилась в тот самый момент, когда на предложение однокурсника – давай, мол, сходим в кино – девушка ответила благосклонным кивком: ладно, давай сходим. Юноша был провинциальный, донской, земляк из Ростова. К тому же после армии, член партии, комсомольский активист. Многообещающий юноша. Сюгаев принял его как родного.

Спустя немного времени молодые поженились, вскоре окончили университет и уехали из Москвы подзаработать. Не в Якутию уехали, а в Африку, по линии гебистской «Зарубежгеологии», как немногие избранные обладатели заслуженных родителей и безупречных анкет. Заслуги отца со стороны молодой мы рассмотрели выше. Со стороны молодого родители малозначимы. Он сам создал себе имя, украсил свою анкету служением по комсомольской линии.

Своим чередом тянулись дни. Недели складывались в месяцы, месяцы в годы. Шелкали бусина за бусиной на кем-то невидимым перебираемой нити жизни. Приближалась черная бусина, за которой мир Сюгаева взорвался.

Близился срок окончания африканской командировки молодых. К тому времени они приобрели в Москве кооперативную квартиру. За месяц-другой до окончания командировки, в самом конце 1978 года, дочка вернулась домой рожать. Благополучно разрешилась от бремени. Тов. Сюгаев Н.А. стал дедом. Наконец, в первых числах февраля 1979 года, вернулся на родину молодой отец, семья соединилась.

7 февраля 1979 года, среда. Последний день зимних студенческих каникул. Молодые пришли в гости к старикам. Принесли с собой торт. Бабушка с дедушкой и молодая семья обедыли, пили чай. Обменивались новостями. Проснулся и захныкал ребенок. Покормили ребенка. Наконец, женщины надели шубы и ушли на улицу гулять с младенцем. Мужчины остались дома.

Всё! Все фигуры расставлены, концы соединены. Вот-вот это

случится. Я должен предупредить читателя о том, что далее последуют тяжелые сцены. Впечатлительным советую пролистнуть эту страницу, или залить ее тушью, или вовсе вырвать. Ну его, Сюгаева, к лешему. Забудьте о нем, как будто его не было на свете.

Не последовавшим совету сообщаю: была к Сюгаеву применена кара библейской изошренности и библейской жестокости, о какой даже вспоминать страшно, не то что описывать: Сюгаева загрыз его собственный зять.

Следствие установило следующее.

Тесть и зять мирно беседовали за обеденным столом с неубранными остатками торта, когда зять внезапно вскинулся и ударил тестя столовым ножом, которым только что нарезали торт. Удар большого вреда не причинил, так как нож был не острый и пришелся в область грудины.

Раненый взвыл. Побегал. Попытался спрятаться. Соседи слышали крики, грохот падающей мебели. Зять настиг тестя в кабинете. Повалил на пол, придавил и принялся душиить и выгрызать ему лицо. При этом, как было твердо установлено, загрызаемый Сюгаев был жив и сознавал происходящее.

Сюгаев был жив и тогда, когда... о, ужас! ужас!.. зять вырвал его левый глаз. Выковырял из глазницы и попытался разгрызть и проглотить. Оставшимся зрячим правым глазом несчастному пришлось увидеть, как окровавленный оскал зятя зажевывает и заглатывает этот его, со всеми жгутиками и венами, карий глаз и как через секунды зять посинел, схватился за горло, выкатил глаза, повалился на бок и затих. Зять умер первым. Тесть – вторым, в прихожей, куда дополз, оставляя лужи крови.

Не будем описывать картину, которую застали вернувшиеся с прогулки женщины. Поцадим их и себя.

...Факультетские люди, озираясь, круглили глаза и перешептывались: «Каннибал. Съел лицо. Подавился глазом и тоже...» Вывешенный на факультете некролог трактовал смерть проф. Сюгаева Н. А. как «трагический уход». Хоронили их врозь и по очень скромному разряду. На похоронах Сюгаева жена и дочь отсутствовали. Панихидные речи были про то, что словами эту трагедию не выразить. В самом деле, мы и сегодня теряемся и не находим слов.

Что это было? Говорили про скоропреходящее буйство из разряда пароксизмальных психических расстройств, которое могло быть спровоцировано «моральным потрясением (гнев), употреблением спиртных напитков, а также влиянием солнечных лучей». Другие были убеждены, что зять привез из Африки особую африканскую лихорадку, первый (эпилептоидный) приступ которой пришелся как раз на ту семейную встречу.

Но мы знаем правду. И все же что-то точит внутри, беспокойно шевелится чувство несоразмерности наказания преступлению. И вся эта история кажется варварски демонстративной, нарочито

шекспировской. Но таковы, надо полагать, выразительные средства той самой силы, перед которой нам следует застыть в смирении.

Будь Сюгаев *всего лишь* стукач и предатель, дожил бы до маразма и умер в почете, как миллионы стукачей и предателей. Но нет, он не был просто стукач и предатель. Сюгаев был чемпион, чистогранный кристалл, выросший в расплаве Павликов Морозовых! Ибо он не был юный большевик с кипящим мозгом. И не из ненависти к отцу-садисту этот взрослый человек уничтожил стариков, а единственно из рафинированной, ничем не замутненной корысти. Сюгаев получил по делам своим полной мерой. Так рассудили мы с Тамарой Дмитриевной Т.

А молодой человек? За что ему выпала чужая кара?

Догадываюсь, что и молодой человек наказан был по делам его. Рассказывали, что из Африки он вернулся большим начальником. Что еще, кроме настойчивого фронтального стукачества, могло обеспечить столь стремительный карьерный взлет? У молодого человека к его 30 годам скопилось стукаческих грехов как раз на казнь простым удушением.

Простое удушение означает конец скорый и не болезненный. Минуты назад он был полный сил отец Сюгаевского внука, и вот он уже лежит, скрюченный, с почерневшим лицом, на полу в кабинете тестя. Хозяин же кабинета, теряя сознание, бесконечно долго полз на четвереньках по коридору. В красном тумане натыкался на опрокинутые стулья, на какие-то стеклянные обломки. «Вызвать скорую, вызвать скорую», – пульсировало в голове сквозь раскаленную боль.

Попытался встать. Израсходовав на эту попытку последние силы, замер. В голове загудело: ты пропал, ты пропал. Не в силах двигаться, похожий на Николая II человек с искромсанным лицом покачался на четвереньках взад-вперед и вдруг завыл тонким голосом: «Ой, вэй. Ой, вэй».

МЕСЯЦ В ДЖУНГАРИИ

Во вторник 16 мая 1967 года, вскоре после полудня, мы с Сашей Сендером шли по рельсовым путям товарной станции города Сарыюзек, что в южном Казахстане. «Сарыюзеки» еще не были прославлены Айтматовым в «Буранном полустанке». Еще лет 20 оставалось городу до мировой славы центра уничтожения советских ракет средней дальности. Город как город, но не совсем. Как вскоре выяснилось, в городе был недавно введен пограничный режим в связи с советско-китайскими трениями.

Шли мы с Сашей под конвоем двух милиционеров – белоглазого капитана и второго, плюгавого, с мелким лицом. Оба в кургузых пиджаках, сапогах и потертых галифе синих милицейских мундиров. И в кепках. Этой «полуштатской» униформе провинциальных ментов полагалась не фуражка, не папаха, а непременно кепка на голове.

Наши документы лежали в карманах галифе капитана. Моя полевая сумка болталась на плюгавом. Мы шли строем в затылок, менты по бокам. Попытки разговоров пресекались. Мы, граждане задержанные, препровождались в комендатуру для выяснения.

Задержанию предшествовал месяц бурных событий, столь плотных, что их хватило бы намазать не тонким слоем по паре нормальных лет.

ПОЧТА В САРЫОЗЕКЕ

Я с людьми приехал утром 16 мая в означенный Сарыозек за 60 километров, с юга, из Джунгарии, имея запланированными для исполнения в Сарыозеке три обязательных пункта, поименованных как Зинка, Эльвира и Дима. И один факультативный пункт: книжный магазин.

Пункты плана расшифровываются следующим образом. Зинка – оставшаяся на базе собака, которой следовало привезти из города что-нибудь вкусное. Эльвира, повариха моей маленькой геологоразведочной партии, была недавно крепко покалечена своим мужем. Ее следовало навестить в здешней больнице, где она находилась на излечении. Дима – это Дима П., мой друг недавних студенческих времен, в тот день именинник, ожидавший моей поздравительной телеграммы.

Десять магазинных котлет для Зинки по 6 коп. за штуку были куплены и сунуты в полевую сумку. Эльвира получила гостинец – консервированный яблочный компот и банку сгущенки. Ее провинившийся муж Клейменов остался с нею в палате каяться. Прочие разбрелись по городу с наказом быть поблизости от базара и машины. Мы с Сашей пришли на почту. Последующие события я стараюсь передать с протокольной точностью, хотя не исключаю, что в прямой речи я не везде точен.

Почта. Бугристые стены выкрашены в рост человека грязно-зеленой масляной краской. Зарешеченное грязное окно на улицу. На стенах – выгоревшие инструкции по заполнению бланков. Слева от входа – телефонная кабина. Рядом – крытый дерматином фанерный стол, на столе чернильница. Обгрызенный табурет. В противоположной от стола стене – окошко в соседнюю комнату, как в собачью конуру, подпираемое грязной деревянной полочкой.

За окошком видим лупоглазую девушку в завитых локонах. Она общается с вами сидя, глядя снизу вверх на вас в окошке. На ней надето что-то ситцевое. Я был в таком возрасте, что немедленно уставился в смелый вырез в ее ситце, где красовался предмет гордости местных девушек – розовый атласный лифчик.

С трудом оторвав взгляд от лифчика, в глубине большой комнаты видим все богатство районного центра коммуникаций: стрекочущий телеграфный аппарат и стойку ручной телефонной станции с телефонисткой. Наконец, у дальней стены – большой черный стол с грузной начальницей за ним. На начальнице темно-коричневое платье с кружевным воротником. Ни дать ни взять

учительница начальных классов Марьванна.

Ее руководящее положение обозначил бледно-зеленый телеграфный бланк, который я только что заполнил. Бланк лег перед ней на стол, прошлыв от лупоглазой через телефонистку и телеграфистку. Каждая из них, пробежав глазами текст, хмыкала и коротко взглядывала на меня в окошке. Начальница Марьванна тоже прочла бланк, зыркнула в мою сторону, что-то буркнула и направила его назад по той же траектории. Со словами «мы не можем это принять» ситцевая барышня протянула мне его обратно.

Они были правы. В телеграмме, прямо скажем, был шпионский текст, в котором вместо «поздравляю» и «желаю» фигурировали какие-то «развесистая чинара» и «23 звезды» (по количеству лет именинника). Они были правы, но я вошел в раж. Исписал несколько бланков другими вариантами «шпионского текста». И раз за разом мои телеграммы справедливо отвергались бдительными почтмейстерами. К тому моменту, как был принят приемлемый для них вариант, Марьванна лоснилась потом. Лупоглазая меня ненавидела. И Саша тянул за рукав – мол, хватит уже.

Под конец я сунулся в окошко как можно дальше и, учительски жестикулируя пальцем у виска, произнес речь: «Сталин умер много лет назад. На дворе другие времена. Хватит бояться» и так далее в том же духе. В ответ раздалось бормотание, тяжелое, как непропеченный хлеб: «Позвонить куда следует». И в самом деле, они позвонили.

ДВОЕ В КЕПКАХ

Выйдя из почты, мы неторопливо двигались по пыльной улице к базару. До назначенных к отъезду трех часов дня оставалось еще два часа. Я шел и думал две радостные мысли: хорошо, что все запланированное удалось, и как хорошо, что остается время на книжный магазин. Я был, как мне сегодня кажется, наполнен тем беспричинным счастьем, которое черпается из полноты ощущений свободы и твоих безграничных возможностей.

Эти подробности – не выдумка. Я их помню потому, что в тот момент, когда мы поравнялись с автобусной станцией и перед нами со словами: «Пройдемте» возникли двое в кепках, мой запоминающийся инструментарий заработал в полную силу.

Белоглазый, нездорового облика капитан и плюгавый, мелколицый, размером головы никак не более 52-го. Обоим лет по 45-50. Определенно, оба – менты, чей жизненный путь протекал в системе ГУЛАГа. К тому времени советская милиция уже переделась в серые мундиры: брюки, кители с отложным воротом, галстуки – все стало серым. Но в провинции они еще донашивали синее – галифе и глухие кители со стоячими воротниками. Водянистые глаза палача вполне могли быть у какого-нибудь заштатного собаководы. Но тускло-застиранное синее галифе и чищенные-перечищенные хромовые сапоги ясно говорили, что

перед вами мент.

Последовала короткая перепалка («пройдемте» – «куда?» – «там узнаешь» – «попрошу не тыкать»), которая закончилась крепким захватом под локоть и волоком в заднюю комнату автостанции. Там капитан показал свое удостоверение, после чего отобрал документы и тщательно нас обыскал. «Не дергайся, не девушка», – шипел он, когда шарил по промежности. «Что здесь?» – ткнул он пальцем в полевую сумку. «Котлеты», – ответил я. Он мигнул плюгавому. Тот проверил и подтвердил, что да, котлеты.

Пять секунд – столько времени заняло у плюгавого открыть сумку, вынуть бумажный сверток, проткнуть его насквозь пальцем, не разворачивая бумагу, и сунуть обратно в полевую сумку. Вдвое дольше происходило внимательное обнюхивание пальца.

Этот кадр с плюгавым нюхачом намертво впечатался в мою память: брови сдвинуты, глаза скошены; по-собачьи мелко-мелко втягивая воздух, он ведет носом вдоль неподвижного указательного пальца, испачканного грязно-серыми крошками котлетной дряни.

...Мы с Сашей сидим, откинувшись на лавке у стены в предварительной кулузе комендатуры. Плюгавый стоит в проеме открытой двери и неотрывно сверлит нас глазами, быстро переводя взгляд с одного на другого.

Весь его облик говорил: я на посту, я бдю враждебный элемент. Сверление взглядом – такова манера сверки подозреваемого с картотекой преступников, каковую истинный чекист всегда содержит наготове в своей профессиональной памяти.

Наконец, он издал торжествующий возглас. Обернулся к своим ментам за дверью, объявил тонким голосом: «Сидел!» и указал на Сашу.

– Не-е-ет, – в тон ему проблеял тот.

– А я говорю, сидел. В 58 году! – плюгавый скороговоркой произнес название какой-то зоны.

– В 58-м мне было всего 14 лет.

– А я говорю, все равно сидел.

Мы оба весело рассмеялись. В этот момент вошел капитан и увел меня на допрос. Саша остался сидеть на лавке, закинув ногу на ногу и посмеиваясь. Смеяться ему оставалось недолго. Нет сомнения, он, как и я, не сидел и вообще не имел с ними контактов. Будь это иначе, мы бы знали, что смеющийся над ментами очень рискует, в чем Саше предстояло вскоре убедиться.

ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ В САРЬОЗЕКЕ

Комендатура помещалась в одном из станционных барачков, длинном одноэтажном здании с единственным входом в торце, под двухскатной, крытой шифером крышей с рядами печных труб на ней. Барак – наиболее популярный в той стране до недавнего времени архитектурный стиль. Данное строение относилось к поздне-барачному рококо, ибо несло наличники вокруг

зарешеченных окон.

В узкой комнате – единственное окно, печка у двери и пять столов вдоль стен. Плохо побеленная печка застлана газетами, на ней горка папок, чайник, грязная посуда. У окна справа сидит светловолосый майор в авиационных погонах и со значком педагогического института на кителе (ромбик с книжечкой), что является точным признаком армейского политработника. После некоторой заминки я посажен на табуретку в проходе у двери, между печкой и пятым столом, за которым сидит белоглазый капитан. Он остался, как был, в кепке. Рядом с ним – допрашивающий меня казах с короткой шеей. Под потолком горит лампочка без абажура, несмотря на солнечный день снаружи. Накурено. Стены, окрашенные синей масляной краской, делают лица мертвенными.

Допрос начался с того, что капитан первым делом выбил из-под меня табурет и не торопясь протиснулся на свое место за столом. В этом и состояла заминка. Несколько секунд, пока я барахтался на полу, они молча взирали на меня сверху волчьими глазами без выражения.

Я тогда подумал, что эти люди никак не «монтируются» с женой и детьми, в нормальном доме. Нельзя представить себе, что человек с таким волчьим лицом, похохатывая, читает вслух книжку женщине, а она смеется вместе с ним и весело шинкует капусту, кольща грудями под блузкой. Или что он азартно гоняет с детьми мяч во дворе. Этому человеку подходит как раз остервенело пороть ребенка армейским ремнем. И эта синяя комната с голой лампочкой под потолком подходит. После работы он не домой идет, а глушит водку на рабочем месте. Ночует здесь же или в каптерке на раскладушке. Мочится в выставленное за дверью ведро. А утром в то же ведро блюет.

Речь следователя была трудна для понимания. Утрированный степной акцент сочетался в ней с комичными индивидуальными дефектами. Звуки «К» и «Г» он, прихрюкивая, переводил в горловые «Қ» и «Ғ» и удваивал их. В бледной передаче речь звучала приблизительно так:

– Однакыко, что делаем в Сарыозеке? Қық зовут мать? Қыққой адрес московский? Қыққой адрес алма-атинский? Қыққой названий Алма-атинской кынторы? Қық зовут рекықтора МҒЫҒУ (ректора МГУ)? Што делал на пыште (на почте)? На што геологоразведка (ғыологы разведкы)? Секрет? От нас не может быть секретов.

Вопросы сыпались с пулеметной скоростью. Я пытался тормозить, переспрашивал, оборачиваясь то к капитану, то к майору. Казах раздражался, краснел короткой шеей. И мои ответы он не понимал и угрожающе переспрашивал: «Қық?» Предложение давать ответы в письменной форме на бумаге они пропустили мимо ушей.

Вдруг после ответа на вопрос о «рекықторе МҒЫҒУ» повисла

пауза. Я повторил: «Ректор МГУ, академик АН СССР, Герой социалистического труда, член Президиума Верховного Совета СССР, выдающийся ученый Иван Георгиевич Петровский». И добавил, обращаясь к майору: «Вряд ли он одобрит то, что вы тут с нами делаете».

Выходил и возвращался белоглазый капитан. Задавал те же вопросы. Дважды приводили Сашу для очной ставки. Саша не улыбался. С каждым разом он выглядел все более подавленным. Вскоре выяснилось, что в то время, пока меня допрашивали, его методично избивали.

Дважды меня выводили *на оправку* в дощатый нужник о двух очках. Из того, что нужник был чисто вымыт и засыпан хлоркой, следовало, что для этой работы у них достаточно арестантов. После второй оправки меня вернули не на допрос, а в кутузку. Саши там не было. На вопрос, где мой сотрудник, ответа я не получил.

Было совсем темно, когда меня опять привели в ту же комнату с пятью столами. На сей раз там присутствовал один только майор. Он поднял голову от бумаг и посмотрел на меня добрыми глазами. Проинформировал, что они во всем разобрались. В чем во всем? В том, что я с сотрудниками нарушил пограничный режим неумышленно. Увещающим голосом он говорил:

– Вы образованный молодой человек в начале пути. Вам следует знать, что наша страна находится в сложных отношениях с нашим восточным соседом.

Фразу о «сложных отношениях с нашим восточным соседом» он выговорил медленно, с видимым удовольствием от владения столь изящной лексикой. И посоветовал впредь учитывать это во всех моих действиях в Казахстане. Наказывать они нас не будут и протокол составлять не будут, чтобы не портить мне биографию.

Оказывается, недавно в Сарыозеке введен пограничный режим, и со мной беседует новоназначенный комендант города. Претензий у него ко мне нет. Мой сотрудник Сендер ждет меня в машине около базара.

На вопрос: «Неужели мы похожи на китайских шпионов?» он заговорил про международное положение. Доверительно, «как своему», рассказал, что от китайцев ничего хорошего ждать не приходится. Пожаловался на местные трудности и некультурность местных кадров. Из его речи как-то выходило, что если не учитывать последнее обстоятельство, то можно спровоцировать обострение советско-китайского конфликта.

И тут я догадался, что вся эта история была *просто* разминкой соскучившихся по *настоящей* работе ментов в предвкушении, когда же, наконец, развернется охранно-пограничный режим.

– Так что, говорите, вы разведываете? Золото? Ну, желаю вам успеха в вашем деле. – Он кивнул и махнул рукой на выход.

...Я добрался до машины к полуночи. Все были на месте, спали вповалку в кузове. Истязатель жены Клейменов сел за руль. На

обратном пути мы въехали в туман и потеряли дорогу, долго плутали в ночи, но не из-за тумана, а по причине истрепанности чувств.

Наутро Саша отказался от завтрака и вообще от работы. До конца сезона он болел, потому что был жестоко избит. Все его тело было сине-багровым, несколько ребер сломаны.

Он рассказал, как менты с ним «развлекались». Лицо не трогали и били только ногами. Выбив из-под него табурет, зажимали упавшего этим же табуретом и топтали сапогами. В какой-то момент появился белоглазый капитан, постоял в дверях. Сказал: «Хватит с него». Через несколько минут Сашу вывели наружу, сунули в карман документы и приказали идти к машине.

Его рассказ плюс хронометраж моего допроса показали, что интерес ментов к нам пропал после того, как (и, я полагаю, благодаря тому, что) в ходе допроса возникла тема «рекыктора МГЫГУ». Что-то в пышном величании И.Г.Петровского их насторожило или даже напугало. Следовательно, если бы не Иван Георгиевич, менты избивали бы Сашу до полусмерти. А могли и вовсе увлечься. Хрустя сломанными ребрами под сапогами ментов, он был уверен, что пришел ему конец.

В тот день моя советская железа была инфицирована неизлечимым антисоветизмом... С тех пор я все силюсь понять этих *особистов* и прочих мерзавцев, для которых существование без власти над жизнями и смертями людей не имеет вкуса.

Ведь жил же на свете креативный мент, изобретатель истязаний в чине, скажем, подполковника. Испытывал муки творчества... и все такое. Вот он просыпается среди ночи, разбуженный вспышкой озарения. «Эврика!» – шепчет он. Ему во сне явилась конструкция смирительного табурета. Быстро рисует эскиз, выводит заголовок: «Табурет-фиксатор, приспособление для оперативной фиксации подследственного». Набрасывает спецификацию: древесина пилено-струганая, 0,4 куб. м; клей столярный, 0,3 л; олифа, шурупы... Будит жену...

Тьфу! Экая гадость в голову лезет. Всё!

САША СЕНДЕР

Знакомьтесь: Саша Сендер, вольнолюбивый человек. Рабочий без специальности в нескольких моих партиях в Казахстане. При жене, выпускнице МГУ. Жену звали Люда, происходила она из хорошей старорежимной семьи. Сашу давно похоронили, а Люда, надеюсь, жива, и дочь их жива. Благодаря Люде мы и подружились с ним.

Саша остался в моей памяти 25-летним. Всегда ровно-веселый. Серые глаза без выражения, вечно дрожащие в нистагматическом треморе, улыбка оскалом – так он выглядел. Из-за дрожащих глаз казалось, что он мыслями всегда не здесь, а где-то в ином месте.

На левом плече, там, где люди одного с ним образа жизни

накалывали художественные композиции, такие, например, как «Ленин-Сталин в профиль», у Саши крупными печатными знаками было выведено «1453». Интересовавшимся он с готовностью сообщал, что 1453 – это год падения Константинополя под натиском турок-османов. Величайшее событие в мировой истории, которое он глубоко чтит. Далее следовал отлаженный рассказ про султана Мехмеда II, Босфор, залив Золотой Рог, янычар и башибузуков. Этот его рассказ производил столь сильное художественное впечатление на чувствительные души, что у рассказчика появились последователи. Шофер Курочкин, охальник и балбес, нашел у себя незанятое наколками место у правого локтя, пониже «бей» и повыше «хватай», и тоже выгатуировал «1453».

...Саша приоткрылся в Южных Мугоджарах, после истории со стадом сайгаков и одиноким волком. История произошла под конец лета, в сентябре, когда сайгаки собираются в стада и перемещаются на юг зимовать. Их сопровождают волки, которые режут слабеющий молодняк. Люди же налетают по ночам на автомобилях и в свете фар расстреливают всех без разбора.

Я шел обычным маршрутом, с сопки на сопку, колотил и описывал образцы. Он делал коллекторскую работу, то есть камни упаковывал и клал в рюкзак у себя за спиной. Время было к вечеру. С вершины невысокой сопки в полукилометре от нас на западе уже виднелась широкая долина, где нас должен был подобрать грузовик. В лучах низкого солнца там можно было разглядеть небольшое, голов на триста, стадо сайгаков в клубях пыли. К концу лета степь выжжена, и бегущие по степи копытные выбивают пыль. Стадо перемещалось быстро, оно явно убегало от кого-то.

Вскоре в хвосте стада обозначилась одинокая черная точка. Определенно, волк-загонщик! Мы, было, приготовились смотреть сцены волчьей охоты. Но минуты спустя загонщик вдруг отделился от стада и направился в нашу сторону.

Опускаю испуг и нервные приготовления к бою. Пережду сразу к финалу. Выскочивший из-за скального выступа волк-загонщик оказался, к нашему облегчению, большой черной собакой, кобелем. Шагов за десять он пал на брюхо и пополз, скуля и умильно улыбаясь. Услышав ласковые интонации, вскочил и произвел танец собачьего восторга. Экстерьер выдавал в нем метиса казахской борзой и черной немецкой овчарки из охраны лагерей. Поэтому в анкете, в графе «происхождение» он мог бы написать: «из верных русланов». Впрочем, «Верный Руслан» еще не был написан.

Злобная русланова наследственность была в нем подавлена. Перед нами был охотник, расположенный к любому человеку, особенно если ты готов разделить с ним счастье охоты. И он звал нас на охоту. Оглядывался на сайгаков, отбегал, возвращался, заглядывал в глаза, лаял с визгом, с подскоком, опять отбегал. Всеми средствами собачьего языка он умолял: пошли, не медли, я выгоню их на тебя. Отчаявшись, чуть постоял, тяжело дыша, и умчался.

Спустя минуты он опять гнал сайгу по степи, в надежде найти более подходящего партнера.

Ночью состоялась наша внеплановая сайгачья охота. Удалось найти то самое стадо, так как оно недалеко ушло от места, где мы с ним расстались. Наша машина подняла сайгаков с лежки, «руслана» при них уже не было.

На другой день, за ужином из сайгачьих котлет, эта история была разобрана на банальные социально-политические метафоры. Дискуссия получилась содержательная, но закончилась дракой.

– Этот ваш пес – подобранный потомок волкодавов ВОХРы! – так высказался велеречивый Альфред Никитин. Альфред был сибирский эстонец, из тех чухонцев, кого в конце 19-го века империя переселила в Красноярский край. Романтик просторов и воли, о котором стоило бы рассказать отдельно. Он был почти альбинос. На ночной охоте в его функции входило добывать подранков, и он был очень живописен в свете фар, с его розовыми глазами и белой бородой в каплях сайгачьей крови.

– А что хозяева тех волкодавов? А их дети? – рассуждал далее Никитин. – Хозяева псов – гады, сволочи и садисты. У таких гадов дети тоже садисты. И внуки будут уроды. Ну и йух бы с ними! Но их очень много, миллионы и миллионы – вот в чем беда! И потому они сильно подпортят мораль своего поколения.

Боюсь, это его предвидение сбылось.

Другую метафору – *народ как сайгаки, которых гонят на закление*, – развил Саша. Нам, рассуждал он, нравится быть в стаде, но нам не нравится, когда нас подгоняют. Мы любим, когда нас на бойню ведут. А впереди шествует всеми любимый вождь или фюрер.

В этот момент некий московский умник пошутил насчет евреев, которые маршировали в расстрельные рвы, подгоняемые веселыми хлопцами. Как стадо. Вообще-то, заметил я, среди них были все мои деды и все мои бабки и еще многие, и не твое свинячье дело судить... и так далее. «Замри в трауре!» – вдруг подскочил к умнику Саша. Произошла короткая драка, закончившаяся членовредительством.

Драчун он был никакой. Хотя в драку вязывался легко, но на удары почти не отвечал. Прыгал, орал, матерился, размахивал руками, но удары пропускал. Я спросил, почему. Потому, отвечал он, что из-за плохих глаз он не успевает среагировать. «А, наплевать! Все равно меня давно пора сократить».

Смысл этой загадочной фразы я понял через год, после Сарыюзекской истории. Он вел себя странно: всем подряд со смехом рассказывал подробности, как будто не был особенно огорчен тем, что избит ментами. Как будто он *схлопотал* по заслугам. Это я ему и высказал.

– Конечно, по заслугам. Меня вообще пора сократить. Я незаконный продукт. – Таков был его ответ.

Вскоре, под водку, он выдавил, что его нистагм (дрожание глаз) врожденный. Возник оттого, что «мать, сука, не могла нормально родить; недосуг ей было».

Он был, оказывается, рожден в поезде, в теплушке, на перегоне Белогорск – Хабаровск, когда его мать-еврейка перемещалась из Украины на Дальний Восток к единственным своим оставшимся в живых родственникам.

– А теперь спроси: почему она осталась в живых?

Я спросил. И он, раскачиваясь и дрожа глазами, рассказал, медленно выговаривая слова, как его мать выжила в той кровавой каше. Выжила она потому, рассказал он, что не похожа на еврейку и говорит по-немецки. Но главным образом потому, что некий немецкий оккупационный чин влюбился в нее и жил с нею все два года оккупации. Перед приходом наших немец исчез, оставил ее, беременную, наедине с судьбой то ли жертвы, то ли немецкой подстилки. Вот и судите после этого о разумности бытия.

Таким образом, Саша Сендер был бесконечно уязвлен историей своего рождения. Считал себя одновременно и военным трофеем, и ублюдком войны. И сам себя приговорил: «Я пленный немец. Я же и еврей. Значит, я должен себя сократить».

Все это сделало из него буйного вольнолюбца. Его формула свободы: чем меньше силы у тебя, тем больше ты лакей. Чем больше хочешь от начальников, тем сильнее зависишь от них. Этот человек люто ненавидел лакейство и избегал лакейских положений, что не всегда получалось, так как надо же было содержать семью. Потерянную часть свободы он всегда возвращал – дурацкими выходками. Или компенсировал пьянством и распутством.

Чем сильнее привязывали его к ярму, тем глубже уходил он в запой и антисанитарное блядство и тем труднее выходил. К 1969 году, когда я закончил мои казахстанские экспедиции, он бывал чаще грязным отребьем, чем Сашей Сендером. Этот последний иногда заходил ко мне с рассказами о подонках, с которыми он общается, и об их развлечениях. Как будто хвастался: смотри, мол, как глубоко и прочно я пал... Иными словами, Саша занимался планомерным самоистреблением. И довел это дело до конца.

* * *

Спустя годы я оказался в Алма-Ате на какой-то конференции. Встретил Сашу на пыльной улице Геофизгородка. Он совсем высох и ссутулился, как будто обвис. Трemor глаз усилился. Он смотрел на меня этим своим тремором, не узнавал. Я несколько раз громко назвалса. Наконец он вяло протянул: «А-а-а, Мир» и молча стоял, глядя сквозь меня. Рассказали, что он вообще мало кого узнает. Что жена Люда с ним развелась и вернулась с дочерью в Россию. Что в очередной драке он был избит до потери разума, ныне он на инвалидности «по психике». Инвалиду было чуть больше 30 лет. Вскоре случился финальный в его жизни поход в магазин. Взявшись за ручку входной двери винно-водочного отдела, он обмяк и умер.

ЗИНКА

Зинка была совершенно белая собачка с мордой лайки, бочкообразным телом на коротких кривых лапах и бахромчатым хвостом сеттера.

Зинкина морда выражала умиление, хвост вилял, тело изгибалось и переворачивалось на спину, подставляя брюхо всякому, кто проявлял к ней какой-либо интерес. Ибо она была типичная беспородная и бесхарактерная городская шавка, вся до приторности состоявшая из жестов покорности.

За год до описываемых событий Зинка появилась на свет между штабелями ящиков на керноскладе геологической экспедиции, в ящичке из-под аммонала. Ее мать, любвеобильная Муська, давным-давно прописалась на территории экспедиции, где с перерывами на деторождение исполняла функции пустолайки. За это и за приветливый характер ее все подкармливали. «Что, Муська, все блюдуешь? Ну-ну», – ласково приговаривал сторож, высыпая в собачью миску столовские объедки.

Вряд ли Зинке удалось бы зацепиться за теплое место на керноскладе. Все Муськины щенки рано или поздно покидали гнездо и исчезали бесследно. Скорее всего, попадали на стол корейца. Напомню: дело происходило в Казахстане. Бродячая собака была обречена стать корейским куксй – замаринованной с солью, кинзой, перцем и уксусом, мелко наструганной собачатиной.

Зинке повезло: за белизну шерсти и умильную мордашку она была изъята из помета и принесена в дом к моему другу Борису Ч-ву для его дочки. Незадолго до описываемых событий Зинка еще жила в городской квартире на правах болонки. Но у дочки Ч-вых оказалась аллергия на взрослых собак. Так объяснил мне Ч-в, когда погрузил Зинку ко мне в машину, попросил увезти ее подальше и оставить где-нибудь. «Где-нибудь» означало: на базаре, около чайханы или на автостоянке под забором. Неужели на Зинку легла тень куксй? Нет, решил я. Отвезу-ка я ее в Кара-Чок.

– Напрасно, – пожал плечами Ч-в. – От судьбы не уйдешь. Кому суждено быть съеденным, в говне не утонет.

Именно так, слово в слово, он и выразился.

* * *

Зинку я передал на попечение стаи казахских пастушьих собак, которая обитала на полевом стане совхоза Кара-Чок.

– Совхоз-миллионер Кара-Чок! – подчеркнул директор совхоза, давая мне разрешение поселиться и столоваться на полевом стане. И указал место для моего балка, недалеко от саманного домика кухни. Место шумное и мухобойное, но выгодное тем, что можно было подвести электричество от казенного генератора и вечерами работать при нормальном свете.

Балóк, балка́, балко́м, в балке́, с ударением на втором слоге. Сравнительно недавно миллионы людей мечтали о своем балке́, а

ныне приходится напоминать. Длиною метров восемь вагончик, с входом посередине в тамбур с железной печкой. Из тамбура направо-налево по комнате, в комнатах двухэтажные нары. Мой балок был крыт шифером, под которым угнездились воробьи. Скоро я стал различать оттенки воробьиного чириканья. Оказывается, на гнезде воробьи нежничают и даже воркуют.

Замечу, что Кара-Чок существует и сегодня, в качестве кооператива. Найдите его в Гугле, отмерьте 10 километров по проселку на восток. Площадка с раскиданными домиками и сельхозинвентарем – то самое место. К слову сказать, в Интернете можно найти и материал о сегодняшних трудовых успехах данного предприятия. Перо журналиста без смущения выводит: урожай пшеницы составляет 12(!) центнеров с гектара, чем гордится коллектив.

* * *

Странно было видеть Зинку в Джунгарии среди казахских пастушьих собак с их классически-прекрасным экстерьером степной гончей: длинная морда, длинное узкое тело, лапы длиннопалые, на высоких твердых подушках. Собаки обитали при казахском стойбище на дальней периферии полевого стана. Раз в день они получали затюренную на оброте мучную болтушку. В основном же кормились «от земли», мышковали, как лисы.

Зинку они допустили к болтушке, не протестуя. На правах недавней горожанки она иногда получала и кухонные обеды от обитателей полевого стана. Мы первое время ее тоже подкармливали, постепенно сокращая порции, как бы подталкивая ее к натуральной жизни. Магазинные котлеты, купленные в Сарыозеке по шести копеек за штуку, были как раз из этого ряда.

Однако некому было Зинку мыть. И никто не принуждал ее к купанию в ручье, который протекал неподалеку. За считанные дни Зинка стала серой, как дорожная пыль в степи.

Горше всего был найденный ею способ добывать дополнительное питание. Мышковать она не была обучена. Она компенсировала недостаток еды кормлением от человеческого нужника. Будучи застуканной за этим занятием, она перестала быть допускаема в наш балок. Зинка стала парией.

– У нас говорят: если собака не ест говно, у нее голова болит. – Таковы подлинные слова, произнесенные по этому поводу Газизом Оразбековым, моим тогдашним авторитетом в степных делах.

Газиз знал что говорил. В будущем его ждала значительная карьера по двум параллельным лестницам – партийной и производственной. Он уверенно шел вверх, вооруженный вышеуказанным рецептом от головной боли, и на вершине жизни стал жирным одышливым бонзой. Но пока что это был скорый на ногу и быстро обучающийся профессии молодой геолог, ничуть не озабоченный судьбой собаки Зинки.

* * *

Здесь необходим комментарий о космосе Зинаид. Имя Зинаида, ныне почти забытое, в те времена было весьма распространенным. При этом множество Зинаид строго и роковым образом делилось на две, количественно почти равные, категории: суровые целеустремленные Зинаиды и глупые слабовольные Зинки. Жизненный путь первых пролегал через педвузы и парткомы. Из них получались строгие учительницы немецкого языка и методисты партучебы. Вторые же были настолько глупы, что располагались на нижних этажах человеческих обществ. На войне их забирали в банно-прачечные отряды. В послевоенное время они шли в лимитчицы и пополняли ряды простых русских давалок. Определенно, имя Зинка подходило нашей собаке как нельзя лучше, ибо она относилась ко второй категории.

Несколько раз я брал ее с собой в маршрут. Она весело бежала рядом, не проявляя никакого интереса к изобилию живой еды вокруг. Шныряли ящерицы. Я тыкал ее носом в кротовины, в чьи-то мелкие норы, даже в лисью нору. Полное равнодушие! Зато она долго и неотрывно наблюдала за трудами скарабеев над навозными шариками. Как будто набиралась опыта.

Жизнь стаи шла своим собачьим чередом. Взрослые облаивали чужаков, гоняли скотину, ходили в степь. Мамки, возвращаясь из степи, срыгивали щенятам. Щенки учились собачьему делу. К концу нашего сезона подошла пора Зинкиной течки. Зинка, деловито трусящая на коротких лапах, и за нею кавалькада загипнотизированных длинноногих красавцев – это последнее, что мы увидели из кабины грузовика, покидавшего полевой стан совхоза Кара-Чок.

Сидевший за рулем шофер Курочкин фантазировал варианты сочленения нашей лилипутки и кобеля-баскетболиста. Я же припомнил московскую историю о том, как маленький беспородный, но чрезвычайно умный песик Кузя огулял огромную догину. Случилось это во дворе кооператива художников, что на Войковской, где любовники за считанные минуты приспособили для этого дела лавку. Не успели они расклевещениться, как мир художников вздрогнул. Хозяева догини, пейзажисты, навек стали врагами Кузиной хозяйки, художницы по тканям. В общем, я убедил Курочкина, что неодолимый инстинкт неизбежно выведет Зинку к груде сельхозтехники, где довольно удобных ей и ее баскетболистам лавок и ступенек.

Спустя год я вновь оказался в тех местах. Знакомая стая собак по-прежнему обитала на отшибе, в стойбище. Но уже без Зинки. Санжар рассказал, что ее видели, когда на зиму они перемещались вниз, в Илийскую долину. Она путалась под ногами, когда грузили юрты и прочий скарб. И когда гнали скотину, она трусила вместе с прочими собаками. Была ли она брюхата? Кажется, да. Но когда скотину пригнали, Зинки уже не было. Она пропала на одной из ночевок.

Выходит, Ч-в оказался прав, Зинку нашел нож корейца-мясника, и могилой ей стала миска с кукси. А вдруг нет? Что, если она задержалась при дороге родами? Оценилась где-нибудь в бурьяне и произвела на свет новую породу облагороженных казахскими генами Зинаид. Которые умеют все, что должны уметь приличные собаки-универсалы, – и сторожить, и овчарить, и мышковать. И при этом не страдают от головной боли.

ДВЕ КОЛДУНЬИ

Ручьем, протекавшим с востока на запад, лагерь делился на два – южный, где на полевом стане разместился мой балок, и северный, где среди тамарисковой рощицы мы обитали в палатках. Ручей был ничтожный, на один прыжок. В июне ему предстояло вовсе пересохнуть. Но пока что в нем струилась вода, в которой по ночам отражалась лунная дорожка и квакали лягушки. Короче говоря, палаточный лагерь был вправе именоваться заречным.

От палаток через ручей, в ста метрах по прямой на юго-восток, было небольшое казахское стойбище, где хозяйничала старая казашка Батыш. Палатки и стойбище составляли короткое основание удлинённого треугольника, в дальней вершине которого находился каменистый пригорок. На его плоской макушке, на фоне далеких снежных вершин Джунгарского Алатау, торчал древний каменный истукан, или каменная баба, или, по-казахски, *балбал*, в седой патине от многовековой коррозии птичьим пометом. Такова была сакральная геометрия территории, на которой обитали и оперировали две колдуньи, Батыш и Эльвира.

* * *

Старая казашка Батыш, в белом тюрбане и белой хламиде, согбенная и широкая, медленно передвигалась по территории полевого стана вслед за двухгодовалым внуком. Бутуз был колоритно одет в чекмень с пришитыми на плечах цветными пуговицами – от сглаза. Было заметно, что надзор стоит ей немалых усилий, ибо бутуз был подвижный. Он стремительно перемещался, разглядывал и ощупывал навесные и прицепные штуковины, беспорядочно раскиданные по территории стана.

– Хороший пацанчик, любознательный, – поделился я с Газизом Оразбековым. Он был вхож в юрту почтенной Батыш, где она угощала его чаем.

– Не хвали пацанчика, – сказал Газиз. – Можешь сглазить.

– Ни в коем случае! У меня глаз добрый.

– Ты сам не знаешь, какой твой глаз.

Вторая семейная функция Батыш состояла в общении с богами и духами. Ее маленькая семья – сын Санжар, невестка и внук – жила в двух юртах, имела загон для нескольких коров, ишака, коз и овец, плюс кое-как сбитый из горбыля сараюшка с сеном и штабелями кизяка – вот все хозяйство, не считая собак и кур. Все это определенно нуждалось в защите от сил зла.

От меня ускользнуло, по каким случаям происходило общение Батыш с богами. Но время от времени ветер под утро доносил из стойбища вместе с кизячным дымком ее горловое пение в сопровождении треньканья погремушек и визга кобыза. Совхозная повариха, пожилая немка, должна была хорошо слышать эти камлания, ибо ночевала в соседней со стойбищем хибаре. Но стоило мне заговорить с нею об этом, как она тотчас онемела: *“Ich versteh’ nicht”*. Она задерживала этот свой *“versteh’ nicht”* всякий раз, когда тема грозила ей неприятностями, как, например, тема выселения ее семьи из города Энгельса.

Заинтригованный, я продолжал допытываться у Газиза: кому адресуются камлания старой казашки? обличает ли она кого или просит? о чем просит? Вряд ли просит о благополучии стад или об урожае. Степи распаханы, стада взяты в колхозы и пущены под нож.

В конце концов, степной человек Газиз Оразбеков разъяснил: в общем и целом, Батыш молится Тенгри. Молится о том, чтобы Луна, как в прежние времена, нисходила в стойбище и угощалась кумысом. И чтобы замолвила доброе слово перед святыми предками.

И это все? Нет, не все. А еще она в своей молельной юрте колдует. Она водит компанию с демонами этих мест, отгоняет злых духов, накладывает заклятья, оберегает своих ближних от вредоносных колдунов.

Вот оно! Наконец-то нашли объяснение маленькие пучки серых свиных перьев, прицепленные там и сям по кухне и столовой. Оказалось, что немка-повариха состоит в охраняемом колдуньей магическом кругу. Делать нечего, я тоже попросился в этот круг. Вскоре над окнами и дверьми моего балка появились казахские перьевые обереги.

Этому предшествовал некоторый обряд инициации. В него входило сидение «на троих» в юрте Батыш. Она со стороны наблюдала, как ее сын Санжар, Газиз и я по очереди отпивали небольшими глотками из передаваемой по кругу большой пиалы с хмельным напитком *коже*, который представлял собой забродившее в кумыс просо. Кумыс следовало глотать, отцедив просо между зубов, затем, не торопясь прищипывая, просо сжевать.

Атмосфера приема была бы гнетущей, если бы не комичное крысиное выражение, которое появлялось на лицах при процеживании-прищипывании. Разговор о том – о сем то и дело замирал. Вообще, стойбище Батыш было царством серьезности.

Став «своим», я получил санкцию Батыш на доступ к сакральному знанию, а именно – на ознакомление с содержанием некоторых ее бормотаний. Газиз, пересказывая их, запинаясь, с трудом подыскивал слова. Признавался, что страшится того, что сам произносит. Спустя годы я опознал эти ее бормотания среди халдейских заклинаний в книжке Шарля Фоссе про ассирийскую магию.

Теперь - внимание! Читаем формулу заклятья Батыш в переводе Газиза Оразбекова и невольной редакции Ш.Фоссе; читаем молча, дабы звуками не накликать беду: *«Чтоб твои слова вернулись тебе в рот, колдунья. Чтоб язык твой был отрезан. Пусть рот твой будет из сала, а язык из соли. Пусть злые слова твои против меня растают, как сало. Пусть злые чары твои растворятся, как соль»*. И так далее.

Этой формуле предшествовали скупо упомянутые Газизом некие ритуальные действия и именование богов, которыми заклятье освящено. С определенностью можно утверждать, что произнесшая сие заклятие не молит богов об услуге, но, опираясь на их авторитет, сама старается вколотить противника в землю по шею.

Да, то был настоящий магизм. Вероятно, он сохранился в джунгарских верованиях потому, что советская беда 1930-х годов, затопившая степи, схлынула прежде, чем докатилась до здешних мест.

* * *

Итак, Батыш не ограничилась мерами защиты от зла, но изгоняла и уничтожала его всеми доступными ей магическими средствами. Теперь перейдем к той, которой ее заклятья был адресованы.

Дело в том, что ее сын Санжар, сторож полевого стана, стал отворачиваться от жены. Молчаливый и степенный молодой мужчина вдруг стал несолидно суетлив. Он был замечен слоняющимся без дела вдоль ручья. Его темное неулыбчивое лицо, когда он обращал его на север, выглаживалось и светлело. Санжар таял от любви. Организм толкал его на тот берег, к красавице Эльвире.

Батыш это поняла и приняла свои меры. По сей день я поражен и восхищен размахом ее замысла, в котором были учтены все факторы, включая и мое невольное участие в битве на ее стороне.

* * *

Огромные фарфорово-голубые, слегка навывкате глаза, русые волосы в косе, молочно-белая кожа, вычерченные губы в вечной полуулыбке, высокая грудь - да, это невозможно забыть. Все это было дано русской красавице лет тридцати по имени Оля, которая просила называть ее Эльвирой. Повариха по профессии и Кармен по натуре, она была женщина-лидер, ловец мужских и женских душ.

В заречной половине моей партии, палатки которой белели на другом берегу ручья, Эльвира пользовалась безусловным авторитетом. Канавщики, дюжие и грубые мастера кирки и лопаты, ее обожали и прощали ей все - и плохо приготовленную еду, и острый язык. Даже к мужу, шоферу Клейменову, они ее не ревновали.

Стоило Эльвире в ответ на чье-то недовольство и угрозу

произнести грудным голосом: «Что, мой дорогой, решил б**дь му**ми пугать?», как недовольство таяло в общем хохоте. Другой, нематерный вариант того же: «Мельничная мышь грома не боится», произносился звонким голосом активистки-комсомолки.

К Эльвире прислонилась женская часть партии. Их было две, типичные геологини, давние выпускницы провинциальных техникумов, Тоня и Лариса. Тоня была замечательна нервным лужаньем семечек, в том числе арбузных и дынных. След семечной шелухи тянулся за Тоней, как слизь за слизняком. Ее товарка Лариса была любительницей дамской поэзии и сама стихи пописывала. Пописывала она и доносы, но об этом другой рассказ. Эти немолодые и некрасивые женщины не теряли надежды устроить свои женские судьбы. Надежды поддерживала Эльвира. Она гадала и выгадывала им на картах весьма сложные жизненные расклады со счастливым концом. Кроме того, она вооружила их таким мощным инструментарием, как различные приворотные магические фокусы, – впрочем, с заметной долей цыганщины.

Как ни скрытничали женщины, но некоторые из магических процедур, а именно: сжигание волос, бумажек с надписями, какие-то заклинания, притирания и вычерчивания знаков на пороге – стали известны и живо комментировались. Более всего интриговала публику процедура обнажения при луне. В полночь они тайком пробирались на каменистый пригорок, чтобы там, рядом с балбалом, раскинуться нагишом, с взглядом, обращенным к луне.

Боролись два мнения относительно половой роли балбала в этом магизме. Некоторые полагали, что роль чисто мужская (истукан же). Большинство склонялось к тому, что – женская, ибо только баба, тем более каменная баба, способна утешить и дать надежду. Но вряд ли балбал им сочувствовал. Ибо когда они принимали дневные воздушные ванны на пригорке, вдали от мух, Тоня оскорбительным образом сорила семечками, а Лариса крепила на балбале тент. Добавил недовольства и балбес Курочкин с его пантомимой, как он лапает эту каменную бабу и будто бы склоняет к сожительству.

Батыш положила конец этому безобразию девятого мая.

День Победы, с недавних пор выходной, был еще свежим праздником. Мы его уже крепко отметили накануне вечером под тентом столовой, освещенной электричеством. Вокруг ламп толпились мотыльки, тархтел электрогенератор. Поминали погибших. Среди нас каждый второй был без отца, поэтому в этот праздник каждый горевал своим личным горем.

Чувствительные канавщики и грубиян Клейменов прослезились. Проклинали немцев, несмотря на присутствие немки-поварихи. Немка пила водку мелкими вежливыми глотками и делала вид, что *verstehst nichts*.

В какой-то момент от избытка чувств запели. В стойбище Батыш завыли собаки. Постепенно тоска горестных утрат заместила

светлым опьянением. Геологиня Лариса принялась читать Веронику Тушнову: «А знаешь, все еще будет! /... меня на рассвете... / Губы твои разбудят» и т.д. Голос чтицы прерывался, слушатели подсказывали.

Наконец, Эльвира отсела в сторонку и достала карты. Женщины, не стесняясь, встали в очередь на гадание. Саша и прочие канавщики продолжали пить, но уже отяжелели. Вечер шел мирно. Значит, обойдется без драки, – подумал я и пошел спать. Засыпал с мыслью, что работа замрет дня на три, так как неизбежны запои.

* * *

Обычно первым под утро пробуждалось хозяйство Батыш. Ойкумена заполнялась петушиными голосами, мычаниями, бляениями, собачьим лаем и ревом ишака. Гроыханием кастрюль отзывалась кухня. У меня под боком звучали мои «домашние» воробьи и недавно пойманный лисенок-карсачонок в ящичке из-под аммонала. На рассвете он звал мать своим тоскливым тявканьем. Иногда она кашляла ему в ответ откуда-то издалека.

Девятого мая все эти теплые звуки были подавлены женскими воплями. Из заречного лагеря неслись жалобные «ва-ва-ва-ва», похожие на плач подстреленного зайца. Я выскочил наружу, наткнулся на Санжара и его мать. Санжар явно волновался. Батыш ему выговаривала теми же мягкими интонациями, какими выговаривала внуку.

Санжар не ошибся: вопила Эльвира. В заречном лагере грубиян Клейменов изощренным образом истязал свою законную жену. Опущу подробности. Сошлось на милицейский протокол, который был составлен в больнице г. Сарыозек по показаниям потерпевшей: «Гр-н Клейменов М. в нетрезвом виде совершил развратные действия в отношении своей жены гр-ки Клейменовой О. посредством огнетушителя (автомобильного)». Настигла нашу Кармен карающая рука ее русского Хозе, вооруженная автомобильным огнетушителем.

В больницу, срочно! Но прежде всякой больницы следовало оказать ей первую помощь и найти трезвого шофера. Не найдя такового, я сам, не имея прав вождения, сел за руль и двинулся в путь с Эльвирой и шофером Курочкиным в кузове в надежде на то, что Эльвира не истечет кровью, а Курочкин скоро протрезвеет. Так и получилось.

Между тем, пока я занимался Эльвирой в Сарыозеке, Батыш видели при свете дня на пригорке рядом с балбалом. Она била в бубен. Балбал был украшен лентами, которые реяли на ветру.

Спустя две недели Эльвира вернулась. Присмирившая и бледная, она спустилась из кабины, опираясь на Клейменова. На шумные приветствия ответила кивком и болезненной улыбкой. Оставшееся до конца сезона время они с мужем ходили под ручку. Клейменов был трезвее трезвого и жестко пресекал малейшие

намеки на происшедшее между ним и женой. Канавщики отнеслись к ним сочувственно, рассудили, что «дело семейное, всякое бывает».

Оргиастическая история, случившаяся под утро 9 мая 1967 года, пошла всем на пользу. И да устыдятся те немногие, кто не поверил в правоту и справедливость старой Батыш. Недвусмысленным жертвоприношением Эльвиры она разом покарала грешников, указала путь заблудшим и восстановила правильный порядок вещей в своем мире. И, наконец, подвела всю эту историю к элегическому эпилогу, за которым ее главных участников ждало тихое семейное счастье.

Эльвира бросила свои колдовские штуки. Дамы-геологини перестали досаждать каменному истукану и вообще притихли. Балбал продолжил свой каменный сон, привычно загаживаемый пометом степных кобчиков. И Санжар бросил слоняться вдоль ручья, вернулся к своим обязанностям мужа, отца и хозяина. Вскоре у них родился второй мальчик. Батыш успела увидеть своего нового внука, но походить за ним уже не смогла, так как раньше, чем мальчика спустили с рук на кошму, она покинула этот мир.

Через год-другой стало известно, что от всех этих переживаний у Эльвиры с Клейменовым получилось то, что прежде не получалось: она забеременела и после некоторых понятных в ее случае трудностей родила. Как и всякая Кармен, которую Хозе не зарезал, она со временем стала нормальной Олей.



Игорь Мандель – статистик, доктор экономических наук, родился и жил вплоть до отъезда в Америку в Алма-Ате, хотя публиковался главным образом в Москве; преподавал статистику в Институте Народного хозяйства; работал в американских инвестиционных компаниях в 90-е годы, занимая должности от консультанта до директора предприятий. С 2000 года в Америке. Занимается статистикой в применении к маркетингу. Публикует научные работы.

На русском языке вышли три книги иронической поэзии (в соавторстве с коллегами), статьи о художниках и на другие темы и стихи в интернетных альманахах www.Lebed.com и www.berkovich-zametki.com. Живет в Fair Lawn, NJ.

Писатель и социосистемика: прозрения Владимира Сорокина

Л. Толстой на вопрос Г. Русанова о том, правда ли, что он не читает критику о себе, ответил: *«Правда ... но вот недавно я сделал исключение для одной. Это – статья Громеки в "Русской Мысли". Превосходная статья! Он объяснил то, что я бессознательно вложил в произведение... Прекраснейшая, прекраснейшая статья! ... Наконец-то объяснена "Анна Каренина"»*

М. Алданов [1, стр. 408]

ПРЕДИСЛОВИЕ

Л. Толстой, судя по его замечанию, приведенному в эпиграфе, был большой оригинал. Обычно писатели либо смеются над попытками критиков «их объяснить», либо доброжелательно «не возражают»: мол, да, и такая версия возможна, «объясняйте дальше», а я буду писать. И дело тут, наверно, в том, что понимать под объяснением.

«Все объективное рождается только в личности и первоначально принадлежит только ей. "Гамлет" только раз цвел всей полнотой своей – в Шекспире, "Сикстинская Мадонна" – в Рафаэле... ценность свободна и правдива только в младенчестве, когда, безвестно рожденная, она играет, растет и болеет на воле, не привлекая ничьих корыстных взоров. Потом мир вовлекает цветущую ценность в свои житейские битвы. В мире ее полнота никому не нужна. Мир почуял в ценности первородную силу, заложенную в ней ее творцом, и хочет использовать эту силу для своих нужд; его отношение к ней – корысть, а корысть всегда конкретна.

Оттого в общем пользовании ценность всегда дифференцируется, разлагается на специальные силы, частные смыслы, в которых нет ее полноты, и, значит, сущности... Наконец, полезность становится общепризнанной ценностью, и ее венчают на царство» [2, стр. 34].

В этих точных строках М.Гершензона ухвачена очень важная особенность эволюции любого знания, особенно, конечно, гуманитарного. Л.Толстой, по-видимому, углядел в тексте Громеки некую ценность и тут же использовал ее «для своих нужд» (что объяснимо при его общей нацеленности на моральные аспекты проблемы, о которых Громеко применительно к роману и писал) – но, естественно, это не есть полное объяснение. И уже тем более не то объективное, что «рождается только в личности». Миллионы почитателей гения увидели в романе нечто иное, что бы ни говорил сам автор. Подобные феномены странного забвения, оказывается, имеют весьма универсальную природу. Нобелевский лауреат психолог Д.Канеман предлагает использовать термин «два самих себя» (*two selves*): один – переживающий в данный момент, другой – вспоминающий о пережитом [4]. Разница между ними принципиальна, что надежно доказывается экспериментами в той мере, в которой состояния подлежат измерению (см. «О количественных параметрах забывания прочитанного» [10]). То «живое чувство», в котором, безусловно, писалась «Анна Каренина», – отнюдь не то, что вспоминал позднее сам автор, читая статью критика. В зорь между этими феноменами – бытием и воспоминанием о нем – попадает (и очень часто пропадает в нем) чрезвычайно многое.

В этом смысле я очень далек в своих заметках от задачи «объяснить» творчество Владимира Сорокина, а также извлечь из него какую-то ценность в духе Гершензона. Его уже «объясняли» много-много раз, под разными углами зрения [3, 5 – 8 и др.]. Н.Александров считает Сорокина «главным философом современности» [3] – и действительно, творчество В.Сорокина, взятое как целое, есть некая философия. И пусть неясно, «главный» ли он философ современности, – но, безусловно, я понимаю отчаяние критика, который предпочитает рассматривать блестящие художественные тексты, а не безнадежно противоречивые современные философские трактаты. В них, в текстах, есть некая убедительность жизни – а в постмодернистском дискурсе ее нет.

Что мне интересно, так это показать, как творчество одного из самых значительных и необычных современных писателей корреспондирует с моей собственной попыткой представить некую точку зрения на способы постижения социальной картины мира – с позиций так называемой социосистематики [9]. В этом – главная цель статьи. Сорокин, который за 35 лет творчества охватил, кажется, все самое важное вокруг, подходит для сопоставления двух взглядов на мир – научного и художественного, – как никто другой. Важным моментом для меня является также то, что мы с ним принадлежим одному поколению первой половины 50-х, то есть, в принципе, мы

реагировали почти на одно и то же, хотя и по-разному.

Очень трудно писать о литературе, даже если она и есть «философия», с позиций науки. В первую очередь, потому, что главное в В. Сорокине – его огромный талант стилиста, бесконечная изобретательность, умение передать абсолютно разные аспекты человеческой жизни, любопытство, бесстрашие – то есть именно то, что делает его писателем, а не философом. Не будь этого – все остальное, то есть его же концептуализм, постмодернизм, анти тоталитаризм, гностицизм [5] или постструктурализм [7] – вызывали бы (по крайней мере у меня) не больше интереса, чем сотни книг на эти темы, которые можно посмотреть, но никак нельзя полюбить. А тексты Сорокина завораживают; от них нельзя оторваться, даже когда они касаются совершенно отвратительных вещей и вызывают почти физическую рвоту. Как в такой ситуации отделить объективный анализ (он возможен?) от естественного желания просто поделиться с другими своим восторгом от какого-то кусочка текста? Основная для меня сложность при написании данного эссе – удержаться в рамках приличия, не заниматься анализом его текстов с позиций читателя или тем более критика, но при этом как-то избавиться – путем изложения на бумаге – от желания (накопившегося за 20 лет чтения Сорокина) что-то насчет него обобщить, чтобы наконец разобраться. Эта задача очень трудна, и я часто невольно скатывался в интерпретации – тем самым впадая в классический грех переоткрытия давно известных истин, ибо я не владею всей огромной критической литературой об авторе и, соответственно, почти наверняка все мои интерпретации были уже сделаны кем-то (включая самого В.С.). Этот грех я заранее беру на душу.

И последнее: данное исследование показывает, каким образом вообще можно изучать творчество писателя количественными методами и тем самым приближать его понимание к стандартам социосистемики. Технически, это напоминает анализ поэзии О.Мандельштама [11], но выполненный на материале прозы и под иным углом зрения. Если читатель интересуется только методологией, но не собственно творчеством В.Сорокина, он может посмотреть только части 1 и/или 2.

1. СОЦИОСИСТЕМИКА КАК НЕДООСУЩЕСТВЛЕННЫЙ ПРОЕКТ

Социосистемика, как она рассмотрена в статье [9], есть наука об объединении знаний всех других общественных наук в некую систему, которая позволяла бы заинтересованным лицам принимать наиболее взвешенные решения. Например, хочет какое-то лицо выделить миллиард долларов на борьбу с глобальным потеплением – а социосистемика ему в форме вежливого компьютерного напоминания говорит, что потепление, может, и есть (еще, правда, не доказанное), а вот про его искусственную природу можно точно сказать, что это блеф. Ergo – не трать

миллиард, пригодится на что-то иное, скоро само собой похолодает. Или: хочет другое лицо жениться на прекрасной девушке, а наука ему говорит – это, конечно, замечательно, но комбинация ваших генов такова, что риск рождения смертельно больного ребенка вырастает в восемь раз по сравнению с обычным. Подумайте – готовы ли вы идти на такой риск. А если вы скажете, что готовы и все равно хотите и жениться и иметь детей, – то имейте также в виду, что в случае смерти ребенка риск взаимного отчуждения и развода в три раза выше обычного. Так что я, социосистемика, советую либо не жениться вообще на этой девушке, либо по крайней мере не заводить своих детей.

Приведенные и подобные примеры можно множить до бесконечности. Главная идея этой науки в том, что она предполагает автоматическую аккумуляцию океана знаний таким образом, чтобы появилась возможность, во-первых, не пропустить чего-то очень важного и правильного, но непопулярного, и, во-вторых, извлечь требуемое заключение автоматически и с минимальными ошибками. Свободная воля должна быть оставлена для принятия наиболее обоснованного решения, а обоснованность (информированность) понимается как адекватное отображение всего человеческого опыта. В этом аспекте социосистемика должна играть роль некоего «всеобщего синтезатора знаний», приспособленного для пользования на повседневной основе. Нечто вроде *Google*, который на любой социально ориентированный вопрос дает не тысячи ссылок, а один внятный ответ – что делать по данному поводу, – сопровождаемый количественной оценкой достоверности этой рекомендации.

Основные идеи социосистемики можно вкратце описать следующим образом.

- Любой социальный объект (человек, группа людей, организация, страна и др.) на данный момент есть следствие принятых ранее этим объектом (то есть в конечном счете человеком) решений. Если бы они были иными, его состояние было бы также иным. На каждое решение влияло множество факторов, осознанных и неосознанных, рациональных и нерациональных, и т.д. Принятие решения осуществлялось в зависимости от комбинации этих факторов и их восприятия в сознании ЛПР (лица, принимающего решение).

- Решения принимаются не потому, что они оптимальны (в любом смысле слова), а потому, что они попадают в какой-то приемлемый для ЛПР интервал *целевого показателя*. Риск, связанный с принятием любого решения, сложным образом учитывается в определении этого интервала. Так, для стрельбы по самолету, который «донецкие сепаратисты» приняли за украинский, требуется, чтобы чувство риска практически отсутствовало (т.е. они всерьез не задумывались, что самолет вообще не тот).

- Эти комбинации уникальны для каждого человека и для каждого момента времени, поэтому говорить об их моделировании

можно только при наличии очень сильных предположений (которые здесь не обсуждаются и фактически не выполняются). Поэтому никакие *причинные модели* не в состоянии сделать предсказание на уровне индивидуума, но могут делать лишь какие-то частотные предсказания на уровне совокупности (см. подход, развитаемый в [12, 13]).

- Для правильного понимания социальной жизни (и, соответственно, ее корректного отражения в моделях) требуется использовать *адекватный язык* описания действительности. Этот язык должен быть абсолютно свободен от таких вещей, как политическая корректность; табуированные зоны (гендерные, расовые, религиозные и другие отличия, фундаментально влияющие на многие процессы, но очень часто обходимые «большой наукой»); зависимость исследователя от школы, группы, социального или материального заказа; и пр. Язык должен быть взаимоприемлемым, одинаково интерпретируемым и формально используемым.

- Такие требования к языку не есть возврат к логическому позитивизму Б. Рассела или Р. Карнапа (это невозможно и не требуется). Он должен подчиняться требованиям определенной вероятностной (не Аристотелевой) логики. Главным стержнем такого языка выступает некая система, оценивающая *правдоподобность фактов* по определенной шкале. Наиболее надежными фактами являются базисные физические (и частично биологические) наблюдения (их надежность равна 100%), наименее надежными – определенные философские или социальные высказывания (такое, как «жизнь каждого человека определяется его персональными демонами и ангелами»), надежность которых равна нулю.

- Правдоподобность высказываний определяется сложным образом через правдоподобность фактов и правила вывода, с учетом разных *теорий истинности* (которых по меньшей мере семь [9]), в том числе теории, по которой истина – это то, что поддерживается большинством людей. Ясно, что если этого не учитывать, то фразы типа «Израиль – злобный агрессор» и «Израиль защищает свое существование» будут иметь полярно разную оценку истинности в разных частях земного шара. Формирование истинности высказываний – итеративный процесс со многими участниками, в котором крайне важна его прозрачность и проверяемость.

- Социосистемика, как бы она ни старалась быть объективной, не может игнорировать тот факт, что мир есть место, раздираемое противоречиями и насилием. В таких условиях сама терминология, к единству которой она призывает, безусловно, должна отражать разные стороны конфликтов и тем самым терять свою универсальность (пример с Израилем ясно это показывает). Это поневоле погружает ее в поле дискурса о теснейшей связи языка

и насилия, о чем много пишут философы [14] и литературоведы [15]. Однако в той мере, в которой не существует иного равенства, кроме как равенства перед законом, не должно существовать паритета в позициях конфликтующих сторон. В этом отношении универсальность предполагаемого языка должна быть добровольной – его используют те, кто считает нужным (и, соответственно, пользуются плодами унификации). Это, однако, не снимает многих спорных проблем.

В предположении, что подобные вопросы как-то решены, дальнейшая часть социосистемики посвящена проблемам обработки данных такого рода и здесь не рассматривается.

Претензии социосистемики могут выглядеть либо как тривиальные, либо как несбыточные или идеалистичные. Тривиальными они кажутся потому, что, вроде, современная наука и так делает все, что в ее силах, для полной информированности ЛПР. Но это иллюзия, по огромному количеству причин – от социальной организации самой науки (приводящей к политически или идеологически сдвинутым рекомендациям) до принципиальной непроходимости каналов, по которым информация поступает к ЛПР (в силу структурных особенностей управления, избытка информации и недостатка понимания, невозможности правильной фильтрации и пр.). Эти причины частично обсуждались в статье [9]; я не буду повторяться.

Несбыточными претензии могут казаться также по очень весомым причинам (огромные, хотя и разрешимые, по моему мнению, технические трудности на пути создания действующей компьютерной системы такого типа [9]) – но и это не является предметом научной части данного эссе. Предметом является некое свободное обсуждение одного феномена: тот самый синтез, о котором печется социосистемика, имеет удивительное сходство с другим синтезом – с тем, который возникает в искусстве.

Связи науки и искусства в целом – неисчерпаемый предмет. Леонардо да Винчи был склонен считать их вообще синонимами (живопись должна строго следовать законам перспективы, анатомии и пр.), что в то счастливое время еще можно было как-то объяснить нерасчлененностью знания. Но идея о глубокой связи этих двух взглядов на мир, претерпев множество модификаций, становится с тех пор не менее, а более привлекательной и распространенной. То А.Эйнштейн заявит, что Достоевский для него важнее Гаусса; то Нильс Бор скажет, что кубизм Пикассо – как раз тот язык, на котором можно понять современную (20-е годы) модель атома [16, стр. 76]; то М.Пруст рассматривается как ученый-невролог [17]; то Нобелевский лауреат Э.Кандель показывает, как австрийские экспрессионисты начала века (Г.Климт, О.Кокошка, Э.Шилле) предвосхитили многие открытия современной науки о мозге или способствовали им [18], и т.д. То есть взаимопретекание идей из двух огромных сфер человеческой деятельности само по себе – вещь многократно наблюдаемая. В последнее время даже появились

предложения по непосредственному использованию этого факта путем организации кафедр искусства на физических факультетах [25].

Я не в состоянии рассматривать эти проблемы во всей их сложности. Ясно, что искусство, каким бы пронизательным и глубоким оно ни было, не может заменить науку, и никто от него этого не ждет. Но есть переходная зона, в которой и происходит «большой контакт» двух взглядов на мир. В этой зоне представители двух миров создают *метафоры*. По сути, это единственная вещь, которая и может объединять два столь разных способа познания мира и взаимно питать их. Объединять неустойчиво, но чрезвычайно плодотворно. За счет чего это происходит?

Рассмотрим одну из самых знаменитых литературных метафор: "*All the world is a stage, And all the men and women merely players*" («Весь мир – театр, / В нем женщины, мужчины – все актеры». У. Шекспир. «Как вам это понравится» / Пер. Т. Щепкиной-Куперник). Она, как и другие метафоры (разновидности аналогии), построена по принципу: какой-то аспект «мира» похож на игру в театре; этот аспект важен; в силу важности можно заявить, что весь мир и есть театр, хотя, конечно, в буквальном смысле это не так. Приравнение какого-то аспекта (игровой природы людей) всему миру означает подчеркивание важности этого аспекта. Но этого недостаточно: подчеркивание должно быть нетривиальным, иначе метафора (сравнение) станет плоской. То есть трудность создания по-настоящему хороших метафор заключается в совмещении двух противоречивых вещей: в нахождении такой черты объекта сравнения, что она достаточно важна, чтобы сказать, что одно равно другому, – с одной стороны; и в том, чтобы подобная черта не лежала на поверхности, не осознавалась как очевидная, – с другой. То есть если аналогия – это сопоставление отдельных черт, которые кажутся близкими, то метафора – такая аналогия, которая использует только очень важные, да еще и не сразу воспринимаемые черты. Аналогия – вещь, в целом очень простая, ибо находить нечто общее можно практически всегда. Как прием научного исследования она тщательно изучена, многие ее виды расклассифицированы [19]. Точно так же подробно исследованы и метафоры [20]. И тут возникает довольно парадоксальная ситуация.

Наука базируется (или по крайней мере должна базироваться) на четких определениях своих собственных понятий. Под четкостью понимается ясное указание предмета определения – такое, что он воспринимается одинаково как можно большим числом людей. Скажем, никто не спорит с такими определениями, как метр, килограмм или водород, – в этом одна из главных (если не главная) причин, по которой математика и точные науки бурно развиваются и не знают никаких территориальных границ. Но чем ближе познание приближается к человеку или, тем более, к обществу в целом – тем меньше точности в определениях. Такие слова, как

либерализм, фашизм, свобода и масса других, применяемые миллионами людей, имеют сплошь и рядом совершенно противоположный смысл. В этом, опять же, одна из фундаментальных причин, по которой социальные науки (как и социальные практики) развиваются, мягко говоря, не адекватно чисто техническому прогрессу.

Метафоры науке явно противопоказаны. Знаменитое разделение способов мышления на *две культуры* (гуманитарную и научную), сделанное Ч. Сноу в конце пятидесятых [21], подтвердило свою справедливость с течением времени, хотя опасность науки «метафоризироваться» (и тем самым стать «не наукой») никуда не делась.

Но метафоры Сорокина не только новы, остры и стилистически блестяще выполнены – они затрагивают чрезвычайно важные вещи, настоящие, а не выдуманные проблемы. Единственный инструмент писателя – язык – используется В.С. совершенно виртуозно во всех ситуациях. Метафора может быть выражена одной блестящей фразой (которая обычно называется афоризмом), типа той фразы Шекспира о мире – театре (или ее профанного варианта: «весь мир – бардак, все люди – б**ди»), и есть великие мастера такого рода. Но есть и другой путь: метафора создается показом некоей ситуации, иллюзией ее правдивости, то есть «чистой литературой». Сорокин создал уникальный мир именно такого рода; в его метафоры веришь не потому, что красиво, а потому, что обыденно. Он, с одной стороны, ставит героев в совершенно немыслимые ситуации, но, с другой, описывает эти ситуации как обычные и узнаваемые. В логике такому способу мышления соответствуют «определения путем показа»: вместо того, чтобы давать дефиницию стола, можно просто указать на конкретный стол и сказать: «все, что как этот предмет, – стол». Вместо строгих определений науки, которые к тому же не разделяются всеми учеными (не говоря о прочих), В.С. выдает образы, которые, в силу мощной эмоциональной компоненты, заставляют с собой «соглашаться» почти всех читателей – и эти образы очень часто и есть искомые определения. Он, таким образом, провоцирует «культуру-2» (то есть то, что наиболее близко к понятию науки в строгом смысле слова [21]) придумывать термины, чтобы четко охарактеризовать его беспощадно правдивые образы, то есть перевести определения «стола» путем показа в определения его же путем слов. Именно этот эффект, наряду со множеством других (о чем речь ниже), делает творчество В.С. уникальным и наиболее интересным с позиций социосистемики.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЗЫ В. СОРОКИНА

В. Сорокин напоминает мне не столько философа, сколько полевого исследователя, холодного и бесстрашного наблюдателя, который залезает в разные складки общественной жизни, очень

часто темные и скрытые, и проецирует на белый лист бумаги все, что там увидел и подслушал с беспристрастностью фотокамеры с диктофоном. Игорь Ефимов однажды сказал мне, что он не чувствует у Сорокина жалости к героям и поэтому не может автору сопереживать. Я, подумав, согласился, что часто (но далеко не всегда – см. пронзительно лирические произведения «Сердечная просьба», «Черная лошадь с белым глазом», «Путем крысы» и многие другие) это так и есть – что, однако, никак не снижает моего интереса. Ощущение подлинности захватывает независимо от того, испытываешь ли ты жалость (или иные чувства) или нет. Это странное явление, когда писатель «подглядывает» и не видит при этом никаких границ своему любопытству, представляет особый интерес с позиций социосистематики: она ведь тоже – «о понимании складок».

Социосистематика основной упор делает на два аспекта: как познать (социальный) мир и на каком языке; по сути, она занимается тем же, чем и любая наука и искусство, хоть и под несколько иным углом. «Свой угол» есть и у В.Сорокина. Я попробовал разобраться в его творчестве традиционным исследовательским способом (впрочем, кажется, очень редко применяемым в литературоведении) – разложить произведения автора на какие-то характерные компоненты и количественно их оценить.

Сорокин написал весьма много; я сумел прочитать где-то не более 80 – 85 процентов. Кое-что из прочитанного в анализ не попало (например, киносценарии, какие-то рассказы). Общий список использованных «единиц чтения» насчитывает 126 позиций. При составлении я руководствовался следующей логикой:

- Все произведения в списке обладают некоторыми особыми чертами (о которых подробнее ниже), очень типичными для В.С. Если же таких черт нет, то есть вещь написана «как обычно» (например, лирические рассказы, зарисовки типа «Снеговик» или «Кухня» и др.), то она в список не входит. Это делалось в соответствии с общими намерениями данной работы – отследить особость автора, а не все его творчество.

- В списке размещены вещи очень разного объема, от романа до рассказа. Но некоторые романы я счел возможным разбить на части. Наиболее естественно такое разбиение для «Нормы», где в 8-й части больше 30 новелл, каждая из которых интересна по-своему. Довольно очевидны разделы в «Тридцатой любви Марины» и «Романе». Конечно, я должен был сделать то же самое для 50 новелл «Теллурии» (равно как, возможно, и для новелл «Сахарного Кремля» и др.), но оставляю эту работу другим (впрочем, я не думаю, что выводы существенно изменятся). Разбиения сделаны для того, чтобы уловить больше разнообразия в текстах, что будет видно далее из примеров.

- Датировку произведений нельзя считать совсем надежной. Я

старался указать год написания (где знал), а не год первой публикации, но во многих случаях это было невозможно (и тогда я ставил что находил). Приоритетными в случае расхождения были даты с вебсайта Сорокина, но они там не везде; другие даты брались из статьи в русской Википедии и из иных источников. Замечу сразу, что я не делал анализ творчества Сорокина в динамике: во-первых, некоторые этапы очевидны и обсуждались в литературе, а во-вторых, – на мой взгляд, в нем куда больше «постоянного», чем «переменного».

В каждом произведении я пробовал отметить аспекты, наиболее важные и интересные. Вопрос этот запутанный и в какой-то степени субъективный. Однако выяснилось, что довольно естественно он сводится к следующему: что в данном тексте поражает, удивляет, отталкивает или нравится, *кроме главной концепции автора*? Что можно сказать о тексте, *помимо сюжета* (ибо сюжеты всегда индивидуальны и сравнению не подлежат)? Есть ли какие-то повторяющиеся моменты в произведениях, разная комбинация которых определяет профиль данной вещи? Если да – то анализ такой информации позволит выделить некие константы в творчестве писателя, постоянные темы, которые его волнуют, а меня – задевают. Итак, я попробовал просто систематизировать свои впечатления. Получился набор из двадцати с лишним характеристик, которые представлены в табл. 1.

Конечно, этот набор у другого читателя мог бы быть иным; не все характеристики независимы друг от друга; не всегда ясно вообще, как делать измерения. Например, если в рассказе упомянут мимоходом какой-то обед – я не буду пометать «Пища» как элемент его содержания. Но если еда играет решающую роль, как, скажем, в «Ю», – буду. Большая проблема в том, что произведения имеют очень разный размер, а система пометок – одна и та же. Если, например, в длинном романе «Сердца четырех» сцен насилия очень много, а в каком-то рассказе – всего одна, то в исходной таблице данных стоит просто одна пометка, что насилие имеется. Надо сказать, что если бы я и пытался работать с объемами – все равно непонятно, как это выглядело бы (например, надо было бы роман разбивать на множество эпизодов и пр., что проблематично). Некоторые свойства прозы Сорокина я принимал по умолчанию и отдельно не рассматривал – например, **Время** в его произведениях, кроме очевидных двух случаев в табл. 1 (22, 23), либо «среднесоветское», либо вообще неопределенное. Но при всех недостатках и ограничениях систематизация характеристик облегчает понимание структуры текстов.

Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что выделенные мной свойства прозы Сорокина могут быть жестоко осмеяны профессиональными критиками (или даже им самим, ежели ему доведется на них взглянуть) за их наивность и прямолинейность, за отсутствие правильных общепринятых терминов и т.д.

Таблица 1. Некоторые характеристики произведений В.Сорокина

#	Содержание	Краткое имя	Кол-во	%
Особенности изображения (о чем пишется)				
1	Необычность действий	Необычность	63	50%
2	Насилие (обычно в очень жестокой форме)	Насилие	57	45%
3	Власть	Власть	32	25%
4	Секс (часто в необычных формах)	Секс	25	20%
5	Мрачное / ироничное отношение к России	Россия	20	16%
6	Пища (ее важность)	Пища	19	15%
7	Абсурдность действий	Абсурдность действий	18	14%
8	Наркотики	Наркотики	10	8%
9	Испражнения и пр.	Отправления	10	8%
10	Каннибализм	Каннибализм	9	7%
11	Мрачное / ироничное отношение к миру	Мир	9	7%
12	Прошлое как тормоз настоящего	Груз прошлого	7	6%
Особенности изображения (как пишется)				
13	Пародирование соц. литературы	Соцреализм	64	51%
14	Стихи в тексте	Стихи	37	29%
15	Буквализация метафор	Буквализация метафор	31	25%
16	Пародирование реалистической литературы	Реализм	18	14%
17	Обсессивное повторение	Обсессия	17	13%
18	Абсурдность / заумность языка / мат – перемешивание с обыденным дискурсом	Абсурдность слова – диффузия	15	12%
19	Пародирование интеллектуального дискурса	Интеллектуальный дискурс	14	11%
20	Абсурдность / заумность языка / мат – резкий переход от обыденного дискурса	Абсурдность слова – скачок	11	9%
21	Китаизмы	Китай	5	4%
Время действия				
22	Утопическое будущее	Утопическое будущее	10	8%
23	Альтернативная история (игры с историческими персонажами)	Альтернативная история	5	4%
Всего			126	100%

На это есть лишь один ответ, изложенный во второй части: я не считаю литературную критику наукой, а посему исхожу из других критериев, таких как простота и ясность в определениях, поелику возможно.

Характеристики отсортированы по частоте их встречаемости в двух основных разделах – Особенности изображаемого («жизнь») и Особенности изображения («литература»). Это сразу дает представление о доминирующих – и не очень – тенденциях. Я кратко опишу наиболее важные (часто встречаемые) характеристики, более-менее придерживаясь порядка таблицы, но объединяя некоторые из них в группы по смысловой схожести (в целях экономии места).

3. ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖАЕМОГО

Кратко перечислю некоторые свойства (по номерам в табл. 1).

Необычность (фантастичность) действий (табл. 1, 1) встречается в половине произведений. Это отнюдь не научная фантастика (которая в несколько ироничном виде тоже присутствует), но, скорее, действия, противоречащие нормам поведения или ожиданиям. Так, в «Падёже» («Норма») самое необычное то, что «падёж» случился не у скота (как ожидается), а у людей, которые содержались как скот, в хлеву; в «Заплыве» человек плывет несколько часов с факелом в руке; в «Лошадином супе» герой просит, чтобы женщина при нем «ела» из пустой тарелки, и т.д. Но, например, я не помечал как необычные такие вещи, как «День опричника», «Сахарный Кремль» или «ЩИ», в которых странных действий в рамках выбранной системы координат не наблюдается, несмотря на полную фантазийность самого сюжета (см. выше – о субъективности выбора признаков).

Насилие (табл. 1, 2) описывается в 45% произведений, часто – неоднократно, и, говоря юридическим языком, «в извращенной форме». **Власть** (3) – в 25%; в сочетании (либо Насилие, либо Власть, либо то и другое вместе) эта пара дает 56%. Из всех человеческих отношений принуждение, как видно, чрезвычайно притягивает к себе автора – это то, что В.С. сильнее всего ненавидит и, по-видимому, чаще всего пытается изжить путем переноса на бумагу. По словам В.С. в одном интервью, в раннем детстве, когда он ел очень сладкую грушу где-то на даче, за забором молодой человек жестоко избивал старика (тестя), а тот просил его пожалеть. Я ярко представляю себе подобную ситуацию; два жутких эпизода из моего детства до сих пор совершенно отчетливо стоят в памяти. Но у прирожденного писателя сладость, испуг, жалость и интерес, испытанные ребенком, не просто запомнились, а, видимо, как-то слились вместе – что по Фрейду, что по Пиаже.

Насилие у Сорокина бесконечно разнообразно; оно пронизывает жизнь где угодно, часто в совершенно неожиданных местах. В его описании никогда нет ни малейшего сочувствия (к насилию), как нет и пафосного осуждения. Оно всегда подается

чрезвычайно детально и просто, как неотъемлемый факт, и эта манера делает его особенно отвратительным. Оно может быть направлено на достижение какой-то цели, как убийство Погребца в «Пепле» (преследование героями какой-то цели, что лежит в основе детективов и триллеров, у Сорокина практически не представлено – у него почти нет детективной логики, за редкими исключениями, как в пьесе «Ши»). Оно может мотивироваться «возмездием» (хоть и необъясненным), когда через много лет после знакомства человек приходит к другому и варварски убивает его руками наемников («Моноклон»). Оно может быть совершенно садистическим, как в «Сердцах четырех», где человека не только держат в подвале, постепенно удаляя конечности и заставляя решать очень сложные задачи (запоминать тексты и пр.), но еще и цинично морализируют при этом на его счет. Оно может быть «высокоидейным», как поведение Хрущева в «Голубом сале», когда он объясняет Сталину, что принципиально убивает (причем лично и изуверски) только тех, кто ни в чем не провинился (как бы позиционируя себя отдельно от параноика Сталина, который убивает «за дело»). Оно может быть «из-за обиды», как в «Соревновании», где в ответ на призыв посоревноваться один лесоруб отпиливает голову другому пилой с символическим названием «Дружба». Оно может быть, наконец, абсолютно бессмысленным и абсурдным, как в «Тополином пухе» (где профессор после очень лиричных бесед со студентами вдруг дико избивает свою жену) или в пьесе «С Новым годом», где к герою неожиданно приходят гости и распиливают его на принесенной циркулярной пиле. Убийства и прочие жуткие вещи совершают абсолютно разные люди – от люмпенов до бизнесменов, государственных деятелей, ученых, инженеров, интеллектуалов. Насилию нет границ, все возрасты ему покорны, во всех слоях оно цветет.

Вот почти наугад взятый пример той необычной манеры, в которой описываются убийства и прочие вещи. Сергей (ему лет 13-14) много дней (недель?) отсутствовал и наконец позвонил в дверь своего дома (Здесь и далее в статье «...» означает пропуск в цитируемом тексте. – И.М.):

« – Кто там? – спросил за дверью женский голос.

– Мама, это я, – ответил Сережа.

Дверь открыли, и Сережа сразу же бросился на шею стоявшей на пороге невысокой блондинке:

– Мамочка! Мама!

– Сергей! Сергей! Сергей! – закричала женщина, сжимая Сережу. – Коля! Коля! Сергей!

К ним подбежал худощавый мужчина, схватил голову Сережи, прижался.

– Сергей! Сергей! Сергей! – вскрикивала женщина.

– Мамочка, папа, подождите ... я не один...

– Сергей! Сергей! Я не могу! Я не могу! – тряслась женщина.

Мужчина беззвучно плакал.

– Мамочка... я здесь, я живой, подожди, мамочка.

– Лидия Петровна, не волнуйтесь, все позади, – произнес Ребров, улыбаясь...

– Да, мама, у нас сюрприз, – Сережа освободился от объятий. – Вот, мама, и ты, пап, сядьте сюда, на диван и послушайте. Только это, не перебивайте.

– Не перебивать будет трудно, – усмехнулась Ольга.

– Попробуем, – со вздохом женщина села на диван. Мужчина сел рядом.

– Теперь тряпки, – спокойно произнес Ребров.

Все четверо вынули мокрые тряпки и приложили их к лицу, прикрывая нос и рот. Выбросив вперед правую руку с баллончиком, Ребров прыснул аэрозолем в лицо мужчине и женщине. Беспомощно вскрикнув, они схватились за лица и сползли с дивана на пол.

– Назад, дальше! – скомандовал Ребров, отбегая от упавших, и все попятились к окну.

По телам мужчины и женщины прошла судорога, и они застыли в неудобных позах.

Не отнимая тряпки от лица, Ребров сунул баллончик в карман:

– Оля. Только без суеты...

Умело и быстро прицелившись, Ольга выстрелила в головы лежащих...

... Ольга с Сережей перевернули труп мужчины, растянули и спустили с него штаны, спустили трусы».

Произведя с трупами некие гнусные операции (отрезание губ, члена), все четверо выходят из дома, садятся в машину и едут, беседуя по дороге.

«– Ольга Владимировна, как вы съездили в Петербург? – спросил Штаубе.

– Ужасно.

– Seriously? Что-тостряслось?

– Да, это печальная история, – Ребров поморщился от попавшего в глаза дыма. – **История человеческой черствости, равнодушия, убожества...**

– Приехала, звоню в дверь. Никого. Звонила час... Пошла к домоуправу. Вызвали участкового, слесаря, взяли понятых. Взломали дверь. Ну и сразу по запаху стало ясно....

– **Ольга Владимировна, не надо, прошу вас,** – Штаубе закрыл уши ладонями...

– **Извините, Штаубе, милый.** Я просто устала, – Ольга откинулась на сиденье. – Я прямо с поминок – сюда...

– Да, – вздохнул Ребров. – **И мы еще удивляемся черствости**

нашей молодежи. Хотя виноваты в этом сами.

– Да нет, я же помню военные, послевоенные годы! – Штаубе снял шапку, пригладил седые волосы. – Как тяжело было, как плохо жили! Но я совсем не помню людей равнодушных! Было все: хамство, скудость, дикость, но только не равнодушие! **Только не равнодушие!**

Сергея:

– **А я не равнодушный?**

– С тобой все в порядке, – улыбнулся Ребров.

– Ты у нас просто Тимур! – засмеялась Ольга. – Правда, без команды...» («Сердца четырех»). (Шрифтовые выделения мои. – И.М.)

Читать подобные тексты просто физически трудно, многие и не в состоянии их читать. Необходимо какое-то отстранение, чтобы понять, что, собственно, автор хотел сказать всеми этими невыразимыми гнусностями. Если как реперные точки использовать только выделенные фразы – перед нами обычный среднеинтеллигентский разговор вежливых людей с искренними порывами, с возмущением насчет всеобщей «черствости и равнодушия» и вообще плохих времен («даже в войну люди были лучше»). Но в сочетании с теми чудовищными действиями, которые эти люди, включая «нервнодушного Сергея», совершили только полчаса назад, восприятие текста совершенно меняется. Ведь эти люди *не играют друг перед другом*, им незачем. Лидер Ребров действительно возмущается; чувствительный Штаубе и слышать не хочет о трупe в квартире. А представитель той самой «черствой молодежи», оказывается, очень даже не равнодушен (в чем он сам, по молодости, не вполне уверен).

Подобные сцены (которых много в текстах Сорокина) на предельном заострении показывают тот известный в психологии феномен, когда люди совершенно искренне обманывают не только других, но и самих себя. Наиболее подробно это описано в недавней книге Д. Ариели, где на ряде экспериментов показано, как убедительно люди занимаются *самообманом*. Вот вкратце один из экспериментов. Группе участников задают некий набор вопросов средней сложности (типа используемых в IQ – тестах) и устанавливают примерную долю правильных ответов (она около 50%), о чем участники уведомляются. Затем задают подобные же вопросы, но предупреждают, что в нижней части листа есть правильные ответы (якобы для самоконтроля, прося при этом сначала отвечать, а потом проверять). Люди, вполне ожидаемо, не ведут себя честно и подглядывают – в результате средняя доля верных ответов вырастает до 75% (заметьте, не до 100, но это отдельная тема). А затем участникам предлагают оценить, каковы будут их ответы на следующий тест (без подсказок) – ближе к 50 или ближе к 75 процентам. Естественно ожидать, что участники, прекрасно зная, что они подглядывали, должны дать правдоподобный ответ – около 50%. Но они, находясь в

«самообманутом» состоянии и всерьез считая себя умнее, чем они есть, дают оценку в 75%! Далее им предлагаются деньги (до 20\$) за то, чтобы они предсказали свои будущие результаты правильно. Но и это не помогает – люди все равно уверены, что «не в подсказках дело», и предсказывают ближе к 75% [22, с.145-149].

Эта логика упорного естественного самообмана, которая анализируется психологами на невинном уровне мирных тестов, писательской интуицией продемонстрирована на монструозном уровне безжалостного варварского убийства (фактически все многочисленные насильники у Сорокина ведут себя очень заурядно и спокойно, безусловно, считая себя обычными людьми). *Насилие подается как норма* – и тем самым возбуждает в читателе куда больший протест, нежели прямое морализаторство или подчеркивание всех его ужасных деталей. В этом, парадоксальным образом, и заключается *высокий гуманизм* писателя, при запредельной брутальности того, что он изображает. Он не устает напоминать, что все самое жуткое – не столько даже рядом, оно просто внутри, и всегда может ожить.

Подобная позиция вызывает в памяти другое, одно из самых знаменитых в истории психологии, исследование: эксперименты С.Мильграма 60-х годов. В них участники (самые обычные добропорядочные люди), слепо повинувшись авторитетной фигуре экспериментатора (без всякого страха быть наказанными и пр.), повышали силу тока, чтобы наказать «тупого участника» (на самом деле актера) электроударом, если он неверно отвечал на вопросы (в реальности никакого удара не было). Люди очень часто доходили почти до крайней (смертельной) дозы, даже видя имитируемые мучения участника за стеклом. Эти эксперименты, быстро запрещенные по этическим соображениям, все же изредка повторялись в разных местах (давая похожие результаты), вплоть до недавнего времени [23]. Они как бы приоткрывают ненадолго ту бездну, в которой каждый из нас, по-видимому, может оказаться, – но остаются, как я понимаю, далекими от психологического мейнстрима в старинном споре насчет того, «первично» (природно) насилие, по Гоббсу, или «вторично» (цивилизационно) – по Руссо. Сорокин дает новые убедительные аргументы первому лагерю.

Если Х.Арендт писала о «банальности зла» применительно к нацистам, то у Сорокина эта самая банальность становится общим местом любой человеческой практики. Это, пожалуй, один из самых сильных его приемов. В этом отношении «Норма» наиболее конгениальна всему кругу его основных идей. Под «нормой» там можно (и нужно, я думаю) понимать не только «нормальное» поедание идеологического дерьма, но и такие вещи, как все кошмары «Падёжа», все извращения седьмой части романа (см. «Буквализация метафор», Раздел 4), всю возрастающую злость автора «пишем с дачи» и т.д. Тем самым ставится естественный вопрос о том, где кончается норма и начинается отклонение. Но ведь это и есть, возможно, *главный вопрос статистики и,*

соответственно, *социосистемике*.

Включенность насилия в повседневность, ее неотличимость от нормы, непосредственный переход от кошмара к реальности и обратно, полное отсутствие морализаторства при описании создают трагическое ощущение того, что насилие было, есть и будет первичным из всех остальных проявлений человека, что цивилизационный слой чрезвычайно тонок и что именно такова природа вещей. Я пишу эти строки в те дни, когда внимание переключается от подбитого в небе Украины самолета к войне в секторе Газа – мне не надо далеко ходить за примерами того полубесмысленного и неистребимого насилия, которым полны книги Сорокина и мир вокруг. Больше об этом сказано в Разделе 5.

Секс (табл. 1, 4) привлекает авторское внимание реже, чем насилие (20%), но явно является одной из самых ярких черт его творчества. Когда в 1999 году вышло «Голубое сало», именно под предлогом порнографии его книги сжигались «Нашими» и было заведено уголовное дело (к счастью, проигранное истцами). Одним из аргументов защиты в то либеральное время, я помню, был примерно такой: «Вас (присяжных? судей?) что, возбуждает описание гомосексуального акта между Сталиным и Хрущевым? Разве это не может вызвать ничего, кроме отвращения?» И вроде бы аргумент сработал (по крайней мере Сорокина оправдали; неясно, что было бы сейчас, в эпоху постсексуальной реакции в России). Действительно, сцена была отвратная, не хочется цитировать. Вообще, из 25 текстов, в которых есть многочисленные сцены сексуального характера, я могу вспомнить только две, в которых секс описан как радостное телесное наслаждение: из «Очереди», причем, в силу специфики самого романа (в котором нет ничего, кроме прямой речи героев), это наслаждение подано только через слова и междометия героев, что делает его удивительно жизненным и новым; один мимолетный эпизод из «Заноса». Во всех остальных случаях что-то все же мешает воспринять секс «как обычно». И даже если сцена, может, обычно выглядит – весь контекст говорит о том, что нет, это не так. Вот маленький фрагмент из жизни уже представленных выше героев. (Здесь и далее в цитатах я старался привести ненормативную лексику В. Сорокина к более принятому литературному виду. – И.М.):

«Ребров залпом допил свой коньяк и поставил стакан на пол:

– Конечно, оптимизм – это хорошо... Но опираться следует все-таки на теорию вероятности, на жесткий расчет. И все радужные фантазии отбросить. Раз и навсегда.

Он помолчал, глядя в огонь, потом произнес:

*– Ольга Владимировна. Давайте пое**мся.*

Ольга удивленно подняла брови:

– Что... прямо сейчас?

Он кивнул. Ольга искоса взглянула на его напрягшийся член, улыбнулась и стала раздеваться» («Сердца четырех»).

Помимо того, что повышенная любезность (по имени-отчеству, на вы) в сочетании с «пое**мся» производит шокирующее впечатление (как и любое резкое противопоставление стилей, о чем далее), в комбинации с осознанием, что диалог происходит между коллегами по убийствам, придает всей сцене то, что по-английски называется *uneasiness*, а по-русски, наверно, «неясная тяжесть». Попросту говоря, то, что дальше происходит, уже не хочется относить в разряд эротической литературы. Такая же неполнота возникает после блестящего описания акта в самом начале «Тридцатой любви Марины» – все прекрасно, чувства мужчины переданы бесподобно точно, но Марина, по определению, кончить с мужчиной не может. Не так, как с женщиной:

«Постанывая и всхлипывая, они стали целоваться.

Марине казалось, что она целуется первый раз в жизни. Это длилось бесконечно долго, потом губы и языки запросили других губ и других языков: перед глазами проплыл Сашенькин живот, показались золотистые кустики по краям розового оврага, из сочно расходящейся глубины которого тек сладковатый запах и выглядывало что-то родное и знакомое. Марина взяла его в губы и в то же мновенье почувствовала, как где-то далеко-далеко, в Сибири, Сашенькины губы восали ее ..., а вместе с ним – живот, внутренности, грудь, сердце...

После седьмого оргазма Сашенька долго плакала у Марины на коленях».

Сцена чрезвычайно эротична и написана совершенно мастерски – но все это происходит после курения марихуаны, что снова-таки оставляет некую недоговоренность: а было бы так же хорошо без нее, как «должно быть»?

А вот наконец первый в жизни оргазм с женщиной (парторгом завода):

«Слегка отстранившись и сонно вздыхая, она подняла до груди ночную рубашку, легла на спину:

– Только давай быстро... я спать хочу... умираю.

Послышалось поспешное сдирание трусов и майки, он опустился на нее – тяжелый, горячий, и, целуя, сразу же вошел – грубо, неприятно.

Отвернувшись от его настойчивых губ и расслабившись, Марина закрыла глаза....

Сон возвращался, тело потеряло чувствительность, ритмы мужского движения и дыхания слились в монотонное чередование теплых волн: прилив-отлив...

Марина стояла перед морем, спиной к незнакомому берегу, обдающему затылок и шею густым запахом трав.

...Марина изогнулась, развела ноги, принимая гениталиями толчки горячего прибоя... Вдруг впереди ... вспух белый кипящий холм, ... который стремительно потянулся вверх, застыл во всей подробной форме Спасской башни.

Оглушительный тягучий перезвон поплыл от нее.

Море стало совсем горячим, от него пошел пар, раскаленный ветер

засвистел. И перезвон сменился мощными ударами, от которых, казалось, расколетса небо:

– Боммммммм...

И тут же – обжигающий накат прибойа.

– Боммммммм...

И сладостный толчок в гениталии.

– Боммммммм...

О... Боже...

Оргазм, да еще какой, – невиданный по силе и продолжительности... он разгорается..., как вдруг – ясный тонический выдох мощнейшего оркестра и прямо за затылком – хор. ...там, там стоят миллионы просветленных людей, они поют, поют, поют, дружно дыша ей в затылок, они знают и чувствуют, как хорошо ей, они рады, они поют для нее:

СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ РЕСПУБЛИК СВОБОДНЫХ
СПЛОТИЛА НАВЕКИ ВЕЛИКАЯ РУСЬ
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЗДАННЫЙ ВОЛЕЙ НАРОДОВ
ЕДИНЫЙ МОГУЧИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!...

Оргазм еще тлеет, слезы текут из глаз, но Марина уже подалась назад и встала на единственно свободное место в стройной колонне многомиллионного хора, заняла свою ячейку, пустовавшую столькое годы.

СЛАВЬСЯ, ОТЕЧЕСТВО НАШЕ СВОБОДНОЕ!
ДРУЖБЫ НАРОДОВ НАДЕЖНЫЙ ОПЛОТ –
ПАРТИЯ ЛЕНИНА, СИЛА НАРОДНАЯ
НАС К ТОРЖЕСТВУ КОММУНИЗМА ВЕДЕТ!»

В этом блестящем (даже в сильном сокращении) пассаже «конечная цель» достигается в несколько этапов:

секс навязан Марине, она и согласилась только из желания «быстренько снова уснуть»;

и ведь-таки уснула «в тот же сон», сон стал эротическим – но с прибоем, она и не ощущает мужчину;

смутные фаллические образы превращаются (под воздействием включенного радио в раннее утро) в силуэт Спасской башни;

рост эротического напряжения стимулируется мощными аккордами знакомого с детства гимна;

наступивший оргазм многократно (по принципу резонанса) усиливает сопричастность человека к своей великой Родине (еще до этого был у парторга с Мариной разговор исключительно в русско-патриотических тонах);

оргазм (растворимость в личном) неразрывно смешивается с мощным желанием влиться в народ (растворимость в безличном).

Таким образом, «распутная лесбиянка» Марина заняла единственную *свою ячейку* в коммунистической массе благодаря насильно проведенной с ювелирной точностью в нужное время, во сне, *пропагандистской гетеросексуальной операции*. Мощь самого

правильного строя в том, что и первичный биологический инстинкт он способен утилизировать для обращения заблудших; оргазмиатическое вливание в коллективную семью подобно инициации подростка для получения статуса воина. Трудно найти в литературе более глубокий пример пародии на внутреннюю сущность режима, который даже закоренелую диссидентку и гедонистку привлекает к себе, пользуясь единственным доступным для ее понимания механизмом – эротическим. И трудно, между прочим, не ужаснуться мощи такого режима, который самые что ни на есть глубинные силы природы эксплуатирует в свою пользу.

То есть тут эротика, при всем блеске описания, несет на самом деле иную функцию – *суперидеологическую*. Подобным образом практически везде с сексом сопряжено что-то иное: насилие («Тимка», «69 серия», «Губернатор», «Ши», «Поминальное слово», «День опричника», «Сердца четырех», «Настя» и др.); бездушие и механизизм (“*Conkretnye*”); несовершеннолетние участники («Свободный урок», «Сердца четырех»); неоправданная дикая грубость («Возвращение»); некрофилия («Санькина любовь»); болезненные историко-неврологические комплексы (“*Hochzeitsreise*”); давление государственной власти («День опричника», «Голубое сало»); анатомические аномалии («Голубое сало», «Тридцать первое»); фантазийные перверсии («Теллурия», “*Conkretnye*”, «Ю»), проституцией («Сахарный кремль») и так далее.

Воистину, Сорокин – не порнограф, ни-ни. И никак не гедонист (я говорю только о литературе; о другом я не знаю). Описание секса для него никогда не самодостаточно, но есть компонент более сложной конструкции. А столь захватывающими эти описания получаются по той же причине, по какой захватывает и все остальное.

Входящее и выходящее из организма (**пища; испражнения, наркотики; алкоголь**) (6, 8-10 в табл. 1), как и **секс**, принадлежит к фундаментальным и постоянным элементам человеческого бытия, которые В. Сорокин именно и хотел добавить в качестве «телесного» к «слишком духовной» русской литературе, как не раз заявлял в интервью. И добавил – может, даже с избытком. Я не помню столь трепетного отношения, например, к **пище** (6) – и к ее изготовлению, и к потреблению – ни у кого из русских писателей. Еда волнует писателя, можно сказать, не меньше, чем **Россия** (табл. 1, 5) – есть 19 произведений, где она играет очень важную роль, против 20 – с выделенной российской тематикой (конечно, если не учитывать того, что российская действительность присутствует на заднем плане фактически везде; я буду говорить об этом в Разделе 5). А если добавить сюда 9 описанных случаев **каннибализма** (табл. 1, 10), который, в конечном счете, тоже еда особого рода, то **пища** занимает и еще большее место.

Описания еды покрывают широчайший спектр действий – от обыденных до совершенно феерических, от профанного до сакрального. На обыденном конце спектра находится детальнейшее

описание приготовления лично Владимиром Сорокиным обеда самому себе, выполненное в духе лучших традиций кулинарных книг и реалистической литературы («Моя трапеза»). На феерическом – блистательные сцены борьбы за право съесть кусок мяса в вегетарианской Европе будущего, где «убийство курицы» есть уголовное преступление («Ши»). На этом же конце – неописуемо сложные блюда (пирамида из детородных органов животных, от слона до муравья, приготовленных в собственном соку), приготовляемые для Властелина Мира и его гостей в грандиозных кухнях с тысячами поваров («Ю»). Брутально-сакральный характер носят процедуры приготовления и «использования» еды в «Пепле», где рутинно совершаются убийства знаменитостей лишь для последующего сжигания блюд, сделанных из частей их тела. Ритуальное за жаривание в русской печи шестнадцатилетней дочери и ее поедание родителями с многочисленными гостями в «чеховской» обстановке на фоне «культурных разговоров» – некий запредельный взгляд на природу потребления пищи, который тоже имеет место быть («Настя»).

Введение процедуры **испражнения** (табл. 1, 9) и его конечного продукта в текст (что наблюдается примерно в 8% произведений) стало одной из главных причин скандальной репутации писателя – тут он, кажется, новатор, особенно в русскоязычной литературе, никогда до таких «низин» не опускавшейся. Наряду с экстремальными насилием, сексом, каннибализмом и прочими кошмарами оно придает текстам макабрический (или «карнализационный» [5]) характер, но, что совершенно очевидно, ни в малейшей мере не является какой-то физиологической патологией.

В самом глубоком и многозначном, по моему мнению, романе Сорокина, «Норме», идеологический подтекст процесса поедания детского кала («нормы» как таковой) всем населением страны очевиден. Но там есть множество и других планов, один важнее другого. Вот небольшой фрагмент:

«Норма была старой, с почерневшими, потрескавшимися краями. Николай наклонил банку над тарелкой. Варенье полилось на норму.

Тесть в третий раз заглянул из коридора, вошел, ... покачал головой:

– Значит, вареньем поливаем? ...

– В пирожное превратил, – узкое лицо тестя побледнело, губы подобрались. – Как же тебе не стыдно, Коля! Как мерзко смотреть на тебя!

– Мерзко – не смотрите.

– Я рад бы, да вот уехать некуда от вас! Что одна дура, что другой!

...

– Ну она дура, она не понимает, что творит. Но ты-то умный человек, ... руководитель производства! Неужели ты не понимаешь что делаешь? Почему ты молчишь?!

– Потому что мне надоело каждый месяц твердить одно и то же.

Николай отделил кусочек побольше:

– Что я не дикарь и не животное. А нормальный человек».

То есть быть «нормальным человеком» означает не отказ от нормы, а ее поедание именно с вареньем. А поедание нормы с вареньем (ведь поедание все же!) тестем приравнивается к некоей измене всем идеалам. В этой короткой зарисовке так много сказано о всей заморочности советской (и не только) жизни, о том, насколько относительно само понятие «нормы» и какую ненависть у других может вызвать малейшее от нее отклонение (особенно «услашение» тяжелой участи – нет, страдай, как всем предписано!), что применение такого низкого предмета, как кал, для всей этой грандиозной метафоры становится чуть ли не обязательным, ибо трудно себе представить нечто другое с таким мощным зарядом контрастного воздействия.

Другие примеры. Большой начальник неожиданно испражняется на столе у маленького, который пытается руками подхватить падающее из начальственного зада – безграничная власть одного над другим, не признающая ни малейших приличий («Проездом»). Ученик поедает кал любимого учителя – нельзя поступиться ни малейшими остатками сверхъестественной мудрости, которая в реальности есть набор штампов («Сергей Андреевич»); рабочие приветствуют новичка музыкальным испусканием газов – яркий образ того, как сочетаются идеологическая лояльность (все же пришли на субботник) и скрытое отношение к ней («Первый субботник») и т.д.

То есть сама по себе неестественная процедура поедания дерьма, равно как и естественная, но табуированная культурой процедура испражнения, важны автору, конечно, не сами по себе, и не для шокирующего эффекта как такового. Они тесно вплетены в иной, более существенный контекст, как и секс, потребление (производство) еды и др. Контекст разнится, но поскольку автор достиг некоего предела возможного при его описании – главная мысль усваивается куда сильнее, чем при гладком повествовании. Кристаллизация (по Стендалю) метафор, так сказать, в действии.

Однако на многих данная инновация произвела крайне негативное воздействие. Типичное отношение к ней выражено Л. Аннинским:

«Весьма красноречив тот факт, о чем пишут самые яркие представители молодого писательского поколения. Пелевин воспекает наркоту, Сорокин – экскременты. Ясно, что у такой литературы с деструктивным началом нет будущего, должно появиться что-то свежее, новое» [26].

Достоинно изумления, что известный критик не углядел в текстах В.С. ничего иного и уж тем более чаемого «нового»; достоин еще большего изумления, что он считает, что В.С. «воспекает» (слово-то какое!) экскременты, а не делает с ними чего-то другого. Скорее всего, такое отрицание и нежелание разобраться (ибо я не верю, что просвещенный Л. Аннинский не смог бы понять

то, что понятно почти любому) объясняется *пороговым восприятием*. Если, скажем, человек антисемит – то вообще с ним никак нельзя общаться (как делал, например, В. Набоков), несмотря на его другие достоинства. По-видимому, у многих людей именно пороговое восприятие стало главным тормозом для адекватного восприятия Сорокина, который пересек слишком много порогов; я сам был не раз тому свидетелем. Вопрос этот запутанный; он тщательно исследуется в социосистемике, но здесь на нем нет возможности останавливаться.

Наркотики (табл. 1, 8), как предмет сложно устроенный, работающий в тонкой зоне между духовным и телесным, В. Сорокина очень занимают, а если судить по последнему роману («Теллурия») – в данное время более, чем что-либо другое. Замечу мимоходом, что алкоголь играет в целом весьма периферийную роль – и тут В.С. нетривиален, не отводя «ведущей черте» русского народа никакого серьезного места (значит, не считает ее столь ведущей – и, может, правильно делает). Но наркотики у него обычно совсем не те, от которых «торчит» нынешняя молодежь. Они куда радикальнее и страшнее. Их еще в природе нет, но, глядишь, и появятся. В *“Dostoevsky-trip”* наркоманы «подсаживаются» на различных писателей, чтобы коллективно перевоплотиться в героев какого-либо романа (или агломерации романов) и исполнять с некими искажениями роли героев. При этом по ходу пьесы выясняется печальная истина, что «Достоевский в чистом виде действует смертельно» (все потребители погибают), надо бы разбавить Стивеном Кингом ...

В *“Konkretnye”* герои выгрызают внутренности литературных героев. В «Теллурии» единственный предмет, связывающий пятьдесят новелл, описывающих фантастический новый мир, – это теллутовый гвоздь, вбиваемый в голову специалистами – «плотниками» и порождающий иллюзии огромной силы. Он является главным предметом вождения абсолютно различных враждующих между собой новофеодалных анклавов, в которые превратились Россия и Европа. Методологически, это такое же объединяющее начало, как «норма» в «Норме», что порождает мрачный символизм: предмет добровольно-принудительного потребления развитого социализма после долгих трансформаций перевоплотился в предмет «свободного потребления» сверхразвитого феодализма. Это уже не «норма», которую тебе навязывают (а там ешь, с вареньем или без), а мечта, почти недоступная для большинства (гвоздь очень дорог). Но вот незадача – мечта именно о наркотике, то есть о дарителе неестественного счастья. Коллективистская химера победно вытеснена индивидуалистской. Это, видимо, и называется прогрессом.

Абсурдность действий героев (табл. 1, 7) настолько часто встречается, что, наряду с абсурдизмом самих текстов, она породила множество исследований и даже отдельную книгу [8]. Абсурдность действий можно свести к отсутствию цели в поступках или, по

крайней мере, к непрописанности ее в тексте. Цель очереди в «Очереди» не разъяснена, что немедленно апеллирует к пониманию того, что стояние могло быть за чем угодно. Цель бесконечной серии преступлений и тягот героев в «Сердцах четырех» неясна (может быть, самоубийство особого вида). Соответственно, используемые ими термины, намеки и проч. остаются туманными, вплоть до не известных никому технических терминов. Действия Романа в конце «Романа» абсурдны, при всей их тупой brutality. Аналогично – цель «Отпуска в Дахау». Натуральные абсурдистские мотивы загадочных шуток Шекспира доведены до полного абсурда в «Дисморфомании». В «Заседании завкома» нормально текущее совещание по поводу прогульщика и пьяницы превращается в дикую абсурдную сцену насилия. Аналогично, полная немотивированность насилия – в рассказах «Вызов к директору», «Аварон», «День русского едока» и др. Шедевром бессмысленности (и одной из вершин творчества В. Сорокина, на мой взгляд) является «Пепел», в котором сложное переплетение триллера, криминальной хроники и политической сатиры завершается совершенно абсурдным концом. Эту вещь стоит рассмотреть подробнее, так как она соединяет в себе множество важных аспектов творчества писателя. Вот краткая фабула повествования:

1. Колбин, преуспевающий бизнесмен, получает звонок, бледнеет, бросает все дела и едет на своей дорогой машине за людьми.

2. Он собирает совершенно разных персонажей: бомжа, депутата Госдумы, азербайджанскую торговку и интеллигента.

3. Все впятером приезжают в запущенную квартиру (почему-то полную скульптурами фаллосов разных размеров). Выясняется, что хозяин (некий юноша) – лидер секты. Он их «благословляет на дело» и дает тяжелую сумку.

4. Они попадают на финал чемпионата России по Гнойной Борьбе (ГБ). Сообщник проводит их в темную комнату на стадионе.

5. Идет финальный матч, в котором Президент России говорит речь, и прочая. Победитель убивает своего противника (вся новелла про ГБ – блестящий пример политической сатиры, особенно актуализированный текущими событиями в России, но я опускаю детали).

6. Когда победитель проходит по коридору, Колбин шлет четверку бросить коктейли Молотова («ради веса», то есть во имя некой идеи) в борца и его охрану. Они бросают, при этом гибнут сами; Колбин выбегает последним и срезает автоножом загривок полуживого борца.

7. Колбин снова встречается с тем юношей, отдает ему пакет с загривком. Юноша убивает Колбина и едет в некий дом.

8. Там его ждут его товарищ и перекупщик. Юноша получает \$50 000.

9. Перекупщик едет к Сереже и получает \$100 000.

10. Сережа едет к Вите, который отдыхает в отеле с двумя проститутками. Тот дает ему кредитную карточку, то есть последняя цена сделки неизвестна.

11. Витя садится в персональный самолет и прилетает в Японию. Его встречают и привозят в шикарный дворец, где повара с нетерпением (укоряя его за поздний прилет) забирают загривок, из которого делается карпаччо.

12. Это блюдо торжественно вносится вместе с другими тремя такого же типа (из каких-то органов знаменитостей) в пустой зал с золотой статуей некоего персонажа в очках и предлагается ему как «трапеза».

13. На газовых горелках вся еда стораает; оставшийся пепел ссыпается церемониймейстером в корпус статуи, который уже наполовину заполнен.

Каждая из этих линий ведется как самостоятельная; каждая погружает читателя в ее особый мир, с массой подробностей, которые очень хороши сами по себе, но, как очень скоро выясняется, «к делу» никак не относятся. Вот лишь маленький фрагмент:

«– Дорогие соотечественники! – заговорил президент бодрым сильным голосом. – Сегодня у нас большой праздник...Сегодня – финал чемпионата России по гнойной борьбе! – ... Первый финал первого чемпионата... Три года поднималась из пепла Россия. И поднялась! И встала во весь свой могучий рост!

Стадион заревел.

– Три долгих года мы боролись за нашу страну. За наше будущее. И в этой борьбе нам помогали Русская Православная Церковь и лучшие духовные силы страны. Одной из которых стал новый вид богатырского единоборства – гнойная борьба! ... я хотел бы подчеркнуть – гнойная борьба – это не просто новый вид спорта. Это могучий сплав двух великих традиций – русского богатырского единоборства и православного великомученичества. «Через муки к победе!» – вот главный лозунг гнойной борьбы. Эти слова вошли в наши сердца! Это боевой дух нации! Это то, что объединило нас! Что помогло нам выстоять! ...

Неистовый рев восторга сотряс стадион».

Вот другой фрагмент:

«Колбин кивнул, устало махнул рукой, хотел сказать что-то, но вдруг разрыдался.

– Что ты, легкий? – прищурился на него юноша.

– Я это... отец...

– Устал? – Юноша брезгливо посмотрел на его трясущиеся руки.

– Отец... отец... я не знаю... – всхлипывал Колбин.

– Чего ты не знаешь?

– Мне... о-ч-чень плохо, отец... очень, очень...

– Ты скажи, остальные все обиделись?

– Все, отец... все...

– Ну и хорошо. – Юноша достал платок. – Вытри влагу легкую. Учись плакать каменными слезами. – Колбин взял платок, приложил к носу, вдохнул. Едва он стал сморкаться, юноша стремительно вытянул из трости узкое лезвие и умело воткнул Колбину в шею под левую скулу. ...

– Сразу в лес его? – спросил, не оборачиваясь, шофер.

– Ни в коем случае. Витя все сделает...»

Первый отрывок намекает на огромное количество явлений «большого мира», на характер страны, власти в ней и т.д. Второй – на туманные отношения внутри какой-то секты, с непрерываемым лидером, который, как выясняется, заурядный бандит, несмотря на таинственные «легкую влагу и каменные слезы». Жизнь показана чрезвычайно реалистичными фрагментами, каждый из которых никак не вплетен в общую канву, но есть лишь звено в цепи событий, лишь мостик для попадания на другой островок. Примерно такой же набор островков (или окошек в чужие квартиры) представляют собой и «Норма», и «Сахарный Кремль», и «Теллурия», но там они дают общую панораму жизни общества, а здесь – кинематографическую смену кадров триллера, в конце которого вместо *happy end* (или хотя бы *horror end*) – ничто, пепел. Не тот ли пепел, на который ссылался Президент в своей речи?

Подобное построение ставит под вопрос само понятие абсурда. Каждый из героев преследует вполне определенную цель: Колбин и его помощники действуют по убеждению («духовный компонент» жизни общества); юноша, перекупщик и Сережа – из-за денег («материальный компонент»); Витя, повара и церемониймейстер – по долгу службы («административный компонент»). Но к чему все это? Кто «заказал музыку»? Зачем нужен столь необычный и крайне дорогой ритуал? Это не разъясняется. Очень легко себе вообразить, что какой-то могущественный человек оставил завещание вот так вот «кормить его статую» и проч. – но и от этого «объяснения» не сильно полегчает, ибо его абсурдность тоже довольно очевидна. С другой стороны – не абсурдны ли гигантские гробницы фараонов? Принесение себя в жертву какому бы то ни было культу? Не абсурдна ли сама жизнь, как ни пошло это звучит?

«Пепел» отвечает на вопрос примерно так: действия воспринимаются абсурдными в той точке, где рассмотрение жизни человека вынуждено оборвать те нити, в которые жизнь и вплетена. Каждый из героев не догадывается о всей цепи интенций других людей, в рамках которых они действует. Колбин следует «моральному долгу». Бандиты просто получили заказ и выполняют. «Снабженец» Витя не задается вопросом, зачем вообще он этим занимается, – платят, и все. А таинственные хозяева всей системы, в свою очередь, подчиняются чему-то еще менее понятному – но и их действия отнюдь не абсурдны. То есть, по сути, никакого абсурда нет – но мощное художественное противопоставление крайне

рискованных, кровавых и преступных действий множества людей со своими судьбами, характерами и т.д. ничтожности результата неизбежно порождает это острое чувство бессмысленности человеческих усилий.

Такой подход полностью находится в рамках социосистематики – именно так мир и устроен. Вся проблема в том, чтобы как-то разобраться в этих бесконечных целевых сетях и найти адекватные способы моделирования. То есть абсурд Сорокина – это, безусловно, **абсурд второго рода**, если сравнивать с абсурдом «классическим» (что, как мне кажется, неясно артикулировано в «Абсурдопедии» [8]). Вот, скажем, Александр Введенский («Большой который стал волной»):

*увы стоял плачевный стул
на стуле том сидел аул
на нем сидел большой больной
сидел к живущему спиной
он видел речку и леса
где мчится стертая лиса
где водит курицу червяк
венки звонок и краковьяк
сидит больной скребет усы
желает соли колбасы
смотри смотри бежит луна
смотри смотри смотри смотри
на бесталанного лгуна
который моет волдыри...*

Текстов, подобных этому, в мировой литературе существует очень много, и я не буду пытаться как-то чего-то интерпретировать (я уже высказался насчет темных мест у Мандельштама в [11]). Очевидно лишь одно: такого рода дискурсы не имеют ничего общего с тем абсурдом, который вытекает из описаний В. Сорокина. А. Введенский медитирует на волнах бессмысленных (хоть и не лишенных каких-то ассоциаций) словосочетаний; Сорокин строит жесткое повествование и обрывает все концы (и/или начала). У него тоже есть тексты, подобные цитированному, то есть чисто литературный, классический **абсурд** (табл. 1, 18), но они играют совершенно иную роль (см. Раздел 4).

4. ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Полное описание литературных приемов В. Сорокина фактически невозможно как из-за большого их количества, так и из-за обширного критического материала. Постараюсь очень кратко остановиться только на нескольких наиболее часто встречающихся атрибутах. Но прежде чем переходить к особенностям, остановлюсь на общем. В.С. «по умолчанию» прекрасно владеет обычным литературным языком высокого качества – таким, какой более чем достаточен для очень большого числа писателей, чтобы иметь вполне приличную репутацию (именно в смысле стиля). Вот почти наугад взятый пример типичного интеллигентского диалога:

«Маша (восхищенно): Ну, Марк... теперь я понимаю...

Марк: Что ты понимаешь?

Маша: Почему тебя нигде не печатают.

Марк (смеется): Машенька, я этому не придаю значения. Писал я в стол в Москве, пишу в стол здесь. Какая разница? Жена зарабатывает, крыша над головой есть. Я об одном жалею.

Маша: О чем?

Марк: Что я не состоялся в Германии как психиатр. Маша, какой здесь материал! После русских шизоидов, которыми я обелся, которыми я сыт по горло, – немецкие невротики! Это... как устрицы после борща! Здесь все пропитано неврозом – политика, искусство, спорт. Это разлито в воздухе, на площадях, в университетах, в пивных... кстати о пивных. Вот тебе наглядный пример. Первый год эмиграции. Берлин, Кройцберг. В какую-то жуткую пивную потащил меня Мишка. Сидим, пьем пиво. Народ вокруг крутой, громкий. И один здоровый рыжий детина все время на меня поглядывает. Пьет пиво и поглядывает.

Маша: Голубой?

Марк: Я тоже сперва решил. Но потом присмотрелся – не похож. Да и какой из меня любовник! Нет, вижу – там что-то другое. Неуютно мне как-то стало, и пошел я пописать в сортир. Пописал, застегиваюсь, поворачиваюсь – а передо мной этот детина. И в сортире, как бывает в таких случаях, – ни души. Ну, думаю, пи**ец тебе, Марк. А детина между тем меня спрашивает: «Вы еврей?» Собрал я свою маленькую волю и отвечаю: «Да, я еврей». А немец опускается передо мной на колени и говорит: «От имени немцев, которые принесли столько страданий вашему народу, я прошу у вас прощения» (“Hochzeitsreise”).

В этом маленьком пассаже есть динамика, острота сюжета, юмор, меткая наблюдательность, точность выражений и прочие качества, на которых все и держится в прозе, скажем, С. Довлатова, М. Веллера и других хороших писателей.

Вот другой пример, подчеркивающий некие яркие приметы его «обычного» стиля – кинематографичность (взгляд со стороны, отстраненность); высокую лаконичность в сочетании с вниманием к мелким деталям:

«23.42.Подмосковье. Мытищи. Силикатная ул., д. 4, стр. 2.

Здание нового склада «Мособлтелефонтреста».

Темно-синий внедорожник «Линкольн-навигатор». Въехал внутрь здания. Остановился. Фары высветили: бетонный пол, кирпичные стены, ящики с трансформаторами, катушки с подземным кабелем, дизель-компрессор, мешки с цементом, бочку с битумом, сломанные носилки, три пакета из-под молока, лом, окурки, дохлую крысу, две кучи засохшего кала.

Горбовец налег на ворота. Потянул. Стальные створы сошлись. Лязгнули. Он запер их на задвижку. Сплюнул. Пошел к машине.

Уранов и Рутман вылезли из кабины. Открыли дверь багажника. На полу внедорожника лежали двое мужчин в наручниках. С залепленными ртами» («Лед»).

Точность языка Сорокина поразительна. Вот еще совсем маленький пример. У женщины «после поцелуя серафима» вдруг появился фаллос, который стал расти до гигантских размеров. Она «поняла, что делать», пошла на площадь Маяковского и стала им, выросшим чуть не до небес, крушить памятник, подняв юбку. А потом открыла глаза.

«С недоумением она обнаружила себя стоящей на площади возле выхода из метро... Она стояла, подняв свою длинную юбку.... Прямо напротив стояли двое парней – русский и таджик. Они держали в руках недоеденное мороженое.

Тамара Семеновна опустила глаза вниз, посмотрела на то, что было у нее под задранной юбкой ... Там виднелся ее обычный женский пах, поросший негустыми волосами. Ниже паха или ее обыкновенные ноги. Никакого фаллоса не было и в помине.

Это вызвало у нее еще большее недоумение. Не опуская юбки, она перебрела свой взгляд на людей. Люди смотрели на ее пах.

– Пыздец? – вопросительно произнес таджик и лизнул мороженое.

Тамара Семеновна опустила юбку и пошла в метро» («Тридцать первое»).

Краткая реплика таджика отражает сразу несколько вещей. Он явно путает два однокоренных слова, и, скорее всего, имеет в виду первое, основное, обозначающее то, что он видит в паху. Но не вполне в этом уверен – и придает восклицанию вопросительную форму. Героиня же явно слышит в произнесенном второе значение, неожиданный крах абсолютно реалистичной иллюзии, столь профанным образом обозначенный полуграмотным человеком.

Все-таки трудно вот так, одним словом, да по трем целям...То есть даже если бы В.С. писал только *обычно*, но на таком уровне качества – я уверен, получил бы он достаточный объем лавров. Но он пишет *далеко не только так*. Вот некоторые особенности.

Пародирование соцреалистической литературы (табл. 1, 13), наблюдаемое в половине списка, было фирменным знаком Сорокина с самых первых его произведений. Оно осуществляется в двух формах: путем резкого контрастирования стилей (что можно назвать *фазовым переходом* или *скачком*) и путем перемешивания стилей (что можно назвать *диффузией*). В обоих случаях один из стилей – традиционный соцреализм, а другой варьирует: это может быть чистый абсурд; очень грубый, обценный, язык; канцелярский язык; обсессивное повторение; вставка стихов и др.

Вот пример фазового перехода:

«– Правильно, Оксана Павловна, с такими, как Пискунов, надо бороться. Бороться решительно! Что с ними цацкаться?!

– Ему ведь наши нотации – как мертвому припарки.

–Ну а что мы можем, кроме снятия премий и прогрессивки? Выгнать-то нельзя...

– Тогда вообще зачем заседать?! Это ж издевательство над

профсоюзом. – *Форменное издевательство... – И пример дурной подаем. Сегодня он пьет, а завтра, гляди, и вся бригада. – Ну, а действительно, что мы можем?! Милиционер вздохнул, встал и одернул китель:*

– *Товарищи!*

Все повернулись к нему. Он подождал мгновенье и заговорил:

– *Я, конечно, человек посторонний, так сказать. И к этому делу отношения никакого не имею. Но я как советский человек и как работник милиции хочу, так сказать, поделиться простым опытом... Вы же не о себе думать должны, правильно?*

– *Да, правильно, конечно, – отозвалась Симакова, – но факт остается фактом, у нас, товарищ милиционер, действительно нет полномочий...*

– *Товарищи! – милиционер шлепнул руками по коленям, – мне прямо горько слушать вас! Нет полномочий! Да кто же виноват в этом?! Вы сами и виноваты! ...Милиционер засмеялся... и, посмеиваясь, пошел к выходу...*

Уборщица вздохнула и, подняв ведро, двинулась за ним. Но не успела она коснуться притворившейся двери, как дверь распахнулась и милиционер ворвался в зал с диким, нечеловеческим ревом. Прижимая футляр к груди, он сбил уборщицу с ног и на полусогнутых ногах побежал к сцене, откинув назад голову. Добежав до первого ряда кресел, он резко остановился, бросил футляр на пол и замер на месте, ревя и откидываясь назад. Рев его стал более хриплым, лицо побагровело, руки болтались вдоль выгибающегося тела.

– *Про... про... прорубоно... прорубоно... – ревел он, тряся головой и широко открывая рот.*

Звягинцева медленно поднялась со стула, руки ее затряслись, пальцы с ярко накрашенными ногтями согнулись. Она вцепилась себе ногтями в лицо и потянула руки вниз, разрывая лицо до крови.

– *Прорубоно... прорубоно... – захрипела она низким грудным голосом...*

Урган покачал головой и забормотал быстро-быстро, едва успевая проговаривать слова:

– *Ну, если говорить там о технологии прорубоно, о последовательности сборочных операций, о взаимозаменяемости деталей и почему же как прорубоно, так и брака межреспубликанских сразу больше и заметней, так и прорубоно местного масштаба у нас не обеспечивается фондами ...*

Клоков дернулся, выпрыгнул из-за стола и повалился на сцену. Перевернувшись на живот, он заерзал, дополз до края сцены и свалился в партер зала. В партере он заворочался и запел что-то тихое. Хохлов громко заплакал. Симакова вывела его из-за стола. Хохлов наклонился, спрятав лицо в ладони. Симакова крепко обхватила его сзади за плечи. Ее вырвало на затылок Хохлова» («Заседание завкома»).

Такого рода абсурдные действия с вставками абсурдного (по-настоящему, в классическом смысле) языка продолжают еще на нескольких страницах.

А вот пример диффузии:

«Кабинет секретаря парткома. Посередине – длинный стол с десятком стульев для заседаний, упирающийся в рабочий стол Павленко. Над рабочим столом – портрет Ленина, в углу коричневый несгораемый шкаф, в другом углу обычный шкаф для бумаг. В кабинете – Павленко, Бобров и секретарша Лида.

Б о б р о в (дружески касаясь плеча Павленко, показывает на рабочий стол). Ну, Игорь Петрович, садись. Осваивай новое рабочее место!

П а в л е н к о (улыбаясь, проходит за стол, садится). Да. Непривычно как-то. Делали **половину**, делали **легко**, а тут – **ровное!**

Б о б р о в (указывая на Лиду). Вот это Лидочка. Была у Трушилина секретарем. Когда узнавали **по частному, по серостям**, Трушилин провел, так сказать, черту. А Лидочка, по моему мнению, работала гораздо лучше своего начальника. И профессиональной.

Л и д а (смущаясь). Что вы, Виктор Валентинович, я же знаю в основном, как **согласились**. А работа... работа всегда есть работа.

П а в л е н к о (перекладывая бумагу). Да... дел много.

Б о б р о в (снимает очки, протирает носовым платком). Еще бы! Если работать по-трушилински – дела будут **во всем расположении**. Будут, как говорится, просто **реветь и ползти**. Ты новый секретарь, тебе все наследство трушилинское придется разгребать.

П а в л е н к о. Что ж. Разгребать чужие грехи – работа тоже почетная.

Б о б р о в. Не только почетная! Она еще **чередует** все нужное и зависит от **нужного**.

П а в л е н к о (кивает). Нужда... что ж. Честность здесь видно что – имела. И достаточно **поправлялась** («Доверие»). (Шрифтовые выделения мои. – И.М.)

Сорокин издевается не только над самим текстом (то есть продуктом чьего-то творчества), но и над его восприятием, то есть над всей системой «соцреалистической коммуникации». Чудные примеры такого рода предоставляет «Землянка».

Диффузия:

«П у х о в. Это точно. (Разглядывает газету.) Тут вот еще интересная заметочка. Называется "Пионеры Н-ской части следят за чистотой котлов армейской кухни". Они говорят, они говорят покажи котлы гад покажи котлы котлы покажи гад дядя. Покажи котлы гад дядя, покажи котлы. Покажите им котлы гад дядя. Они все адо. Они все адо гнидо. Они говорят покажи котлы гад дядя. И мне котлы покажи чтобы я потю делал. ... Дядюшко, дядюшко. Дядюшко. Покажи адо. Покажи адо, дядя. Адо. Адо покажи, дядя. Котлы адо. Котлы адо. Дай дядя адо. Дай адо. Гад, дай адо. Гадо дай адо.

С о к о л о в. Ну, я уж об этом слышал. Еще под Подольском».

Абсурд, обсессия, патетическое морализаторство:

«П у х о в (разворачивает газету). Тааак... сейчас почитаем... что здесь. Это уже читали. Вот. Статья, называется "На ленинградском рубеже". (Читает.) Гнойный буйволизм, товарищи, это ГБ. Гнойный

путь, товарищи, это – ГП. Гнойный разум, товарищи, это – ГР. Гнойный отбой, товарищи, это – ГО. Гнойные дети, товарищи, это – ГД. Гнойная судьба, товарищи, это – ГС. ... Гнойные буквицы, товарищи, это – ГБ. Гнойное отпадение, товарищи, это – ГО. Гнойная жаба, товарищи, это – ГЖ. Гнойные племянники, товарищи, это – ГП. Гнойная береза, товарищи, это – ГБ...

В о л о б у е в (кивает головой). Что ж... правильно. Прорыв нужен».

Абсурд, обсессия:

*«17 декабря Луна пройдет в 5 южнее планеты Юпитер, за сисяры, товарищ, за сисяры! Да не так, товарищ, за сисяры! За сисяры, товарищ, за сисяры! Да не так, товарищ, за сисяры! За сисяры! За сисяры, б**дь, за сисяры! Тяните за сисяры! Да не так, б**дь, а за сисяры! За сисяры тяни, *б твою мать! За сисяры, товарищи! За сисяры тяните! За сисяры тяните, б**дь! За сисяры, дураки, за сисяры! Тяните за сисяры! Товарищи, да что ж вы делаете! За сисяры, за сисяры! Тяните! Тяните! Помилуй нас, товарищ Сталин...*

С о к о л о в (после недолгого молчания). Деловая заметка. Кто написал?

П у х о в. Написал... Б.Иванов. Вот кто написал.

В о л о б у е в. А фотографии нет?»

Убийственная пародия здесь, конечно, не только в «утвержденных к прочтению» (да еще на фронте) текстах (которые очень хороши сами по себе), но в серьезной рассудительной реакции на них благодарных слушателей. Ведь землянка – реальная, на передовом крае; слушатели – офицеры (а не просто солдаты). И вот эта встроенность полного абсурда текста и столь же полного его одобрения в общий контекст жизни, реакция, столь же абсурдная, как сам текст (типа «Прорыв нужен» в ответ на «Гнойная береза, товарищи, это – ГБ»), дают ясный ключ к пониманию вообще всех абсурдных элементов в творчестве В.Сорокина. Их главная и, скорее всего, единственная цель – показать, что *реальной границы между разными* (особенно нормальным и экстремальным) *дискурсами нет*. Абсурдность жизни (действий) превращается в абсурдность слова, которая, в свою очередь, воспринимается как норма жизни. Круг замыкается. Катарсиса нет, если не считать таковым взрыв снаряда, после которого на месте одобряющих героев и газеты с вещими словами не остается ровным счетом ничего...

Если классики жанра занимались абсурдом как таковым, то Сорокин сделал шаг вперед – вплел этот язык в другой, обыденный, чем совершенно изменил саму эстетическую нагрузку абсурдистской речи, вывел ее из поля словесных упражнений в поле социального конфликта. Это, безусловно, осмысленная новизна, а не чисто формальный прием.

Буквализация метафор (табл. 1, 15), достаточно редкий в литературе прием, доведен Сорокиным до виртуозного уровня. Они варьируют от совершенно brutальных (в «Насте» просьба о

«руке дочери» удовлетворяется буквально; в «Сердцах четырех» известное выражение «е**ть мозги» материализуется самым натуралистическим образом) до издевательских, более-менее безобидных шаржей. Вот несколько примеров, где буквализация связана с использованием популярных **стихов** (табл. 1, 14) (обычно советских), что делает ее особенно выразительной. Из таковых микроновелл состоит почти вся 7-я часть «Нормы»:

« – Золотые руки у парнишки, что живет в квартире номер пять, товарищ полковник, – докладывал, листая дело N 2541/128, загорелый лейтенант, – к мастеру приходят понаслышке сделать ключ, кофейник запаять.

– Золотые руки все в мозолях? – спросил полковник, закуривая.

– Так точно. В ссадинах и пятнах от чернил. Глобус он вчера подклеил в школе, радио соседке починил...

– Ходики собрать и смазать маслом маленького мастера зовут. Если, товарищ полковник, электричество погасло, золотые руки тут как тут. Пробку сменит он и загорится в комнатах живой веселый свет. Мать руками этими гордится, товарищ полковник, хоть всего парнишке десять лет...

Полковник усмехнулся:

– Как же ей, гниде бухаринской, не гордиться. Такого последыша себе выкормила...

Через четыре дня переплавленные руки парнишки из квартиры N5 пошли на покупку поворотного устройства, изготовленного на филиале фордовского завода в Голландии и предназначенного для регулировки часовых положений ленинской головы у восьмидесятиметровой скульптуры Дворца Советов» («Самородок»).

* * *

«Либерзон разрезал яйцо вдоль, положил половинку перед Груздевым:

– Здесь прошла дорога наступленья. И пусть, Виктор Лукич, нам было очень тяжело. Счастлив я, что наше поколение вовремя, как надо, подросло.

– Конечно, Михаил Абрамыч, конечно. Я, понимаете, объездил, кажется, полсвета. Бомбами изрытый шар земной. Но как будто новая планета Родина сегодня предо мной.

Либерзон сунул свою половинку в рот:

– Вот... ммм... Россия в серебре туманов, вопреки всем недругам жива.

– Домны, словно сестры великанов.

– Эстакад стальные жужева...

– Смотрите... вновь стога. И сёла за стогами. И в снегу мохнатом провода.

– Тихо спят, спеленуты снегами, новорожденные города...

В ночь, когда появился на свет Комсомольск-на-Амуре, роды принимала Двадцать Шестая Краснознаменная мотострелковая дивизия

Забайкальского военного округа.

Роды были сложными. Комсомольск-на-Амуре шел ногами вперед, пришлось при помощи полевой артиллерии сделать кесарево сечение. Пунок обмотался было вокруг шеи новорожденного, но саперный батальон вовремя ликвидировал это отклонение. Младенца обмыли из 416 брендспойтов и умело спеленали снегами. Отслоившуюся плаценту сохранить не удалось, – ввиду своей питательности она была растащена жителями местного района» («В дороге»).

* * *

«– ... а кто это... дежурный офицер? ... это говорит с вами библиотекарь деревни Малая Костынь Николай Иванович Кондаков. Да Вы извините меня, пожалуйста, но дело очень, прямо сказать, очень важное и такое, я бы сказал – непонятное. – Он согнулся, быстро зашептал в трубку: – Товарищ дежурный офицер, дело в том, что у нас в данный момент снова замерло все до рассвета – дверь не скрипнет, понимаете, не вспыхнет огонь. Да. Погасили. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Нет. Я не видел, но слышу хорошо. Да. Так вот, она то пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то, понимаете?! И не может никак отыскать. Да в том-то и дело, что не знаю и не видел, но слышу... Во! Во! и сейчас где-то пиликает! Я? Из библиотеки. Не за что! Ага! Вам спасибо! Ага! До свидания. Ага...

Через час по ночной деревенской улице медленной цепью шли семеро в штатском...

Слева в темноте тоскливо перекликнулись две тягучие ноты, задребезжали басы и из-за корявой ракиты выплыла одинокая гармонь...

Гармонь доплыла до середины улицы, колыхнулась и, блеснув перламутровыми кнопками, растянулась многообещающим аккордом. В поднятых руках полыхнули быстрые огни, эхо запрыгало по спящим избам. Гармонь рванулась вверх – к черному небу с толстым месяцем, но снова грохнули выстрелы, – она жалобно всхлинула и, кувыркаясь, полетела вниз, повисла на косом заборе» («Одинокая гармонь»).

В этих и подобных зарисовках В.С. показывает тончайшее понимание природы языка и его неразрывной связи с властью того, кто его интерпретирует; это далеко не только буквализация метафор как таковая. Когда полковник усмехнулся, он уже прокрутил в голове всю историю и потенциальную выгоду от «переплавки», сделал переход к способу воплощения в жизнь задуманного (проще всего – политическое обвинение матери, «бухаринской гниды») – и вот уже толковый пацан становится зловецким «последышем». То есть тут не только выворачивание наизнанку содержания типичного советского слащавого стиха З.Вознесенской (такого рода игры – дело наиболее простое), но и демонстрация колоссальной важности интерпретации – настолько большой, что она (интерпретация) может полностью перевернуть исходное содержание. Тем самым любой текст в соответствующих руках может стать абсолютной игрушкой, а раз так – то в самом тексте нет никакого смысла, кроме того, который и вкладывается

Интерпретатором. Если он облачен властью – последствия наиболее разрушительные, что, собственно, всегда в истории и происходит. Ничем иным (на вербальном уровне), как интерпретацией сакральных текстов, диктаторы любых времен не занимались. А если властью не обличен, но определенным образом настроен – то тоже не слабо может показаться; «словно ищет в потемках кого-то, понимаете?!» – взволнованный радетель за страну справедливо углядывает в странном намеке песни нечто ужасное (заговор!) и дает органам знать со всем пафосом возбужденного идиота.

Но удивительное дело! Среди 31 случая буквализации, насчитанного мной, 24 (77%!) непосредственно связаны либо с каким-то насилием (как в приведенных примерах), либо с властью, понимаемой как принадлежность героев игры (и розыгрыша) к ней (в первую очередь, к государству, его лозунгам и требованиям). Можно согласиться с И.Калининым, что буквализация у Сорокина «...уже не столько "фольклорная устойчивость", о которой говорит П.Вайль, сколько обнаружение в языке его архаического начала, состоящего в магическом совпадении означаемого и означающего, знака и вещи, слова и действия» [6]. Но, нужно добавить, архаизм здесь почти всегда особого рода: он связан с самым темным, нерасчлененным насилием, которое вдруг высвечивается за невинной и простодушной поверхностью того оригинала, на основе которого метафора и строилась. В этих буквализациях бодрая поверхность советского глянца вдруг оборачивается своей кровавой изнанкой на лексическом (то есть самом глубинном) уровне, и только ирония игры как-то смягчает мрачность происходящего. Тут есть нечто от пресловутого деконструктивизма, но с животворной добавкой сарказма, сатиры и издевательства. Сорокин не просто «взрывает» тексты, о чем неоднократно писалось, но делает это высокоэстетично, поднимая «планку дискурса» и запутывая концы и начала в неразматываемый клубок – точно как в жизни и бывает. Буквализация – один из самых сильных способов добиться этого системного эффе́кта.

Пародирование реалистической литературы и интеллектуального дискурса (табл. 1, 16, 19). Хотя такие вещи случаются примерно в два раза реже, чем пародирование собственно соцреализма (если, однако, мерять по общему объему в страницах, то это не так, ибо критике реализма посвящены целые романы), это не делает их менее яркими. Наиболее известные примеры – прямые пародии, созданные клонами знаменитых русских писателей в «Голубом сале», которые неоднократно обсуждались. Более чем скептическое отношение автора к чудотворному воздействию классической русской литературы на публику достигает абсурдного заострения в «Юбилее», где на заводе изготавливают «чеховых» путем забоя и обработки живых людей; в «Дисморфомании», где перемешиваются настоящие сумасшедшие с героями Шекспира; в «Романе», концовка которого обычно интерпретируется (справедливо) как убийство не только

Романа –героя, но и романа – романа; в задушевных беседах героев «Сердце четырех» (см. примеры в разделе 3); в кошмарной «Насте», где поедание зажаренной дочери целиком происходит в псевдочеховской атмосфере; в «Соловьиной роще», где сама ткань классического языка мелкими сдвигами превращается в бессмыслицу; в “*Conkretnye*” и “*Dostoevsky-trip*”, где литературные герои становятся воистину «больше, чем жизнь» и либо поедаются «читателями», либо убивают их, и др. И даже «Метель», наиболее сбалансированное, может быть, создание писателя, несет на себе явную тень полной разочарованности в терапевтических принципах литературы.

Приведу лишь один пример, где Сорокин демонстрирует фатальную перепутанность разных, совершенно разных дискурсов в одной голове. Голова эта – прокурорская, что опять навевает на мысль о неразрывной связи абсурдного дискурса, власти и насилия:

*«... он был включен в научный совет ИСС и оставался его полноправным членом вплоть до первого ареста. Это произошло в июне 1949 года. ... Утро 16 июня было ясным и солнечным. Позавтракав, как обычно, в восемь пятнадцать, **подсудимый** снял с себя махровый халат и ...принялся одеваться перед большим старинным зеркалом,... В дверь постучали. Подсудимый быстрым движением затянул узел темно-синего галстука и пошел открывать. Ну и взяли молодца. ... И попотрошили за милую душу, так, что пух из подушек пропоротых летел в распахнутые окна ... А подсудимый сидел на стуле и торчал, как х** ... Выйдя из лагеря в 1984 году, **эта сволочь** опять засела за книги. Он читал новое, перечитывал старое, смотрел слайды, репродукции, прослушивал пластинки и кассеты. Перечитав Томаса Манна, Пруста, Джойса, Достоевского, ..., Орвелла, Гессе, Во, Хемингуэя, он перешел к изобразительным искусствам. ... он сутками разглядывал, перелистывая пожелтевшие страницы, купил, **падла**, проектор, обзавелся слайдами, проецировал их на простыню послевоенного пошива. Подтаяло, отнялось сердце, когда поползли по ней автоматические рисунки Арпа, Пикабии, Миро, когда сверкнула, перемежаясь, живопись Шагала, Кирико, Пикассо, ..., Мондриана ... свернулась кровь в венах у подсудимого, когда **попер** поп-арт, этот витаминизированный внучок дады, когда засияли томатные супы Энди Уорхола, засмеялись комиксовые бэби Лихтенштайна... Это было ново и не ново и он потел, **б**дский потрох**, **дешевка недое***ная**, крутил ручки, менял слайды ... Концептуализм ошарашил его простотой своей идеи, после концептуализма он вспомнил про музыку, про поэзию, и вот уже драл горло шёнберговский Лунный Пьеро и тек по нервам огненный коктейль Мандельштама. ... задумался над полетом голубя Леонардо, настроил скрипку Скарлатти и дальше, дальше, **бля**, через Баха-Генделя, Моцарта-Бетховена, Монтеня-Шеллинга к новым временам, в его (**подсудимого**) любимый двадцатый век. Растянувшись на диване, внешне он ничем не отличался от себя самого, – лежит себе плюгавый старичок с пепельным лицом и коричневыми губами и, закрыв глаза, теребит зарубевшими пальцами край одеяла. Но внутренние, внутренние, **граждане судьи**, он напоминал не больше не меньше ... – воронку. Все культурные, с позволения сказать, **испражнения** всех времен*

*перемешивались, уплотнялись, ползли к горлышку воронки, стягивались, стягивались, и ... воронка прорвалась его божеством по имени Марсель Дюшан. Да, граждане судьи, и вы, плоскомордые раз**баи, чинно сидящие в зале. Именно Марсель Дюшан являлся для подсудимого высшим феноменом человеческой культуры всех эпох. Почему? Не могу ответить вразумительно. Ведь были же и другие имена и не хуже: Шекспир, к примеру ... Или Платон. Тоже ведь не х** собачий. Но для подсудимого – Дюшан и хоть ты за**ись березовой палкой! Вот какая сука своевольная» («Норма»). (Мной выделены и бюрократизмы, и ругань, мат. – И.М.)*

В этом феерическом (несмотря на многие мои купюры) отрывке закручена масса смыслов: реальная образованность обвинителя, его литературный дар – и его же глубокая нетерпимость к другому мнению, полное отсутствие сочувствия к человеку, отсидевшему 35 (!) лет, что рекордно даже для СССР. Несчастный нестигающийся интеллеktуал, «сука своевольная», дорвавшийся до «испражнений культуры», – и начитанный представитель системы, втайне завидующий обвиняемому, – оба яркие продукты эпохи, и не только сталинской. Преимущество всех (новых и не новых) жанров – и дикий, непонятный для прокурора выбор (а ведь написано это за много лет до того, как «Фонтан» Дюшана на самом деле был в 2004 году назван 500 критиками наиболее важным произведением искусства 20-го века [27]).

Но главное – тот же эффект, что я подчеркивал раньше, при рассмотрении абсурда, насилия, секса и др.: при всей несовместимости стилей и идей – глубокая органичность того, что происходит; картина, в которой вместо смертельного антагонизма – неразличимость сторон. Язык прокурора, как и потенциальный (не описанный) язык обвиняемого, содержит всю возможную гамму отсылок, от романтизма до мата, от Бетховена до Уорхола; воронка действительно втягивает в себя все, что есть вокруг. Сорокин един в своих экспериментах как с действиями, так и с языком его персонажей: он использует разные приемы, но говорят они, по большому счету, об одном – что крайности, даже такие необычайно удаленные друг от друга, как в его прозе, удивительным образом сходятся. Это возможно только в нелинейном пространстве – типа тора. Тупик не есть забор в конце дороги, но бесконечное вращение по кольцу.

5. ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ СВОЙСТВАМИ

Я уже не раз говорил о том, что разные свойства прозы В. Сорокина именно в сочетании дают наиболее сильный эффект, и приводил соответствующие примеры (секс – насилие; критика соцреализма – буквализация метафор; власть – речевой абсурд и др.). На самом деле число такого рода комбинаций 23 различных свойств из табл. 1 очень велико – 253. Рассматривать их все и нет смысла, и невозможно физически в пределах данной статьи. Однако на некоторых, наиболее характерных, имеет смысл остановиться, поскольку они как-то проясняют внутреннюю логику автора.

Писатель, естественно, не думает о том, какие свойства сочетать в тех или иных пропорциях. Но даже простой статистический анализ, типа приведенного ниже, позволяет найти какие-то закономерности, говорящие о важности данных комбинаций для автора, осознает он их ясно или нет.

Я рассчитал *коэффициенты пересеканности* различных свойств в произведениях следующим образом. Допустим, требуется понять, как связаны два свойства: **насилие и власть** (табл. 1). По исходной таблице данных первое встречалось в 57 произведениях, второе – в 32, а совместно – в 22. Коэффициент равен $22/(минимальное значение из 57 и 32) = 22/32 = 69\%$. Конечно, я мог бы делить и на максимальное значение (57), и на сумму двух значений (57+32), и т.д., и каждый раз интерпретация коэффициента была бы иной. Но в принятом варианте, мне кажется, она достаточно ясная: в 69% случаев рассказов о **власти** говорится также о **насилии**, то есть власть тесно связана с насилием (но это не значит, что насилие так же тесно связано с властью, ибо $22/57 = 39\%$, что значительно меньше 69%).

Значения некоторых коэффициентов пересеканности приведены в табл. 2.

Таблица 2. Взаимосвязи некоторых свойств прозы В. Сорокина

		Необычность	Насилие	Власть	Россия	Абсурдность действий	Утопическое будущее
	Частота	63	57	32	20	18	10
Необычность	63	100%					
Насилие	57	56%	100%				
Власть	32	69%	59%	100%			
Россия	20	70%	65%	60%	100%		
Абсурдность действий	18	78%	61%	28%	33%	100%	
Утопическое будущее	10	40%	80%	60%	60%	20%	100%
Груз прошлого	7	43%	71%	57%	71%	14%	71%

В ней выделены значения, превышающие 50%, то есть говорящие о сильной связи. Сюда попали только некоторые характеристики из табл. 1; языковые проблемы я не рассматривал. Также я исключил некоторые свойства, уже рассмотренные в деталях (например, **секс**), но добавил некоторые важные свойства, такие как **груз прошлого, Россия, утопическое будущее, необычность**, которые затрагивались или очень мало, или вообще никак.

Свойства расположены в порядке убывания частот, то есть любое число в таблице показывает долю количества совпадений свойств по строке и по столбцу к общему количеству свойств по строке: например, 65% российской тематики связано с насилием (**Россия** стоит по строке); 57% груза прошлого сопряжено с властью (**груз** по строке) и т. д. Рассмотрим некоторые наиболее интересные связи в табл. 2 подробнее.

Насилие – Необычность ситуации (56%). Примеры уже приводились: один из наиболее ярких – «Падёж», другие – с переплавленными золотыми руками («Самородок»), с «е**нием мозгов» («Сердца четырех»). Вот еще – наиболее, пожалуй, развернутый: вся «Ледяная трилогия» одновременно фантастична и полна насилия, причем своеобразного: для поиска «братьев» необходимо произвести очень сильный удар по груди, в результате которого многие просто умирают. Если таковой проверенный оказался «пустым» – никто даже не пытается его спасти. Другой большой пример – «Голубое сало», в котором, скажем, «земле*бы» олицетворяют не просто наиболее первобытный патриотизм, но и направляют насилие на неясное им суперсовременное мероприятие (проект по выращиванию этого самого сала). То же в «Отпуске в Дахау». Особо изысканные (хоть и наименее, пожалуй, brutальные) формы насилия – в фееричной «Теллурии». В одной из новелл молодая Татьяна (чуть ли не принцесса), переодевшись, ходит по улицам Москвы и провоцирует ситуацию своего собственного изнасилования. Ее ближайшая подруга выговаривает ей за то, что она подвергает себя неоправданному риску, и шутя просит Татьяну взять ее с собой:

«– Возьму вдругорядь, непременно! – произнесла Татьяна, нахохотавшись.

– Только без гвоздей, подруга. Чтобы парни не оцарапались.

– D'accord!...– смахнула слезы смеха Апраксина.

Татьяна снова откинулась на подголовник, вздохнула:

– Ох, Глашенька, как это все же важно – давать народу своему. Как же это все-таки важно...

– Чтобы не изменил? – с похотливой усмешкой спросила Апраксина.

Глядя в расписной потолок, Татьяна подумала и ответила серьезно: – Чтобы любил».

В этом чудном эпизоде неожиданным образом обыгрывается смысл слова «давать» – оно предполагает, что добровольное

действие с ее стороны должно обязательно сопровождаться насилием со стороны принимающей! Велик, воистину, и могуч...

То, что насилие у Сорокина в большей мере изоциренное, связанное с необычностью поведения героев или необычными обстоятельствами, дополнительно подтверждается высоким коэффициентом связи насилия с **Абсурдностью действий** – 61%.

Мрачное отношение к **России** в 70% случаев связано с **Необычностью** сюжета, в 65% – с **Насилием** и в 60% – с **Властью**. В «Падёже» все три компонента достигают критических значений, в «Голубом сале» – тоже. Диалогия «День опричника» и «Сахарный Кремль» – признанный шедевр политической сатиры, в котором с некоей, я бы сказал, меланхоличностью детальнейшим образом воспроизводятся те явления, которым еще предстояло проявиться в России со всей ясностью лишь в 2014 году. Это, наверно, наиболее прозрачный пример прозорливости писателя, о чем говорить стало уже общим местом. Вот характерная цитата из «простого читателя»: *«Сорокина страшно читать, потому что с ужасающей быстротой появляются в нашей жизни, казалось бы, абсурдные вещи, описанные в его книгах»*. В диалогии никто не ревет вдруг «Прорубоно!», но дела делаются серьезные, с полным пониманием их государственной важности. Там есть и Западная Стена, которую на наших глазах начинают строить прямо сейчас (август 2014); всеисие репрессивных органов; отчаянная «смелость» режиссера, который дерзает показать «жопоё*ие», несмотря на запрещенность оного цензурой, и считает именно это свободой слова; каноническая нелюбовь Государя к нецензурным словам и вообще неприличному, которая, конечно, гармонично сочетается с реальностью таким примерно образом:

«Сладко оставлять семя свое в лоне жены врага государства. Слаще, чем рубить головы самим врагам... Цветные радуги плывут перед глазами. Уступаю место Посохе. Уд его со вишитым речным жемчугом палице Ильи Муромца подобен.

... Выхожу из дома на крыльцо, сажусь на лавку. ... Выходит Посоха на крыльцо: губищи раскатаны, чуть слюна не капает, глаза осовелье, уд свой багровый, натруженный никак в ширинку не заправит. ... Из-под кафтана книжка вываливается. Поднимаю. Открываю – «Заветные сказки». Читаю зачин вступительный:

*...В те стародавние времена на Руси Святой ножей не было, посему мужики говядину х**ми разрубали.*

А книжонка – зачитана до дыр, замусолена, чуть сало со страниц не капает.

– Что ж ты читаешь, охальник? – шлепаю Посоху книгой по лбу. – Батя увидит – из опричнины турнет тебя!

– Прости, Комяга, бес попутал, – бормочет Посоха.

– По ножу ходишь, дура! Это ж похабень крамольная. За такие книжки Печатный Приказ чистили. Ты там ее подцепил?

– ... У воеводы того самого в доме и притырил. Нечистый в бок

толкнул.

– *Пойми, дурак, мы же охранная стая. Должны ум держать в холоде, а сердце в чистоте.*

– *Понимаю, понимаю... – Посоха скучаяще чешет под шапкой свои чернявые волосы.*

– *Государь ведь слов бранных не терпит.*

– *Знаю.*

– *А знаешь – сожги книгу похабную» («День опричника»).*

Тот же эффект, что и рассмотренный ранее, в Разделе 3: люди на полном серьезе ощущают «моральность» всего происходящего, не видя противоречий между обязательностью законного коллективного насилия и незаконностью чтения «похабной книги». Нет разницы между Словом и Делом, кроме той, которая установлена властным дискурсом, а в нем уже *разница может быть любой.*

Бесконечно долго можно было бы рассуждать о нынешней России и об отношении к ней глубоко антитоталитарного Владимира Сорокина – но я не хочу этим заниматься. Как говорил Рабинович из анекдота (когда развешивал листовки без текста), – чего писать, и так все ясно. В. Сорокин, вскрывая некие константы жизни вообще, вовсе не обязательно специфицирует их на российском материале, – но когда делает это, точность его диагноза, безусловно, вырастает.

Утопическое будущее почти полностью пропитано **Насилием** (80% – максимальный коэффициент в табл. 2) и тесно связано с **властными** категориями (60%). Это касается и мрачного президентства («Пепел»), и тоталитарной монархии (диалогия), и феодализованного сценария («Теллурия»), и Всемирного Правительства («Ю»), и «экологического рая» («ШЦи»).

Вот как показана заветная мечта любого властителя – искреннее почитание его народом (по сюжету, Президент Республики Теллурия – что, как всем известно, на Алтае, – Жан-Франсуа Трокар, спустившись на горных лыжах с вершины по сложному склону, скидывает лыжи и на крыльях управляемого планера влетает в долину) :

«В долине показались крестьянские домики и – дымы, дымы, восходящие кверху, дымы, смысл которых был один: мы ждем тебя, мы любим тебя. Его ждали. И любили. Сотни дымов от сотен костров. Это дорогого стоило. Эти дымы были ни с чем не сравнимы – ни с овациями, ни с почестями мировых элит, ни с почетным караулом, ни с богатством и властью. И он всегда радостно улыбался, влетая в долину.

Крестьяне ждали его. Он летал исключительно по выходным дням и только в хорошую погоду. Живущие возле горы знали это. Еще они знали, что их президент после полета любит съесть пиалу алтайского бараньего супа кече, сваренного на костре. И сотни крестьян-скотоводов с утра смотрели из-под ладоней на небо – будет ли оно ясным? А если было – кололи дрова, разводили огонь, подвешивали над костром казан с чистой

горной водой, шли в овчарню, выбирали самого красивого и молодого барашка, резали, свеживали и варили кече. И ждали своего президента. Из-за неизменного черного комбинезона и таких же крыльев его прозвали Черным Аистом. Черный Аист прилетал с Белой горы, становясь гостем на час в любой семье, принося счастье» («Теллурия»).

И в этот малоизвестный идиллический край занесла вездесущая лира автора «Падёжа» и прочих кошмаров; подморгнул, так сказать, некоему любителю полетать. В самом эпизоде никакого насилия нет, одна любовь, но легко можно себе представить, что понадобилось сделать французскому авантюристу 22 года назад, чтобы стать «Президентом» на Алтае.

Груз прошлого – несколько неуклюжее название (не нашел другого) того эффекта, что прошлое так или иначе предопределяет поступки человека в данное время, оно неискоренимо и подавляет возможности его развития. Такой эффект в сильной степени был виден для меня в семи вещах, хотя так или иначе он присутствует почти везде. Эта тема представляется мне очень важной, и даже одной из ключевых. Как видим, **Груз** связан на высоком уровне (60-70%) почти со всеми характеристиками табл. 2, в том числе и с **Будущим** (то есть тянуть за ноги будет и дальше). Прошлое может быть «физическим» (в «Моноклоне» один очень старый человек убивает другого такого же за какие-то неразъясненные давние лагерные дела), но куда важнее, когда оно сидит в человеке как его неотъемлемая сущность. Вся диалогия («День опричника» и «Сахарный Кремль») – мощное и печальное «напоминание о будущем», которое есть по сути возврат в генетическое прошлое. «Метель» буквально воспроизводит вечную матрицу русской жизни: порыв (искренний) что-то сделать «для народа» (причина поездки доктора Платона Ильича); простой, хороший, жалостливый Перхуша со своим маленькими лошадками; русская безнадежная метель; русская неопределенность места и времени (будущее подано как 19-й век с хайтек-инновациями 22-го); русская (она же почти кафкианская) недостижимость цели; жертвенность и смерть Перхуши-народа; и, наконец, настоящее будущее – спасение в форме огромного трехэтажного **Китайского** (табл. 1) коня. Вот эта последняя деталь – не из прошлого. Но и она – не намек ли на архетипический образ спасения извне, не изнутри?

В наиболее жуткой форме, вне всякой связи с насилием, властью и проч. представлена власть прошлого как таковая в рассказе «Обелиск». Старуха мать и пожилая дочь подходят к военной могиле мужа и отца через много лет после его гибели:

« – Вот и ляжишь, Коленька, и ляжишь, – произнесла старушка и запричитала нараспев, – ляжишь ты, Колюшка, ляжишь ты, золотенький. А чего ж и делать-то надобно, что ж нам поделать, ничаво не поделать. И вот пришли к тебе в гости жена твоя Галина, да доченька твоя Маруся, да вот пришли-то и навесить тебе и как ты ляжишь. А и как же без тебе мы живем, а и все-то у нас тижало без тебе... А и как же ты, Колюшка, да и ляжишь-то без нас один ... А и все и помним мы, Колюшка,

а и все храним, золотиенькай ты наш. А и помним мы все, Колюшка, а и помню я, помню, как учил нас завету, как научил нас и завету-то своему. ... А и вот и доченька твоя Маруся и все мы с ней делаем по завету твоему, все делаем как надобно, и вот святой крест кладу тебе, а и все мы делаем как ты наказал. И вот доченька твоя Маруся и все тебе расскажет, как и делает все по завету твоему, чтоб ты таперича и спал спокойно...

Галина Тимофеевна вытерла дрожащими пальцами слезы и посмотрела на дочь. Та, немного помедлив, опустила сумку на гравий, сцедила руки на животе, склонила быстро покрасневшее лицо и стала говорить неуверенным, запинаящимся голосом:

*– ...Папаничка, родненький, я каждый месяц беру бидон твоей, ... который ты заповедал... И потом мы, потом каждый раз, когда мамочка моя родная оправляться хочет, я... я ей ж**у над тазом обмою и потом сосу из ж**ы по-честному, сосу и в бидон пускаю...*

– А и сосет-то она, Колюшка, по-честному, ...и в бидон пускает, как учил ты ее шестилетней! – перебила Галина Тимофеевна, трясясь и плача. – Она мне сосет и сосала, Колюшка, и родненький ты мой, сосала и будет сосать вечно!» («Обелиск»).

Массу других отвратительных подробностей я опускаю. Это невообразимое слияние реальной трагедии и глубоких чувств, верности и преданности без границ с многолетним исполнением безумного (а может, и ошибочно понятого в свое время) «завета» абсолютно отчетливо высвечивает нечто очень глубокое в творческой манере Сорокина. Он показывает, как самые невероятные гадости могут органично сливаться с самыми высокими переживаниями – и не ощущаться изнутри гадостями. Несмотря на физиологическую схожесть самого процесса (попадания экскрементов в рот) с тем, что делается в «Норме», суть здесь совершенно иная. И становится ясной одна простая вещь: дерьмо и там и там взято лишь по одному признаку – это символ наиболее низкого в человеческой иерархии, дальше идти некуда. А Сорокину нужны именно крайности. Так что в известном смысле он «обречен» пользоваться этим продуктом. А читатели обречены преодолевать отвращение для уразумения всей идеи в целом. В частности, вот такой: *из прошлого можно взять абсолютно все, любую девиацию или дикость – и придать ей сколь угодно возвышенный статус.* Понимание этого чрезвычайно важно.

Меня всегда занимало, как по-разному трактуются, скажем, сакральные тексты. Религиозные сионисты (Раби Кук) видят в Торе ясное предзнаменование необходимости создания еврейского государства – а сатмары (Раби Тетельбойм) так же ясно видят, что Государство Израиль ни в коем случае не нужно было создавать. Переубедить никого нельзя лет по крайней мере 90. Ну ладно, тут еще возможны различные интерпретации разных кусков огромного текста. Но есть проблемы типа: на что обращать внимание, а на что – нет (*problem of commission and omission*). Все религиозные тексты содержат много чего, и надо очень стараться, чтобы периодически не впадать в противоречия. Скажем, в одной суре Корана евреи

называются свиньями и собаками, а в других – считается, что они вполне ничего, если платят налог и не высовываются. Дальнейшее (что именно войдет в чью именно традицию) зависит от того, какая сура чаще применяется, а какую игнорируют. Подобных примеров в истории бесчисленное множество. Сорокин, доведя эту особенность человеческого сознания, как он обычно делает, до полной крайности, заново привлекает внимание к печальному факту ее существования. И социосистемике это очень небезразлично.

6. РАСПОЛОЖЕНИЕ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ

Если попытаться в предельно краткой форме показать расположение творчества Владимира Сорокина в культурном пространстве среди других направлений и жанров, то получится картина, изображенная на *Рис. 1*.

Рис. 1. Художественный мир Владимира Сорокина



Как эта схема была получена, легко увидеть на примере Ф.Кафки. Кафка показал вплетенность абсурда в ткань повседневности через описание действий; его абсурдность выше нормы (зона правее середины по оси действий); Сорокин довел абсурдность и брутальность действий до куда более отдаленных пределов (то есть расширил график вправо). Кафка использовал

исключительно обыденный, часто даже подчеркнута канцелярский язык для описания довольно диких вещей. Сорокин использовал и обыденный и необыденный язык (то есть расширил график вверх). Подобным образом можно проанализировать и другие направления в литературе. Сорокин фактически не знает границ ни в чем, арсенал его приемов перекрывает все ранее известное, с точки зрения нащупывания границ возможного.

При этом он никогда, насколько мне известно, не занимался искусством для искусства, но всегда преследовал какие-то «настоящие цели». Странная книга «В глубь России» [25], сделанная совместно с «экстрим-перформансистом» О.Куликом, – пожалуй, единственное (известное мне) исключение. Зная в целом творчество Сорокина, ее можно расценить как некую мрачную не очень удачную шутку (что я и делаю). А не зная – как некий экспонат на выставке современного искусства, мимо которого я бы прошел не остановившись (книга и сделана как предмет искусства, где фотографии играют куда большую роль, чем текст). Это обстоятельство характерно: те же самые приемы в одной среде порождают соучастие, в другой – нет. Ясно, что книга исключительно «концептуальна» – но от этого никак легче не становится. Единственная причина: в книге ничего, кроме этого самого концептуализма, нет, а в других текстах есть, что я и пытался показать.

Концептуализм, действительно, был у истоков становления В.С. Он находился в близкой дружбе с немного более старшими Д.Приговым и Л.Рубинштейном, был под влиянием Э.Булатова – и, единственный, далеко ушел от этого. Неподражаемый Пригов до конца своих дней совершенствовал однажды найденный стиль. Рубинштейн неожиданно для многих переключился на политическую эссеистику и до сих пор блистательно демонстрирует концептуалистскую любовь к смыслу слова, даже в мутной воде российского политического дискурса. Булатов, поддержав юного Владимира, не смог воспринять его очень рано проявившуюся неостанавливаемость ни перед какими табу. Сам Булатов продемонстрировал всей своей многолетней творческой карьерой именно верность принципам: его работы много лет воспроизводят в новых вариантах прямые дихотомические коллизии (типа «Иди-Стой»), изображенные в золотой период соцарта 60-х и 70-х годов, так поразившие в свое время публику. Сорокин же давно ушел и от дихотомичности, и вообще от всего, что можно назвать «направлением».

В.Сорокин далек от оптимизма относительно внутренних свойств человеческой природы – но не устает поражаться ее гибкости и приспособляемости. Он провидит будущее ярче многих футурологов (поэтому его «страшно читать» – см. Раздел 5), он не боится насыщать свои видения самыми смелыми деталями альтернативных (и равно убедительных) сценариев; его прогнозы уже во многом сбылись – но делает он все это на основе внутренней

уверенности в неизменности глубинных первобытных инстинктов и непереосмысленных традиций. Он, как никто другой, показал всю невероятную лживость коммунистического строя, «взорвал» его на бумаге, «убил» его литературу изнутри – и оказался свидетелем возрождения его наиболее гнусных черт в новом виде в наше время.

Сорокин никогда не рассуждает в текстах сам, в качестве всемогущего автора; не вставляет свои комментарии, не занимается морализаторством, *не проповедует и не поучает*. Все эти вещи, если там они и есть, вложены в уста героев. В этом отношении он полифонично выражает «глас народа» (который представлен огромным разнообразием персонажей), нечто противоположное «пророческому типу» писателей, от Л. Толстого до А. Солженицына. Как правило, описание обстановки и разговоры героев кинематографичны. Такой подход позволяет полностью избавиться от прямого психологизма, оставляя все проблемы «генезиса» героев на усмотрение читателя.

По этой же причине в его текстах несопоставимо больше действий, чем описания намерений, к этим действиям приводящих. Это полностью *находится в парадигме социосистемики*, где измерению подлежат только действия (по той простой причине, что намерения измерить просто невозможно). Намерения становятся ясными из «самой природы вещей».

Такой подход к жизни в корне противоположен конспирологическому, где вся тяжесть ложится на чьи-то намерения (предполагаемые, но не доказанные). И здесь Сорокин очень нетривиален, ибо свободен от обсессивного внимания к «таинственным силам», направляющим ход событий, и от усматривания в различных бедах кого-то со стороны. Этот тип мышления крайне характерен для миллионов людей, и, мне кажется, особенно моден сейчас среди политической и даже интеллектуальной элиты России. Он пронизывает, например, творчество В. Пелевина, что было видно и ранее, но особенно ясно проявилось в недавнем S.N.U.F.F. По Пелевину, все происходит, поскольку миром правят фундаментально материальные интересы, и вся цивилизация цинично построена политиками только для их корректного сокрытия (обмана). По Сорокину, миром правят мрачные силы, инстинкты, древние традиции, сама природа вещей – и очень часто все эти силы совершенно иррациональны. В его мирах всегда много центров власти, хотя иногда они и коллапсируют в один, но все внешние институты – как пленка над лавой темных страстей. Сорокин, иными словами, показывает мир как нечто *самоорганизующееся*, что полностью соответствует и истине, и принципам социосистемики.

Манера Сорокина чрезвычайно ярко освещать отдельные кусочки жизни, затем бросать их недопоказанными (при этом уже приковав внимание читателя к персонажам буквально за полстраницы знакомства) и переходить к другим – очень важный новаторский прием, который подчеркивает сам по себе хаотичность

существования, неясность путей наших и их пересечений, абсурдность самой идеи что-либо «до конца» проследить. *Концов нет, кроме того, единственного*, – вот, наверно, самая главная мысль. Сама по себе она, конечно, не нова, но способ ее подачи таков, что уже ценишь сами калейдоскопичные кусочки. А это уже, как ни парадоксально, и есть оптимизм...

Абсурдизм, жестокость, изысканное и безумное по форме насилие, отвратительные, никогда в литературе не затрагиваемые «карнализационные» подробности, – все это лишь приемы, доказывающие две частично противоречащие друг другу вещи. Первая: в человеке все это есть и может проявиться чуть ли не в любую минуту, причем человек может перехода и не заметить. Вторая: существует определенный социальный строй, в котором граница между таким экстримом и «нормой» особенно легко преодолевается и фактически полностью размывается – и в жизни, и в языке. По сути, первое противоречит второму в той же мере, в какой идея свободной воли противоречит идее предопределенности и рока. Сорокин смог противопоставить эти две вещи на совершенно особом материале, и в этом, возможно, и есть его главный вклад в мировую культуру.

* * *

Я очень благодарен Илье Липковичу за стимулирующие беседы и полезные ссылки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Толстовский ежегодник, 1912 (цит. по.: Алданов М. Портреты. М.: Захаров, 2007, том 2).
2. Гершензон М. Избранное. Москва – Иерусалим, Университетская книга, Gesharim, 2000, том 4.
3. Александров Н. Осень постмодернизма. The New Times, № 33 (301), 14 октября 2013.
4. Kahneman, D. Thinking fast and slow. Farrar, Straus and Giroux, 2011.
5. Липовецкий М. Сорокин-троп: карнализация, www.magazines.russ.ru/nlo/2013/120/
6. Калинин И. Владимир Сорокин: ритуал уничтожения истории. Новое литературное обозрение, 2013, № 120.
7. Екатерина Деготь о Сорокине. Рецепт деконструкции. 1995, www.klinamen.dironweb.com/read2.html
8. Марусенков М. Абсурдопедия русской жизни Владимира Сорокина: заумь, гротеск и абсурд. СПб.: Алетейя, 2012.
9. Mandel, I. Sociosystemics, statistics, decisions. Model Assisted Statistics and Applications. 6, 2011, 163-217.
10. Мандель И. Незабываемое как статистическая проблема. Анализ процессов забывания прочитанного на примере отдельной личности. 2014, www.7iskusstv.com/2014/Nomer6/Mandel1.php
11. Мандель И. «Измеряй меня...» Осип Мандельштам: попытка измерения. 2013, www.club.berkovich-zametki.com/p=1687
12. Mandel, I. Fusion and causal analysis in big marketing data sets. Proceedings of JSM, ASA, 2013, 1624-1637.

13. Lipovetsky, S. and Mandel, I. Modeling Probability of Causal and Random Impacts. (Принята для публикации в журнале *The Journal of Modern Applied Statistical Methods*, 2014).

14. Žižek, S. Language, Violence and non-violence. *International Journal of Zizek Studies*. 2, No. 3, 2008.

15. Берг М. Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе. М.: Новое литературное обозрение, 2000.

16. *On Aesthetics in Science*. (Wechsler, J., Ed.) The MIT Press, 1981.

17. Lehrer, J. *Proust Was a Neuroscientist*. Mariner Book, 2008.

18. Kandel, E. *The Age of Insight: The Quest to Understand the Unconscious in Art, Mind, and Brain, from Vienna 1900 to the Present*. Random House, 2012.

19. Уёмов А. И. Аналогия в практике научного исследования. М.: Наука, 1970.

20. Lakoff, G. *The Contemporary Theory of Metaphor*. In: *Metaphor and Thought*, Cambridge University Press, 1993, 202-252.

21. Snow, C. *The Two Cultures*. Cambridge University Press, 2001 [1959].

22. Ariely, D. *The (Honest) Truth About Dishonesty*. Harper Collinse Publishers, 2012.

23. Milgram experiment, www.en.wikipedia.org/wiki/Milgram_experimentand (там же – ссылки).

24. Кулик О., Сорокин В. В глубь России. Институт современного искусства. М., 1994.

25. Lehrer J., to answer our most fundamental questions, science needs to find a place for the arts, www.seedmagazine.com/content/article/the_future_of_science_is_art, 2014.

26. Популярный российский писатель Лев Аннинский: «Талантливая провокация интереснее серости и скуки», 2009, www.teatr-tolstogo.ru/theatre/press/12.html.

27. Duchamp's urinal tops art survey, 2004, www.news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/4059997.stm

28. Сорокин В. Метель (электронная книга), 2012, www.litres.ru/vladimir-sorokin/metel/.



Юрий Окунев – ученый в области теоретической радиотехники. Окончил С.-Петербургский государственный университет телекоммуникаций. С 1993 года работает в телекоммуникационной индустрии США. В 2007 году Институт инженеров электроники (IEEE) присудил ему награду имени Чарльза Гирша за «выдающийся вклад в теорию фазовой модуляции и разработку мобильных систем радиосвязи». Юрий Окунев опубликовал несколько книг и большое число очерков на русском и английском языках. Книга «Ось

всемирной истории» в английском переводе получила награду *USA Book News – “The National 2008 Best Book Awards”*. Многочисленные очерки Юрия Окунева опубликованы в интернет-изданиях; его вебсайт: www.yuriokunev.com.

Некто Розинер

*Тропой альпийской в снег и мрак
Шел юноша, державший стяг.
И стяг в ночи сиял, как днем,
И странный был девиз на нем:
Excelsior!*

*Горели в окнах огоньки,
К уюту звали очаги,
Но льды под небом видел он,
И вновь звучало, словно стон:
Excelsior!*

*И труп, навеки вмерзший в лед,
Нашла собака через год.
Рука сжимала стяг, застыв,
И тот же был на нем призыв:
Excelsior!*

*Меж ледяных бездушных скал
Прекрасный, мертвый он лежал,
А с неба, в мир камней и льда
Неслось, как падает звезда:
Excelsior!*

Генри Лонгфелло¹

Скажите честно, уважаемый читатель, скажите сразу, навскидку – вам говорит что-нибудь фамилия Розинер? А если с именем – Феликс Розинер? Я невзначай задал эти вопросы нескольким десяткам моих друзей и знакомых – людей образованных и

¹ Отрывок из знаменитого стихотворения “Excelsior” в переводе В.В. Левика.

читающих, среди которых – даже люди с литературно-филологическим образованием. Большинство из них не знали, кто такой Феликс Яковлевич Розинер.

Как получилось, что мы едва ли не проглядели этого нашего замечательного современника, диссидента-шестидесятника, поэта, прозаика, эссеиста, барда, автора стихов, рассказов, пьес, повестей и романов, удостоенных престижных литературных премий в Париже, Иерусалиме и Санкт-Петербурге? Наконец, почему интеллигенция, столь чувствительная к преступлениям тоталитарных режимов, так вяло среагировала на один из лучших антитоталитарных романов мировой литературы второй половины XX века? Почему этот выдающийся роман, подпольно написанный Феликсом Розинером в Москве в глухие времена брежневской коммунистической диктатуры и переведенный впоследствии на французский, английский, иврит и другие языки, вообще мало кому известен? Почему его автор, номинированный на Нобелевскую премию, что не так уж часто случалось в русской литературе, даже не был упомянут ни в российском «Большом энциклопедическом словаре» 1999 года, ни в энциклопедическом словаре «Русская литература» 2001 года, ни в «Новом энциклопедическом словаре» 2007 года? Почему в самом популярном в России книжном интернет-магазине *www.ozon.ru* про этот роман века сучно сказано – «Букинистическое издание [*sic*] – Нет в продаже»?!

Неудержимое желание написать хотя бы краткий очерк о Феликсе Розинере и его замечательном романе возникло у меня, когда мне показалось, что я нашел ответы на эти вопросы. Но найти – не значит смириться, ибо невыносимо печальными остаются как сами вопросы, так и ответы на них. Как ужасен факт скоропалительного забвения творческого достижения столь огромного масштаба, равно как и факт забвения творческого подвига нашего современника даже не через поколение, а сразу, немедленно, тут же... «не приходя в сознание». Как отвратительны плохо прикрытые фиговыми листками пресловутых «духовных скреп» попытки искусственного отторжения выдающегося писателя от русской литературы.

Один из персонажей романа Феликса Розинера говорит: *«Прекрасно в искусстве все, на чем нет мертвой заботы запечатлеть себя... Прекрасно в искусстве все, что не осознало себя... Прекрасно в искусстве все, что не ищет огласки»*. Допускаю, что Феликс Яковлевич, подобно главному герою своего романа, так и думал, а вернее – именно так ощущал тайную связь между творцом и творением, но мы – те, кому, в конце концов, досталось творение, не имеем права забывать творца...

Через все перипетии эмигрантской жизни с ее многочисленными переездами и нелитературными заботами пронес я незаметный томик этой книги в скромной (самодельной,

наверное) желтой обложке, за чтение и даже хранение которой в Советском Союзе начала 80-х годов, как говорится, сажали.



Не помню имени той женщины, которая в Ленинграде принесла нам домой и оставила почитать стопку запрещенных книг – стихи Мандельштама и Цветаевой, «Реквием» Ахматовой, «Раковый корпус» и «Архипелаг Гулаг» Солженицына, «Доктор Живаго» Пастернака, «Некто Финкельмайер» Розинера, еще что-то... Шел 1982 год, советский режим впадал в старческий маразм в прямом и переносном смысле, но отнюдь не собирался разжимать бульдожьей челюсти – где-то через полгода ту женщину-диссидентку арестовали «за распространение антисоветской литературы». Об этом нам сообщил ее муж: «Идет следствие, в изъятой записной книжке жены есть ваш телефон – срочно избавьтесь от книг». Пришлось переслать «крамольную»

литературу в надежное место, но томик «Некто Финкельмайер» остался, затерявшись в огромной домашней библиотеке – уж очень неприметным и безобидным казался он на фоне многотомных изданий русской и мировой классики. На самом же деле только, может быть, «Архипелаг ГУЛАГ» превосходил по «антисоветской зловредности» роман Феликса Розинера.

Роман был закончен в 1975 году, во времена самого что ни на есть ядовитого цветения брежневско-сусловского партийного руководства. Ни малейших надежд на его публикацию в СССР, конечно, не было, и вопрос заключался лишь в том, как переслать рукопись за границу и тем самым сохранить ее для потомков. Складывалась ситуация, подобная той, в которую попал Василий Гроссман со своим романом «Жизнь и судьба» за десять с лишним лет до того, с той лишь разницей, что у Гроссмана была хотя и наивная, но крошечная надежда на публикацию романа на родине во времена хрущевской оттепели, а у Розинера уже не было никаких иллюзий или надежд. Известный филолог и публицист Азарий Мессерер, близко знавший Феликса Розинера еще по Москве, рассказывает любопытную историю спасения романа:

«Феликс, инженер по образованию и человек незаурядно изобретательный, придумал хитрый план контрабандной пересылки своего первого романа на Запад. Он переснял весь роман и, как ему

показалось, ловко запрятал кассеты с пленкой в багаже четырнадцатилетнего сына, когда тот в 1977 году улетал в Израиль с первой женой Феликса. Увы, бдительных советских таможенников провести не удалось – кассеты были конфискованы. Феликс расстроился, но ненадолго – он умел с юмором воспринимать неприятные события. А для разрядки от стресса сочинил песню о том, как его роман попал в лапы КГБ, с едко ироничным припевом: «Хоть какой-никакой, есть теперь у романа читатель!» Со временем ему все же удалось переправить «Финкельмайера» на Запад с моей помощью и с помощью американских корреспондентов, с которыми я познакомился, сидя в отказе».

Пересказывать содержание романа «Некто Финкельмайер» – дело пустое, бессмысленное. Роман этот не терпит банальности, он чуждается простоты – той, которая хуже воровства, он сам по себе – вызов тривиальности и «общепринятости» как по содержанию, так и по форме. Слова, наши обыденные слова, бессильны передать блеск словесной вязи романа Феликса Розинера, которому, подобно его герою в поэзии, удалось в прозе «придать словам зыбкость, лишить их фиксированных значений, придать словам текучесть, а тексту подвижность». Таинственное библейское изречение «В начале было Слово...» напрямую относится к роману Розинера, ибо оно, розинерское Слово с большой буквы, с его темпом, динамикой, паузами и даже пропусками задает и ведет сюжет, формирует множественные импровизации и образы романа. Не угнаться нам за этим словом на пределе возможного...

И тем не менее, рискну высказать несколько мыслей о том, что поразило меня лично в романе едва ли не с первых страниц, поделиться впечатлениями чисто читательскими, без всяких претензий на литературоведческий анализ...

ААРОН-ХАИМ ФИНКЕЛЬМАЙЕР

Роман «Некто Финкельмайер» производил на первых читателей ошеломляющее впечатление. Поэт и прозаик Лариса Миллер рассказывает:

«Я и мой муж были одними из первых, кому Феликс дал почитать рукопись – толстенную папку машинописных страниц. Это же всегда проблема, когда друзья делятся своим творчеством – а вдруг не понравится. И хорошо помню ту радость, которую мы испытали, прочитав самое начало. Я сразу же бросилась звонить Феликсу (к автомату: тогда, в 1975 году, у нас еще не было телефона), чтобы высказать свое восхищение. А потом я целый год возила эту рукопись по друзьям и знакомым...»

Вспоминаю, что при первом чтении романа «Некто Финкельмайер» меня особенно поразила его необычная по тем временам стержневая тема: столкновение с реальной жизнью и страдания гениального поэта, вынужденного сочинять и публиковать свои произведения от имени другого человека.

Феномен творчества под чужим именем, вообще говоря, хорошо известен во всем мире. До сих пор некоторые литературоведы

предполагают, что автор великих шекспировских драм и сонетов по каким-то причинам скрыл свое подлинное имя и приписал эти шедевры другому человеку. Абсолютно достоверных примеров из близких нам времен очень много. Румынский писатель Михаил Себастиан (Иосиф Гехтер), автор известной пьесы «Безымянная звезда», в годы Второй мировой войны издавал свои произведения под румынскими именами, так как евреям было запрещено публиковаться в фашистской Румынии. Вспоминая также, что французский композитор Жозеф Косма, автор популярной мелодии «Опавшие листья», в годы оккупации Франции нацистами публиковал музыкальные сочинения через подставных лиц, чтобы не раскрыть свое еврейское происхождение. В Советском Союзе, как теперь хорошо известно, широко практиковалось подобного рода творчество, равно как и использование наемных анонимных авторов для написания «гениальных произведений» партийных вождей – тоталитаризм, партийно-государственная диктатура, несомненно, провоцируют и стимулируют разнообразные формы лжеавторства.

Феликс Розинер, по-видимому впервые в русской литературе, доводит сюжет лжеавторства до чудовищного гротеска. В соответствии с партийными планами «строительства национальных культур», всем народам Советского Союза, в том числе не имеющим своей письменности малым народам Севера, предписано иметь национальных писателей и поэтов. Аарону-Хаиму Финкельмайеру, уже отличившемуся в качестве казенного поэта под псевдонимом А.Ефимов в армейской газете, предлагают писать стихи от имени тонгорского охотника Данилы Манакина под псевдонимом Айон Неприген. Аарон соглашается участвовать в мистификации в надежде подзаработать и заодно опубликовать свои стихи, у которых в противном случае нет решительно никаких шансов быть напечатанными. Сюжет этот масштабно развивается в совершенно гротескном варианте, напоминая роман Франца Кафки, – реалистично вырисованные и хорошо узнаваемые детали советской жизни непринужденно вписываются в совершенно абсурдную в целом ситуацию. Малограмотный пьяница Манакин благодаря невероятному успеху поэзии Финкельмайера становится крупным чиновником в области управления культурой, известным поэтом, членом Союза советских писателей. Поверив в свою полную безнаказанность и правоту, он в конце концов присваивает себе произведения Финкельмайера, который, в свою очередь, даже и не собираются отстаивать авторство – «прекрасно в искусстве все, что не ищет огласки». Эта стержневая линия романа завершается вполне кафкианской жуткой развязкой с блестяще прорисованными житейскими деталями на общем фоне огромного абсурдистского концлагеря где-то на далеком Севере.

Обозначив главным героем Аарона Финкельмайера, автор романа с первой же страницы вводит в повествование другую не менее важную фигуру – Леонида Никольского. Русский

интеллигент, профессионал, умница, аристократ по духу, яркая личность с взрывным темпераментом, Никольский является двигателем сюжета, в котором Финкельмайер – центральный субъект рассмотрения. Никольский талантлив во всем, кроме своей собственной жизни. В замечательном размышлении о счастливых и несчастливых людях в самом начале второй части романа Никольский признается, что *«никогда не умел... подумать о себе, что счастлив»*. Более того, он уверен, *«что окружающая его жизнь паскудно устроена – потому, помимо прочего, паскудно, что в ней просто-напросто не может выпасть тот единственный, нужный ему шанс, так как в этой сволочной жизни подобного шанса вовсе не существует...»* Внезапно Никольский увидел такой «единственный, нужный ему шанс» во встрече с поэзией Финкельмайера, и теперь их судьбы неразделимы. Поначалу представляется, что между Никольским и Финкельмайером неизбежен конфликт – конфликт двух самодостаточных личностей с противоположными темпераментами, тем более что оба они влюблены в одну женщину, обаятельную ссыльную литовку Дануту (еще один колоритный образ в галерее выразительных и запоминающихся женских образов романа). Конфликта, однако, не происходит, а взаимное притяжение главных героев романа, напротив, усиливается. Это притяжение двух частиц с противоположными зарядами, это притяжение гения и таланта. Писатель Дмитрий Быков, сравнивая поэзию Булата Окуджавы и Александра Галича, как-то высказал мысль, что нет ничего более противоположного, чем гений и талант. Это, на первый взгляд парадоксальное, заключение, по-видимому, имеет право на обсуждение. Действительно, гению противостоит не бездарность, которую он просто не замечает, ему противостоит талант, к которому гения, круглого сироту в этом мире, притягивает творческий заряд противоположного знака. С другой стороны, в мощном поле гения талант испытывает искушение приблизиться к своему наивысшему воплощению. Такие мысли приходят на ум при сопоставлении образов Никольского и Финкельмайера.

* * *

История судеб и взаимного притяжения Никольского и Финкельмайера вписана автором в обширную картину жизни кружка московских интеллигентов начала 1960-х годов. Время действия романа обозначено довольно четко: конец хрущевской оттепели, время демократических устремлений и надежд советской интеллигенции, получивших название движения «шестидесятников». Эти надежды были окончательно утрачены после знаменитого посещения Никитой Хрущевым выставки художников в декабре 1962 года. Лидер страны охаял работы художников-авангардистов словами «дерьмо», «говно», «мазня», а затем, сорвавшись на крик, приказал:

«Я вам говорю как Председатель Совета Министров: все это не нужно советскому народу. Понимаете, это я вам говорю! ... Запретить! Все

запретить! Прекратить это безобразие! Я приказываю! Я говорю! И проследить за всем! И на радио, и на телевидении, и в печати всех поклонников этого выкорчевать!»

Герои романа «Некто Финкельмайер» пытались спасти «это безобразие» – работы не признанных властью художников, и они, естественно, попали под предписанное партийным вождем «выкорчевывание». Автор отнюдь не фокусирует внимание на противостоянии интеллигенции режиму, его герои едва ли не насильственно втягиваются в это противостояние карательными органами самого режима, которым приказано заниматься «выкорчевыванием». В романе абсолютно отсутствует прямая политическая борьба московских интеллигентов с режимом, которую, возможно, ожидают от шестидесятников современные читатели. Их встречи напоминают скорее некие божественные собрания наподобие вечеров петербургской творческой элиты начала XX века в Башне Вячеслава Ив́анова. Описанное в романе Прибежище – это оскверненная советской действительностью, искаженная до гротеска Башня, где роль лидера, вместо блистательного поэта-символиста Вячеслава Ив́анова, выполняет не менее блистательный лектор-эрудит Леопольд Михайлович, бывший официант ресторана «Националь». Феликс Розинер очень точно и выразительно описал постепенную эволюцию этих собраний и ту внутреннюю нравственную пружину, которая толкала людей участвовать в них:

«...забавы Прибежища становились от раза к разу серьезнее... в них появилось общее направление, и уж не развлекать, не развлекаться и “кадриться” или сюда, а или уже, – не осознавая того разумом, а как будто одним слухом ушей своих и видением глаз, да еще самим свободным дыханием в свежем воздухе – или возвыситься, очиститься от скверны, которую слышали, наблюдали и частью которой были сами».

Культуролог Марина Хазанова пишет о романе Феликса Розинера: «Книга его не была радостной, но была теплой, доброй, умной. – И добавляет: – Я сказала Феликсу об этом и о том, что книг о шестидесятых здесь, в эмиграции, достаточно, но они, в основном, о ссорящихся между собой диссидентах, о ненависти к власти и о собственном величии. А вот добрых книг почти нет». Марина вспоминает, что Феликсу очень понравилась такая оценка, и он сказал: «Такого мне еще никто не говорил».

Как свидетель протестного движения в СССР 1960–70-х годов, могу добавить: в этом движении были и ненависть к власти, пытавшейся снова загнать народ в «реформированное» подобие сталинского концлагеря, и резкая полемика, и подпольное распространение так называемой «антисоветской литературы», которая была, на самом деле, просто нормальной хорошей литературой, и воистину героические публичные протесты против диссидентского режима, и еще многое, без чего не бывает диссидентских движений в тоталитарном обществе. Однако Феликс Розинер тонко уловил главный мотив самой обширной,

гуманистической составляющей этого движения – «очиститься от скверны, которую слышали, наблюдали и частью которой были сами». Да, это именно так и было – мы собирались в компаниях единомышленников, чтобы очиститься от скверны тошнотворных политзанятий и митингов, «ценных» указаний парткомов и райкомов, от скверны тупой пропаганды в средствах массовой дезинформации и примитивного печатного советского агитпропа. Мы собирались, подобно героям романа Розинера, чтобы подышать свежим воздухом фантома свободы.

Ощущения российской интеллигенции времен конца 60-х и начала 70-х годов, обманутой миражем свободы и увидевшей явные признаки возвращения сталинщины, хорошо передает дневниковая запись Юрия Нагибина, сделанная в 1969-м:

«...никак не могу настроить себя на волну кромеишной государственной лжи. Я близок к умопомешательству от газетной вони, и почти плачу, случайно услышав радио или наткнувшись на гадкую рожу телеобозревателя... Стоит хоть на день выйти из суеты работы и задуматься, как охватывают ужас и отчаяние. Странно, но в глубине души я всегда был уверен, что мы обязательно вернемся к этой блевотине. Даже в самые обнадеживающие времена я знал, что это мираж, обман, заблуждение, и мы с рыданием припадем к гниющему трупу. Какая тоска, какая скука! И как все охотно стремятся к прежнему отупению, низости, немоте. Лишь очень немногие были душевно готовы к достойной жизни, жизни разума и сердца; у большинства не было на это сил... Люди пугались даже призрака свободы, ее слабой тени. Сейчас им возвращена привычная милая ложь, вновь снят запрет с подлости, предательства...»

В Прибежище Феликса Розинера собирались люди, стремившиеся очиститься от скверны советского мракобесия, пытавшиеся духовно противостоять «отупению, низости, немоте». Писатель создал образы людей, «душевно готовых к достойной жизни, жизни разума и сердца». В их добрых и умных устремлениях, не содержавших, казалось бы, никакой угрозы всемогущему государству, содержался, на самом деле, скрытый диссидентский заряд, подорвавший в конце концов режим тоталитарного насилия.

* * *

Эту скрытую, едва различимую на первых порах угрозу, несомненно, предвидели власть имущие – отсюда та упорная охота за, казалось бы совершенно безобидной, группой интеллектуалов Прибежища, закончившаяся, как и следовало ожидать, арестом самого безобидного из всех безобидных – Аарона-Хаима Финкельмайера. Арест Финкельмайера и суд над ним, начиная с публикации грязного доноса в газете и кончая жестоким избиением сразу же после вынесения приговора, – всего более 60 страниц текста, – композиционная и художественная вершина романа Феликса Розинера.

Автор, несомненно, был знаком с материалами судебных процессов над поэтом Бродским и писателями Синявским и

Даниэлем, проходивших в Ленинграде и Москве в 1964–65 годах. Особенно сильное влияние на описание суда над Финкельмайером, вероятно, оказали записи судебных слушаний по делу Иосифа Бродского, опубликованные в «самиздате» Фридой Вигдоровой под названием «Судилище». Здесь можно найти немало фактических совпадений, которые автор, судя по всему, намеренно подчеркивает, – начиная с таких деталей, как публикация клеветнической статьи перед арестом и обвинение в тунеядстве, и кончая буквальным совпадением некоторых словесных формулировок подлинного процесса и вымышленного Розинером судилища. Если не ошибаюсь, Феликс Розинер впервые в русской литературе советских времен дал столь обширное художественное описание подобного судилища над совершенно беззащитной творческой личностью. Противостояние поэта чудовищному, отлаженному до последнего винтика механизму государственного беззакония, торжество мракобесия, основанного на лжи и грубом насилии, – все это показано в романе с убедительностью и художественной мощью, превосходящими любые исторические, документальные свидетельства. Вспоминаю, какое огромное впечатление произвели на меня в свое время эти 60 страниц романа – словно та скверна, частью которой, увы, мы сами были, безобразно вылезла наружу...

При повторном чтении романа Феликса Розинера в более поздние времена меня не оставляли ассоциации с «Процессом» Франца Кафки и даже со знаменитыми антиутопиями XX века – «Мы» Евгения Замятина и «1984» Джорджа Оруэлла. Доведенный до гротеска абсурд, нелепые обвинения или даже их отсутствие, predeterminedность приговора и наказания, страх перед идолом государства – «госстрах», бесовское торжество тупого насилия над личностью... Недавно писатель Дмитрий Быков, комментируя новый телесериал «Бесы» по мотивам романа Федора Достоевского, высказал мысль, что истинными бесами в российской истории были не революционеры, а власть имущие. Бесовщина сталинщины не исчезла, бесы власти, «вышедши из человека», увы, не «вошли в свиней», как рассказывает Евангелие от Луки, а, скорее, «вышедши из свиней, вошли в человека» и метят преступлениями последующую историю... Безобразные гримасы бесов власти видятся мне в суде над поэтом, описанном в романе Феликса Розинера. Может быть, эти ассоциации неправомерны? Не знаю... Ведь то, о чем написал Феликс Розинер, – не плод обращенной в будущее фантазии, а подлинные реалии нашей жизни, ведь это было, было... и, страшно сказать, это есть – бесчеловечное и жестокое...

Больной, голодный, измученный следствием, Финкельмайер, словно в бреду, едва не теряя сознание, отстраненно участвует в процессе над самим собой, пытается время от времени говорить правду словами простыми, понятными окружающим... После оглашения приговора он впадает в транс, расплывчато видит сквозь

туман уходящего сознания своих близких, слышит их молитвы и мольбы..., и сквозь всю эту мешанину лиц и звуков нисходят к нему чудные поэтические строки... Как он далек от этого мира! ... Но конвойный скоро возвращает его к действительности:

«Старшина истуленно бил по рукам, – Арон, дико вскрикивая, хватался за дверцы, но старшина размахнулся, – ну, т-твою мать! – и сильно ударил под дых. Арон рухнул на пол».

Советское «правосудие» свершилось. Фемида с завязанными глазами не заметила, как перекошились ее весы...

И еще одно: как это все, простите за публицистический штамп, актуально! – темы и образы совершенных произведений литературы не устаревают, они, увы, бессмертны...

* * *

Еврейская тема звучит в романе мягко, приглушенно, чаще – отдаленно, лишь в редких случаях выдвигаясь на передний план и никогда не доминируя в его сюжетных коллизиях. Розинер отнюдь не педалирует эту тему – скорее, подает ее незначительной составляющей противостояния интеллигенции и власти, как некую своеобразную советскую приправу к этому противостоянию. В компании русских интеллигентов, к которой примыкает Финкельмайер, вообще не интересуются национальностью своих единомышленников – здесь всё понимают, но как бы считают ниже своего достоинства реагировать на исходящие от режима антисемитские благоглупости.

Именно к такому заключению, по-видимому, придет современный читатель романа «Некто Финкельмайер». Однако те, кому довелось прочитать роман при советской власти в «самиздате» или «тамиздате», те, кому пришлось тайно листать эти страницы, приглушив настольную лампу, задвинув занавески на окне и заперев двери, – те воспринимали это отнюдь не так просто и не столь ламинарно. Уже само имя главного героя романа – Аарон-Хаим Менделевич Финкельмайер – было в те годы дерзким вызовом гнусной системе советского государственного антисемитизма, о котором все знали, что он есть, но обязаны были делать вид, что его нет. Образ гениального русского поэта с таким длинным еврейским именем – это было подобно террористическому акту в чинной гостиной советского социалистического реализма с его лицемерной «дружбой народов», это было подобно матерному ругательству в добропорядочном обществе...

Да, да – не удивляйтесь, юные читатели из XXI века, это было именно матерным ругательством. Писатель Юрий Нагибин, вспоминая те времена, говорил, что слово «жид» стало таким же «заветным», как и другое трехбуквенное «самое любимое слово русского народа»: «Два заветных трехбуквенных слова да боевой клич – родимое “... твою мать” – объединяют разбросанное по огромному пространству население...» Поэт Иосиф Бродский, живший в СССР во времена Феликса Розинера, еще более

определенно утверждал (цитирую по очерку Юрия Солодкина. – Ю.О.): «В печатном русском языке слово "еврей" встречалось так же редко, как "пресущствление" или "агорафобия". Вообще, по своему статусу оно близко к матерному слову или названию венерической болезни». Собственно говоря, бывшие советские люди старшего поколения хорошо помнят – все избегали произносить слово «еврей». Это слово в частных разговорах подчас заменяли на «француз»: «Он из французов?» – спрашивали о человеке с еврейской внешностью, и все всё понимали.

Феликс Розинер, насколько я помню, первым нарушил эту языковую традицию, присвоив своему главному герою имя, отчество и фамилию, имевшие в советской языковой практике, по словам Иосифа Бродского, статус, близкий к матерно-венерическому. Даже Василий Гроссман, впервые в советской литературе мощно поднявший тему совгосантисемитизма, не решился на подобное – он назвал одного из главных героев романа «Жизнь и судьба», гениального физика еврейского происхождения, достаточно нейтрально – Виктор Павлович Штрум. Феликс Розинер решился! Он писал в стиле кафкианского абсурдизма, и он решился...

Писательница Людмила Штерн в очерке о еврействе Иосифа Бродского заметила: «Только евреи знают, как “неуютно” было быть евреем в Советском Союзе». Неуютность эту герой Феликса Розинера познал сполна – со сталинских времен в коммунальном доме-сарая на окраине Москвы до времен брежневских в сибирском ссыльном лагере. Неуютность эта не раз оборачивалась тяжелыми ударами, которые, однако, Финкельмайер задним числом излагает с мягким юмором – для него советский госантисемитизм есть нечто вроде своеобразного природного явления, подобного промозглой дождливой погоде, явления, которое следует воспринимать как неизбежную данность, а не как злой людской умысел. Директор школы, милейший Сидор Николаевич, лишает его золотой медали по причине указания из районо, что, мол, «три золотых – у Штерна, Певзнера и этого... как там?... Финкельмайера...», и «мы столько пропустить не можем, одного снимаем». Затем Финкельмайера не принимают в МВТУ, поставив ему тройку за незаурядное сочинение по «Евгению Онегину», которого он знал наизусть от первой до последней строчки. Какие известные до боли ситуации, какой «знакомый до слез» выверенный событийный ряд!

Служба Финкельмайера в советской армии, с многочисленными приключениями из-за его «еврейской рожи», описана в романе с сатирическим блеском на уровне «Приключений бравого солдата Швейка» или «Жизни и необыкновенных приключений солдата Ивана Чонкина». Приключения солдата Аарона-Хаима Финкельмайера, прославившегося сочинением военного марша «Знамя полковое» и популярных броских, ловко рифмованных лозунгов для солдатских сортиров, завершаются блестящей

сатирической сценой в издательстве военной литературы! Сотрудники издательства предупредили, что «А.Ефимов» – псевдоним автора, но это ничуть не уменьшило «силу удара, который испытали редакторы, увидев» его самого:

«Они согласились бы, чтобы у автора оказалась любая невозможнейшая внешность – хоть одноглазого пирата с кинжалом за поясом, хоть бармаля или старца в чалме, но такого длинноносого верзилу – еврея... Пусть бы за псевдонимом А.Ефимов стоял тысяча первый Иванов; пусть какой-нибудь неблагозвучный Говнюков; пусть бывший граф Толстой или пусть советским военным поэтом стал последний из князей Болдыревых; но военный поэт – Шапиро? Эпштейн? Рубинштейн?! ...

– Как у вас настоящая фамилия будет?...

– Рядовой Финкельмайер, товарищ майор!

Наступившая тишина была столь длительной, что девочка-секретарша, соскучившись, начала редко-редко стучать по клавишам машинки».

Когда роман «Некто Финкельмайер» был наконец опубликован, в официальной гостинной советской литературы наступила очень длительная тишина, прерываемая отнюдь не постукиванием девочки-секретарши по клавишам машинки, а зубовным скрежетом тех, кто когда-то мог одним мановением мизинца отлучить от литературы и задвинуть в темный угол забвения всех этих финкельмайеров...

* * *

Я привык с некоторой опаской ждать финала произведения, которое мне поначалу понравилось. Многие неплохие романы начинаются с великолепной завязки, быстро набирают драматические обороты, но затем... теряют темп, обрывают мелодию и завершаются невыразительным, скучным финалом, оставляющим читателя в недоумении – а зачем это вообще надо было читать... Роман «Некто Финкельмайер» развивается по нарастающей, держит читателя в напряжении до последней страницы, ни на йоту не теряет набранной высоты. Читатель нетерпеливо ждет развязки, едва сдерживаясь, чтобы не заглянуть в конец, он понимает – так просто, тихо и мирно эта история завершиться не может. И действительно, в сюжете наступает крещендо – страшная, нелепая, но вполне предопределенная гибель главных героев. Поэт умирает от мстительного выстрела Охотника, вознесенного Поэтом на вершину чиновничьей карьеры и литературной славы. Убитый Поэт тонет в далекой сибирской реке накануне своего освобождения, и его мечта о возрождении и маленьком кусочке счастья с любимой женщиной тонет вместе с ним в мерзлой воде – нет Поэту места в этом мире зла, и никогда не удастся ему вписаться в эту бесчеловечную систему, как бы он ни старался подладиться под нее. Пьяный в хлам, счастливый Охотник

замерзает под вой сибирской пурги, превращается в снежный холм вместе со своими мечтами о возвращении в естественное состояние простого охотника за пушниной. Вознесенный поначалу на партийно-литературный Олимп, а затем грубо сброшенный с него, он «отомстил» Поэту, но и ему, Охотнику, нет места в этом мире, и ему тоже не удалось вписаться в эту чудовищную систему, несмотря на все старания подладиться под нее...

Вслед за крещендо финала следует раздумчивый и неспешный эпилог со своим мощным пророческим завершением: постаревший интеллигент и тонкий знаток поэзии Леонид Никольский «*в подвале стоит в длинной очереди за водкой; а высоко на восьмом этаже в его комнате*» сын погибшего в советской ссылке Аарона-Хаима Финкельмайера читает неопубликованные стихи своего гениального отца. Юный Финкельмайер твердо решил уехать в Америку: «*Я... здесь жить не буду... Я не привык, понимаете? И знаю, что не привыкну. Тем более, теперь ведь все равно нет никого – ни матери и ни отца...*»

Таков финал этого творения Феликса Розинера – романа о жизни и судьбе интеллигенции в тоталитарном обществе...

«ОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫЙ» ТАЛАНТ

В посвящении к первому изданию романа «Некто Финкельмайер», 1981 года, автор писал:

«Говорят, что, создав своего героя, автор поневоле повторяет выдуманную им судьбу. Так ли это или нет, но однажды будто кто-то подтолкнул меня: я сделал шаг, за которым стояла эта судьба. До сих пор не знаю, что спасло меня тогда. Но я знаю тех – и их много, близких моих друзей, и друзей мне мало знакомых, – кто спасали роман от почти неминуемой гибели».

История спасения романа известна, а автора, смеем предположить, спасла от непредсказуемых репрессий эмиграция в 1978 году в Израиль еще до публикации романа на Западе. Тем не менее, Феликс Розинер, как это видно из посвящения, несомненно, ощущал бремя судьбы выдуманного им Аарона Финкельмайера – в этом мире личности столь мощного, «обременительного» таланта редко награждаются безоблачным благополучием. Феликс Розинер прожил в Израиле до 1985 года, затем переехал в Бостон, США, где скончался в 1997 году в возрасте 60 лет.

Мне удалось поговорить о писателе с людьми, близко знавшими его по Москве, Тель-Авиву и Бостону. Их бесценные воспоминания создают портрет этого выдающегося человека, а некоторые штрихи к портрету писателя имеют прямое отношение к теме данного очерка.

Азарий Мессерер описывает Феликса Розинера как универсальную творческую личность, наподобие титанов эпохи Возрождения:

«С Феликсом мы дружили в течение многих лет. Это был человек

самых разнообразных талантов: прекрасный инженер, тонкий музыкант и музыковед, написавший книги о Григе, Прокофьеве и Файере, бард, сочинивший много прекрасных песен, поэт, опубликовавший несколько сборников стихов, и, конечно, выдающийся писатель. Он также прекрасно разбирался в живописи и написал несколько книг о Чюрленисе...

Известно, что Феликс играл на скрипке, но немногие помнят удивительный факт – он сам изготовил себе скрипку, прочитав книги о знаменитых скрипичных мастерах и об их секретах в изготовлении инструментов. Феликс и дня не мог прожить без музыки. Он прекрасно знал не только классиков, но и современных композиторов, особенно Альфреда Шнитке, с которым дружил. Феликс также обожал романсы и хорошо пел их своим красивым баритоном. Он записал на пленку много сочиненных им песен, легко запоминающихся и нередко цитируемых его друзьями. Я обязательно беру в любое путешествие его диск, но слушаю его, только когда за рулем сидит кто-нибудь другой – боюсь, что слезы будут застилать глаза...

В последние годы – а умер он очень рано, долгое время страдал от лимфомы – Феликс писал многотомную "Энциклопедию Советской цивилизации" о реалиях ушедшей советской жизни, включавшую словарь советских терминов, вопросы культуры, идеологии холодной войны и многое другое. Главы печатались в "Новом русском слове"... Феликс закончил эту работу, но просрочил представление рукописи в издательство, и американское издательство, почему-то воспользовавшись такой формальностью, отменило договор. К сожалению, Татьяна, жена Феликса, не сумела завершить издание этого уникального труда. Она умерла несколько лет назад. Сейчас этот труд был бы очень актуальным».

Раиса Сильвер знала Феликса и его семью еще по Москве 60-х годов – во времена действия будущего романа «Некто Финкельмайер» и за десять лет до его написания. Она вспоминает:

«Я познакомилась с Феликсом в начале 60-х в московском литобъединении "Знамя строителя". Это был замечательный клуб, где собирались интеллигентные ребята, а руководил нами известный поэт Эдмунд Иодковский. Потом из клуба вышло немало известных писателей и поэтов, но тогда выделялись несколько человек, аристократия, – среди них, конечно, Розинер. Феликс был приятным, немножко насмешливым и весьма ироничным в разговоре молодым человеком лет двадцати пяти. Как-то мы вышли из клуба вместе – неожиданно выяснилось, что живем мы буквально в соседних домах на далекой окраине Москвы, в поселке ЗИЛ (это теперь район вблизи станции метро "Каховская"). В этом рабочем поселке наши семьи были едва ли не единственными еврейскими. Поселок тогда застраивался унылыми пятиэтажками, "хрущевками". В одной из них, в двухкомнатной квартирке жил Феликс с женой Людмилой и маленьким сыном Володей. Феликс и Людмила окончили Московский полиграфический институт и работали инженерами. Жили они скромно, пожалуй, даже скудно, как и все инженеры тех времен – нищенская зарплата, шестидневная рабочая неделя, поездки на работу в переполненных трамваях и автобусах, домашние заботы... Я бывала у них,

иногда мы вместе справляли праздники, дни рождения. Припоминаю, что Феликс любил и хорошо знал музыку, неплохо играл на скрипке – позднее он оставил инженерную работу и переквалифицировался в музыкального критика. В доме Феликса собирались интересные люди – вероятно, это был прообраз Прибежища, описанного в “Финкельмайере”. Наверное, некоторые из частых посетителей дома Розинеров послужили прообразом персонажей будущего романа. Например, среди друзей Феликса был Борис Николаевич Симолин – русский интеллигент с аристократическими манерами, эрудит, преподававший в ГИТИСе и широко известный в актерских кругах. Нельзя не заметить его черт в Леопольде Михайловиче – друге Финкельмайера и лидере кружка московских диссидентов из романа Розинера... Феликс был легок на подъем, любил путешествовать, узнавать что-то новое... Я общалась с Феликсом в Москве вплоть до его ухода из семьи и переезда ко второй жене – Татьяне. С Людмилой мы потом встречались в Израиле, но это, как говорят, уже совсем другая история...»

Раиса Сильвер, так же как и Азарий Мессерер, подчеркивает необыкновенную, многоплановую одаренность Феликса Розинера. Вместе с тем она припоминает его внутреннюю замкнутость, которая при внешней доброжелательной общительности создавала ощущение нераскрываемой тайны. Раиса считает, что некоторые черты личности Арона Финкельмайера являются производными от этой тайны автора.

Лариса Миллер познакомилась с Феликсом Розинером, как и Раиса Сильвер, в литобъединении при многотиражке «Знамя строителя», которое собиралось на Сретенке, в Даевом переулке:

«Однажды на литобъединении появился ироничный, остроумный и доброжелательный молодой человек. Он всегда впадал и совершенно беззлобно комментировал происходящее, а когда смеялся, снимал очки и вытирал слезы. “Можно мне показать Вам мои стихи?” – спросила я, подойдя к нему впервые. “Да, конечно, – с готовностью отозвался он, – Приезжайте в воскресенье.” “А можно приехать с мужем?” Молодой человек засмеялся: “Приезжайте с кем хотите.” Так началась моя дружба с Феликсом Розинером, поэтом, прозаиком, музыковедом. Тогда, в 64-м, он работал инженером в Акустическом институте и писал стихи. Его манера была совершенно иной, чем у меня. Менее традиционной, более необычной, или, как принято говорить, новаторской. Феликс обладал замечательным свойством внимательно и заинтересованно слушать чужие стихи, думать над ними, говорить о них. Благодаря ему я перестала слишком уплотнять строку, в стихах появился воздух. Феликс читал все, что я писала. Лишь одобренные им строки получали право считаться стихами. Он являлся как бы моим ОТК. “Казнит или милует?” – гадала я, отправляясь к нему с очередной порцией стихов. И если “миловал”, летела домой на крыльях, а если “казнил”, то еле ползла. Так и жила, раскачиваясь на гигантских качелях “между жизнью лучшей самой и совсем невыносимой”».

Людмила Левит, первая жена писателя, живущая ныне в Реховоте в Израиле, рассказывает о временах вызревания и создания романа «Некто Финкельмайер»:

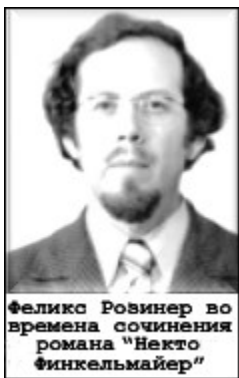
«Почти все 60-е годы – с 1962-го, когда родился Володя, и до 1969-го, когда мы с Феликсом расстались, – мы жили на окраине Москвы, которая тогда называлась “поселок ЗИЛ”.

К этому времени относится основное действие романа, но тогда его замысла еще не было, хотя, наверное, в голове Феликса накапливался нужный материал, ведь у нас в квартире часто собирались очень интересные люди – наши друзья. Думаю, однако, что прообразом Прибежища являются, скорее, не сборища у нас дома, а регулярные встречи молодых, еще не печатавшихся поэтов, у Бориса Николаевича Симолина на Арбате. Борис Николаевич был искусствоведом, преподавал не только в ГИТИСе, но и в театральных училищах – Щукинском и МХАТа. Он оказал на Феликса очень сильное влияние, а герой романа Леопольд Михайлович – точный портрет Бориса Николаевича. Где-то в 1973–74 годах мне довелось быть кем-то вроде издательского корректора романа “Некто Финкельмайер”: Феликс передавал мне машинописную рукопись, а я со всем тщанием выискивала описки, знаки препинания и т.п.

Мы с Феликсом всегда – и в Москве после его ухода, и здесь, в Израиле – поддерживали добрые, дружеские отношения, сохранившиеся после того, как ушли другие, и мы старались, чтобы у сына всегда оставались и мать, и отец».

Людмила не согласна с характеристикой Феликса как замкнутого человека. Напротив, она вспоминает, что он был достаточно открытым и общительным – «у него было очень много друзей, он не был замкнуто-самодостаточным, а, наоборот, очень нуждался в постоянном общении с людьми».

Илан (Владимир) Розинер, сын писателя, служил офицером в Армии обороны Израиля, а ныне живет в Тель-Авиве и работает научным сотрудником Бар-Иланского университета в области социальной психологии. Сведения о жизни Феликса Розинера в Израиле я почерпнул в основном из его рассказов. Феликс работал в Израиле главным редактором русскоязычного издательства религиозной литературы, сочинял и издавал стихи и рассказы, вместе с сыном подготовил и опубликовал иврит-русский разговорник. Там же он написал одну из знаковых работ – художественно-документальное исследование о семи поколениях своей семье под названием «Серебряная цепочка».



**Феликс Розинер во
время сочинения
романа “Некто
Финкельмайер”**

Марина Хазанова позднее, уже в бостонский период, вспоминала: «Почти все наши... разговоры с Феликсом сворачивают к “Серебряной цепочке”» – писатель придавал этой работе и ее теме концептуальный статус. Феликс с женой жили в пригороде Тель-Авива, были материально обустроены – Татьяна работала в крупной фирме в области

прикладной математики. Тем не менее, далеко не все в Израиле нравилось Феликсу Розинеру, о чем определенно указывает в своих воспоминаниях Азарий Мессерер. Это, а еще более – отъезд Розинеров в США – породили точку зрения, что, мол, Розинер со своим масштабом просто «не вписался в израильскую жизнь». Вероятно, в этом есть доля истины, но Илан не вполне согласен с таким мнением:

«Отец воспринимал видные ему недостатки израильской действительности без всякого надрыва или трагизма. Он считал своей главной целью – уехать из СССР, избавиться от тирании, поэтому искренне ценил, что Израиль дал ему такую возможность. Более того, он здесь был счастлив, обретя наконец-то свободу. Переезд отца в США был вызван совсем другими причинами, главная из них – это, конечно, болезнь, которая хотя и была остановлена в 1985 году, но могла проявить себя снова в любой момент. Врачи рекомендовали ему сменить климат и пройти в Америке курс профилактики, которого тогда еще не было в Израиле. Конечно, обещанная работа в Гарварде тоже сыграла роль...»

Размышления Илана Розинера подкрепляются сохранившимися свидетельствами активной поддержки Феликсом Розинером репатриации советских евреев в Израиль. Азарий Мессерер вспоминает:

«В Москве конца 70-х годов среди евреев прошел слух о "железном Феликсе". Дело в том, что Феликс Розинер из Израиля помогал очень многим. По моим просьбам он прислал добрый десяток вызовов. Когда ко мне приходили люди, решившие эмигрировать, я, записывая их данные, обычно говорил: "Не беспокойтесь, Вами займется мой друг Феликс, которого мы называем "железным", потому что он никогда не подводит". В самом деле, Феликс был человеком в высшей степени надежным. К тому же он считал для себя честью помогать людям, оказавшимся в тяжелом положении, в частности, отказникам. Несколько моих приятелей в Америке и в Израиле обязаны ему своей благополучной эмиграцией. Примечательно, что все они устроились работать по специальности. "Вам повезло еще и потому, что у Феликса легкая рука", – говорил я им, узнав об очередной удаче».

Последние годы жизни писателя в Бостоне омрачались рецидивами тяжелой болезни, но до последнего момента он не позволял болезни подавлять свое непреклонное творческое движение – только вперед и выше.

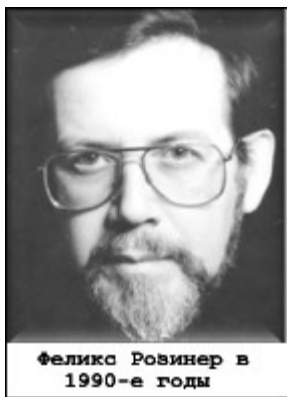
Лиза Шукель (Синофф), близкий друг и соседка Феликса Розинера по двухсемейному дому в бостонском пригороде Ньютоне, рассказывает, что в Бостоне Феликс одно время читал лекции по русской культуре на Русском отделении Бостонского университета. Он также сотрудничал с Русским отделением Гарвардского университета, где его очень ценили, но он не стремился стать штатным сотрудником и никогда им не был. Феликс отличался, по ее воспоминаниям, аккуратностью и даже педантичностью во всем, что касалось его литературной работы, –

незадолго до смерти он тщательно упаковал свои материалы и их электронные копии в картонные коробки с намерением сдать их в архив Русского отделения Массачусетского университета в городе Амхерст.² Я спросил у Лизы, тесно общавшейся с Феликсом в последние одиннадцать лет его жизни, был ли он похож на своего героя Арона Финкельмайера. Она ответила с удивительной проникновенностью:

«Нет, он скорее походил на Леонида Никольского по своему характеру и отношению к жизни. Как и Никольский, Феликс был большим жизнелюбом с эдакой хулиганской жилкой, он не боялся нарушать правила, если они мешали ему. С другой стороны, по взглядам на искусство, по представлениям о связи автора со своим творением он приближался к Финкельмайеру, и особенно – к философии наставника Финкельмайера, Леопольда Михайловича. Так что, можно сказать, Феликс был личностью, сочетавшей в себе и Никольского, и Финкельмайера...»

Вообще же, он был человеком необыкновенным... В нем удивительным образом совмещались общительность и застенчивость, в компаниях он отнюдь не старался выделиться, но, тем не менее, притягивал к себе общее внимание. Его интерес ко всему в жизни был непомерным. Уже тяжело больным, Феликс поехал со мной в путешествие по Испании – перед смертью он хотел увидеть все... Он говорил мне: “Я не боюсь смерти, я был в Москве – теперь меня там нет, я был в Израиле – теперь меня там тоже нет, я был в Бостоне – меня и там не будет...”»

Марина Хазанова вспоминает, что с первой же встречи в Бостоне на домашнем литературном семинаре «Феликс привлек сразу всем: мягкой манерой держаться, милой улыбкой, интеллигентным чтением». Марина написала трогательно теплый очерк о встречах с Феликсом. Вот пронзительные строки из этого очерка, посвященные последним творческим усилиям смертельно больного писателя:



**Феликс Розинер в
1990-е годы**

«В середине лета 96-го Феликс попросил меня организовать в Бостонском университете литературно-музыкальный вечер, посвященный его шестидесятилетию. Я не спрашивала ничего, только подумала: “Господи! Опять поэт будет говорить нам свое последнее прощание”. Я сказала: “Да”, повесила трубку и заплакала. Другой раз мы говорили о сроках. Я думала о ноябре-декабре, Феликс спокойно возразил: “Будет поздно. Надо пораньше”. Всю программу вечера Феликс подготовил сам... попросил меня вести вечер, строго предупредив: “Никаких славословий в мой адрес...”»

Марина внезапно прерывает свой

² Илан Розинер подтвердил, что материалы Феликса Розинера хранятся в упомянутом архиве, их профессионально обработал штат архива во главе с проф. Стэнли Рабиновичем, хорошо знавшим писателя. Полный перечень материалов можно найти в интернете (см. список литературы).

рассказ о последних месяцах жизни Феликса, словно не в состоянии сдержать свои эмоции:

«У Феликса получалось в жизни все, что он задумал. Его любили читатели, любили женщины, любили старики. Каждый за свое, но чаще всего все за одно и то же: за талант, за деликатность».

Писатель скончался примерно через полгода после своего юбилейного вечера в Бостонском университете. Была весна 1997 года, жена Феликса Татьяна и его сын Илан неотлучно находились с ним в одной из бостонских больниц вплоть до конца... Илан вспоминает:

«Отец чувствовал себя плохо, был очень слаб, но и за несколько дней до смерти, зная, что они – последние, не терял самообладания и присущего ему ироничного и в то же время доброго отношения к происходящему. В эти дни он продолжал работать на своем ноутбуке. Двенадцать лет он жил под знаком конкретной возможности быстрой смерти (рак возвращался семь раз), но никак не давал этому определять свою жизнь до последнего момента».

Феликс Розинер похоронен на старинном кладбище *Mount Auburn* в Кэмбридже, в роскошном парке, на высоком холме, с которого открывается вид на озеро. На этом же кладбище среди многих знаменитых американцев похоронен великий поэт Генри Лонгфелло...

EXCELSIOR

Вот такой удивительный, людскому воображению недоступный виток истории мировой литературы: американский поэт Генри Вудсворт Лонгфелло – английского происхождения, прямой потомок пилигримов, прибывших в эти края на паруснике «Мэйфлауэр», и русский писатель Феликс Яковлевич Розинер – еврейского происхождения, прямой потомок знаменитого средневекового раввинского рода из итальянской Падуи, закончили свою земную жизнь здесь, на кладбище в Кэмбридже... Два человека – такие непохожие, две судьбы – такие разные, два гения – как всегда, уникальные и неповторимые, но одинаково непостижимые для окружающего мира. Оба они шли «навстречу туманному будущему без страха, с мужественным сердцем», а когда пришел час каждого,

*Рука сжимала стяг, застыв,
И тот же был на нем призыв:
Excelsior!*

Другой не менее удивительный виток во времени и пространстве нарисовала то ли слепая историческая судьба, то ли рука самого Провидения, – это путь Феликса Розинера от предков к потомкам.

Азарий Мессерер рассказал потрясающую, окутанную легендами, историю предков семьи Розинеров, достойную шекспировских драм. Эта история основана на его собственных

изысканиях, а также на кропотливых исследованиях исторических документов и семейных архивов, проведенных сыном Феликса Розинера Иланом. Я привожу здесь лишь ее краткую хроникальную канву с некоторыми моими добавлениями.



Сын писателя
Илан Розинер

Вглядываясь в бездонный колодезь прошлого еврейского народа, можно предположить, что далекие предки Розинера были изгнаны со своей родины еще римлянами, разрушившими Иерусалимский Храм. С одной из волн еврейской эмиграции из Палестины они двинулись в страны северного Средиземноморья, оседая по дороге в Италии, на юге Франции и в германских землях. В раннем средневековье предки Розинеров оказались в немецком городе *Katzenelnbogen* в прирейнской области вблизи Майнца, где располагалась значительная ашкеназийская община; отсюда и пошла первая родовая фамилия их предков – Каценелинбойген. Согласно «Еврейской энциклопедии» Брокгауза и Ефрона, король Людовик Баварский разрешил евреям селиться в Каценелинбогене в 1330 году. По-видимому, евреи недолго наслаждались здесь германским гостеприимством – разразившиеся вскоре жесточайшие преследования, связанные отчасти с эпидемией чумы в Европе, вынудили их мигрировать на восток и на юг.

В конце XV века мы застаем первого носителя фамилии Каценелинбойген в итальянской Падуе – им был Меир бен Ицхак Каценелинбойген (1482-1562), знаменитый талмудист, главный раввин и руководитель ешивы этого города и по совместительству раввин Венеции, вошедший в историю под именем Меир из Падуи. Меир был женат на дочери другого известного талмудиста и философа, Иегуды Минца, тоже эмигрировавшего из Германии. Сын Меира и дочери Иегуды стал наследником раввинской должности в Падуе – его звали Самуэль Каценелинбойген. Самуэль был уважаемым в Италии раввином и меценатом, которого среди прочих знаменитостей посещал литовский князь Николай Радзивилл. Впоследствии Радзивилл сделал своим советником сына рабби Самуэля – Саула Каценелинбойгена, учившегося в Брест-Литовском университете.

Саул Каценелинбойген, вошедший в историю под именем Саул (Шауль) Валь (1541-1617), был крупным общественным деятелем Речи Посполитой и даже кратковременно исполнял обязанности польского короля – о нем в «Еврейской энциклопедии» имеется большая, почти двухстраничная статья. В статье, между прочим, упомянуты многочисленные потомки Саула Валья и его тринадцатидесяти детей, носивших фамилию Каценелинбойген; среди потомков Саула были знаменитые раввины Польши, Литвы, Германии и Англии, а также, судя по всему, и такие известные личности, как

Генрих Гейне и Карл Маркс. Потомки Саула Валя имеют прямое отношение к родословной семьи Розинеров: Илан Розинер доказал, что его далеким предком из XVI века является дочь Саула Валя – Хенеле Каценелинбойген, вышедшая замуж за Эфраима Шура, сына раввина Шломо Элизера Шура, бывшего главой знаменитой Брест-Литовской ешивы.

Со времен Эфраима и Хенеле карета предков семьи Розинеров покатила по ухабам истории восточноевропейского еврейства. Через полтора столетия после смерти их знаменитого предка Саула Валя когда-то могущественная Речь Посполитая была уничтожена, и вследствие трех разделов Польши предки Розинеров стали подданными Российской империи – жителями черты еврейской оседлости. В феврале 1917 года они были уравниены в правах со всеми другими народами России, а после октября 1917-го стали гражданами СССР, столь же бесправными, как и все другие народы советской империи. В книге «Серебряная цепочка» Феликс Розинер рассказывает о нескольких поколениях своей семьи, от раввинов до коммунистов, прошедших все мыслимые и немыслимые испытания: отъезд в Палестину и возвращение в СССР, аресты, антисемитизм, антиссионизм, несвобода, и как финал – возвращение на Родину своих предков, в Израиль, где ныне живут сын, внук и внучка писателя.

Вот такова эта удивительная семейная Одиссея – невероятный спиралевидный виток истории, странствие одной семьи в координатах времени и пространства, покинувшей Иерусалим более двух тысяч лет назад и вернувшейся к нему по гигантской криволинейной дуге на пространствах двух земных континентов.

* * *

Свойство гениальности не удалось ни проанализировать, ни, тем более, объяснить даже достижениями в области социологии, психологии, эволюционной биологии, генетики, информатики и прочих наук... Уже давно понятно, что гениальность – это не просто дальнейшее развитие талантливости, одаренности. Напротив, как мы уже упоминали, гений и талант – в определенном смысле, вещи несовместные и даже противоположные. Сталкиваясь в нашей обыденной жизни с гениальностью, мы подчас не замечаем ее, в отличие от таланта, который тотчас виден невооруженным глазом. Общась повседневно с гениальным человеком, мы совершенно естественно оцениваем его нашими собственными мерками, сопоставляем черты его характера и поведения, его достижения и даже его бытовые слабости с понятными нам житейскими планками, даем обобщающие оценки по известным нам критериям, но... мы не в состоянии проникнуть за черту, отделяющую гения от остального мира...

Мне не хотелось бы говорить о Феликсе Розинере с чрезмерным пафосом – похоже, он не любил славословий в свой адрес и, вероятно, с присущей ему иронией отнесся бы к оценкам, которые я

собираюсь дать. И тем не менее, размышляя о нем и герое его романа Ароне Финкельмайере, нельзя не заметить, что здесь имеет место особый случай, когда автор, принадлежащий к тем, кому история присваивает редкое звание гений, создал литературный образ гения. Мне поначалу представлялось, что... (или даже, пожалуй, хотелось, чтобы...) автор вложил в образ своего героя собственные земные черты, выветив тем самым и связь между творцом и творением, и таинственную сущность гениальности. Увы, этого не произошло, потому что общность черт – или даже слияние автора и его главного героя – имеет место за доступной нам чертой, за чертой, отделяющей даже очень талантливое произведение от высшего и непостижимого творческого проявления, вызывающего ощущение чуда...

Среди произведений художественной прозы XX века, посвященных судьбе интеллигенции в тоталитарном обществе, очень немногие дотягивают до уровня романа «Некто Финкельмайер». Это мое личное мнение входит в противоречие с тем фактом, что на самом деле роман мало известен «широкой читательской аудитории» и в России и на Западе – он никогда не был бестселлером, подобно, например, роману Артура Кёстлера «Слепящая тьма». Впрочем, ссылка на «широкую читательскую аудиторию» вряд ли доказательна – такого уровня литература всегда была уделом достаточно узкого круга читателей во всех странах, а «широкий круг», как правило, узнавал о подобной литературе из кинофильмов. Почему роман «Некто Финкельмайер» – готовый блестящий сценарий психологической драмы-триллера – не экранизировали, пусть объясняют профессиональные искусствоведы и кинокритики.

Что касается Запада, то его вялую реакцию подчас объясняют сравнительно благополучной судьбой автора – вот, мол, если бы Феликса Розинера самого посадили, как Иосифа Бродского, или затравили насмерть, как Бориса Пастернака, или расстреляли, как Исаака Бабеля, или хотя бы выслали из страны, как Александра Солженицына, вот тогда бы... Что же, возможно, и такое объяснение имеет право на жизнь, хотя оно отнюдь не укрощает западных интеллектуалов.

В России роман напечатали через 15 лет после его написания (и то только потому, что тоталитарный режим рухнул), а затем... постарались побыстрее его забыть и по мере возможности не вспоминать, в чем, конечно, нет ничего удивительного, учитывая двухвековую российскую традицию вымарывания всего лучшего из своей собственной литературы. Комедия «Горе от ума» Грибоедова была опубликована в России в полном объеме и без купюр, кажется, через 40 лет после написания, роман «Мастер и Маргарита» Булгакова напечатан с купюрами через 32 года, повесть «Котлован» Платонова – через 57 лет, роман-антиутопия «Мы» Замятина – через 68 лет, роман «Жизнь и судьба» Гроссмана – через 27 лет... Так что 15 лет ожидания романа «Некто Финкельмайер» – это смешной срок

для русской литературы, тем более что автор – в отличие от перечисленных выше классиков русской литературы – дожил до публикации своего произведения! Другое дело – упорное замалчивание романа в российском литературоведении, преднамеренное, на мой взгляд, отторжение этого выдающегося произведения.

Некто Розинер, как и «Некто Финкельмайер», не занял еще своего заслуженно высокого места в русской классической литературе. Среди причин этого есть и такие, что лежат на поверхности, и я даже не хочу утомлять умудренного опытом читателя пересказыванием известных банальностей о литературной судьбе подобных личностей в советском и российском литературном пространстве, однако со всей возможной мягкостью и политкорректностью намекну – в России и власти предрержащие, и их околотелитературная обслуга не очень любят персонажей с подобными фамилиями, а насильно мил не будешь!

Есть, тем не менее, и в России, и на Западе немало самостоятельно мыслящих интеллигентов, интеллектуалов высочайшего калибра, людей, «душевно готовых к достойной жизни, жизни разума и сердца». К ним и обращены наши размышления о писателе Феликсе Розинере – к тем, для кого он создавал свой выдающийся роман, к тем, кому понятно и близко жизненное кредо писателя: быть в постоянном поиске, идти непреклонно вперед, всегда только выше и выше – *Excelsior!*

ЛИТЕРАТУРА

Розинер Ф. Некто Финкельмайер. Overseas Publications Interchange. London, 1981.

Розинер Ф. Некто Финкельмайер. М.: Терра, 1990.

Roziner, F. A Certain Finkelmeyer. Translated from Russian by Michael H. Neim, 1995.

Розинер Ф. Избранное / Роман «Ахилл бегущий», повести «Лиловый дым», «Адамов ноготь», «Медведь Великий», рассказы. М.: Терра, 1996.

Розинер Ф. Искусство Чюрлениса. М.: Терра, 1993.

Розинер Ф. Весенние мужские игры/Повести и рассказы. USA: Hermitage, 1984.

Розинер Ф. Серебряная цепочка: семь поколений одной семьи. Иерусалим: Алия, 1983.

Розинер Ф. Токката жизни: Сергей Прокофьев. М.: Молодая гвардия, 1978.

Розинер Ф. Сага об Эдварде Григе. М.: Молодая гвардия, 1972.

Розинер Ф. Архив писем и рукописей /Collection of the Felix Roziner Papers, 1960-1990-s, Amherst Center for Russian Culture, Amherst, MA, USA: www.amherst.edu/system/files/media/1942/Roziner%252520Finding%252520aid.pdf

Быков Д. Булат Окуджава. Серия ЖЗЛ. М.: Молодая гвардия, 2009.

Мессерер А. Король на день и его потомки / Журнал «Чайка». Июль, 2013.

Миллер Л. Путевые заметки. www.magazines.russ.ru:81/novyi_mi/redkol/miller/miller/mille063.html

Миллер Л. Домашний адрес / В кн. «Стихи и проза». М.: Терра, 1992.

Нагибин Ю. Тьма в конце туннеля. М.: ПИК, 1996.

Окунев Ю. По дороге в XXI век. Boston: M-Graphics, 2012.

Сильвер Р. Правдивые истории с вымышленными именами. Нью-Йорк-Иерусалим, 1987.

Сильвер Р. Ношу в себе я радость. New York: Mir Collection, 2014.

Солодкин Ю. Его божеством было Слово. Журнал «Время и место», № 2. Нью-Йорк, 2014.

Хазанова М. Феликс Розинер / В кн. «Бостон – город и люди». Boston: M-Graphics, 2012.

Штерн Л. Проблемы пятого пункта / В кн. «Бостон – город и люди». Boston, 2012.

Брокгауз и Ефрон. Еврейская Энциклопедия. Т. V, IX. Санкт-Петербург, 1906-1913.

Okunev, Y. The Axis of World History, Xlibris Corp., Philadelphia, USA, 2008.

Vigdorova, F. The Trial of Joseph Brodsky. *Translated from Russian by Michael R. Katz*, New England Review (NER), 34, № 3-4, 2014.

Май 2014

Лонг-Айленд, Нью-Йорк



Элиэзер Рабинович -

родился в 1937 году в Москве. Кандидат наук в области технического стекла, автор около ста научных статей. В 1968 - 1970 гг. писал статьи на исторические и политические темы для «Нового мира», выходившего тогда под редакцией Твардовского. В 1974 году эмигрировал в Израиль, а в конце 1980 года переехал в США. До выхода на пенсию в 2001 году работал в "Bell Laboratories". В эмиграции продолжал публиковать статьи на различные темы на двух языках. Среди

его статей: «Эхнатон и евреи - кто был первым монотеистом?», «Сотрудничали ли сионисты с нацистами?», «Трое из раздавленного поколения» - о жизни и казни в 1938 году главного московского раввина Ш.-Л. Медалье (деда автора) и об аресте отца. У Рабиновича две дочери и четверо внуков. Живет с женой Гесей в Нью-Джерси.

«Гамлеты в хаки стреляют без колебаний»

ВСТУПЛЕНИЕ

Так случилось, что толстый иллюстрированный том Шекспира издательства "Academia" оказался единственной книгой, которую мы взяли в эвакуацию в Пермь. Детских книг не было, и читать мама и сестра научили меня в пять лет по «Гамлету». Писать я еще не умел, но было куда легче научиться стучать на маминой пишущей машинке. На ней я и «написал» свое первое произведение - короткую пьесу в духе «Гамлета», где участвовали «Кароль», «Каролева», принц Балк и собака Авва, которая в конце съела всех героев. Как-то я почувствовал уже тогда, что Гамлет и жизнь мало совместимы.

Во взрослой жизни «Гамлет» - не для однократного чтения. Вот и недавно вновь возникла потребность его перечитать, особенно после того, как я открыл для себя доступность пьесы по-английски. Тем не менее, конечно, без помощи переводов не обойтись, и они необходимы для цитирования в статье по-русски. Переводов очень много (более 30), но наиболее популярными в 20-м веке были переводы Михаила Лозинского (в дальнейшем цитаты обозначены буквой Л.) и Бориса Пастернака (в дальнейшем - П.).¹ Лозинский

¹ В процессе работы я с удивлением узнал, что есть существенные разночтения в разных изданиях перевода Пастернака. Я использовал издание: «Вильям Шекспир. Трагедии. Сонеты. Серия: Библиотека всемирной литературы. Изд. «Худ. лит.», М., 1968. Перевод Лозинского я цитирую по тексту: «Уильям Шекспир. Полное собр. соч. в 8 томах». Т.6. Изд. «Искусство», М., 1960.

наиболее точен, но у него – и это я видел, читая также Данте в его переводе – вдруг выскакивают орехи в русском. Что касается Пастернака, то он переводил согласно принципам, изложенным им в статье «Замечания к переводам из Шекспира». Там он пишет:

«Потребность театров и читателей в простых, легко читающихся переводах велика и никогда не прекращается. Каждый переведивший льстит себя надеждой, что именно он больше других пошел этой потребности навстречу.

Я не избег общей участи... Вместе со многими я думаю, что дословная точность и соответствие формы не обеспечивают переводу истинной близости».

Так странно из уст Пастернака слышать о его готовности пожертвовать точностью в пользу легкой доступности для публики! Автор недавнего перевода поэт Алексей Цветков пишет:

«Перевод Пастернака я бы, выразившись с предельной осторожностью, назвал недобросовестным. ...Очень важный для меня упрек: отсутствие в его переводе того, что я бы назвал “священным ужасом”, – ощущения разницы в масштабах между собой и объектом перевода. Гордыня в подобных случаях создает непреодолимое препятствие».

Почти построчное сравнение оригинала с двумя главными переводами убедило меня в превосходстве перевода Лозинского – как по точности, так, нередко, и по поэтической силе. Все же я буду пользоваться обоими переводами в зависимости от того, какая версия мне кажется более точной для каждого случая.

Есть еще одна работа высокого класса – опубликованное в 1899 г. трехтомное исследование и перевод великого князя Константина Константиновича Романова, писавшего под псевдонимом К.Р. Понятно, что в советское время его никто не знал, но сейчас перевод доступен на Интернете. Я буду иногда его цитировать. В редких случаях я, для максимальной близости к оригиналу, позволял себе комбинировать разные переводы, всегда это указывая.

Английский текст я цитирую по тому же из 40-томного британского издания Шекспира (1934-49), который следует в основном Второму Quarto 1604 г. с поправками из Первого Folio 1623 г. Обозначения строк таковы: например, «II-3-10» означает 2-й акт, 3-я сцена, цитата начинается со строки 10. Русские переводы обычно строки не нумеруют.

Это эссе – не систематическое изложение содержания пьесы, а рассказ о моих мыслях, оформившихся при последнем чтении, и оно предполагает хорошее знакомство читателя с текстом по-русски.

ПЕРЕЧИТЫВАЯ «ГАМЛЕТА»

*Торжественно-тупое нагромождение убийств.
 Девять жизней заплачено за одну – за жизнь его отца...
 Гамлеты в хаки стреляют без колебаний...
 Кровавая бойня пятого акта – предвидение концлагеря...
 Джеймс Джойс, «Улисс»*

*А бояться-то надо только того,
 Кто скажет: «Я знаю, как надо!»
 Гоните его! Не верьте ему!
 Он врёт! Он не знает – как надо!
 Александр Галич*

Пьесу можно заключить в такие рамки. Одна из первых сцен – прием у нового короля Клавдия еще до того, как Гамлет узнаёт, что король убил брата. Король ведет себя благожелательно со всеми, и особенно с Гамлетом, которого он просит не уезжать обратно в университет; но Гамлет уже враждебен. Король отправляет послов в соседнюю Норвегию, где молодой Фортинбрас собирает войско, чтобы – нет, не завоевать Данию, Б-же упаси, – а только отвоевать земли, потерянные его отцом в пользу Дании. Это представляется Клавдию недопустимым, и он с легкостью отбивается от претензий соседа.

Чем кончается пьеса? Горой из восьми трупов, не считая отца Гамлета, в порядке очередности: Полоний, Офелия, Розенкранц, Гильденстерн, королева, король, Лаэрт, сам Гамлет. (Джойс почему-то включает и девятое тело – сына Шекспира Гамнета, умершего в возрасте 11 лет в 1596 г., еще до написания пьесы.) Все трупы – результат деятельности Гамлета. Дания – без правительства и элиты, и вся страна автоматически падает в руки проходящему мимо Фортинбрасу. При этом за него как за правителя подает свой голос и умирающий Гамлет, тем самым полностью предавая отца, который вышел на смертельный бой с отцом Фортинбраса.

Если бы это было все, то пьеса не отличалась бы существенно от, скажем, кровавого «Гита Андроника» и, во всяком случае, не была бы центром и шедевром мировой литературы. Но от начального события к конечному нас ведет мощный, яркий, противоречивый характер Гамлета, в котором в большей или меньшей степени отражаемся все мы. Иван Тургенев в статье «Гамлет и Дон-Кихот» (1860), обратив внимание на то, что оба произведения были опубликованы в один год, полагает, «что в этих двух типах воплощены две коренные, противоположные особенности человеческой природы, ... что все люди принадлежат более или менее к одному из этих двух типов...»

Уже лет пятнадцать я удивляю друзей утверждением, что Гамлет – фашист, считающий, что только он знает, «как надо», и совершенно равнодушный к чужой жизни. В середине этого пятнадцатилетия я натолкнулся на поддержку Джойса, цитата из которого приведена выше. У Джойса, как и у меня, возник портрет человека, скорого на расправу, – главным образом, я имел в виду

убийства Полония, Розенкранца и Гильденстерна. Идея о связи Гамлета с концлагерями нетривиальна и не совсем понятна. Но Джойс объясняет: «Кровавая бойня пятого акта – предвидение концлагеря, воспетого Суинберном». Здесь имеется в виду стихотворение Суинберна «На смерть полковника Бенсона» (1901), где восхвалялось поведение англичан в войне с бурами. Двустышие Суинберна:

*Врагов закланных матери и дети,
Которых кроме нас никто б не пощадил...*

было воспринято как апология концлагерей, устроенных англичанами для гражданского населения. Я же вижу в словах Джойса, что и ему в Гамлете привиделся фашист, хотя это слово тогда еще не существовало.

Сейчас, после нового чтения, я отказываюсь от определения Гамлета как фашиста, хотя моя нынешняя оценка вряд ли окажется более благожелательной. Гамлет – не фашист, хотя бы потому, что, несмотря на все смерти, он не человек действия, а человек интроспективы. Возьмите диктаторов 20-го века – Ленина, Сталина, Гитлера, Муссолини. Думали ли вы когда-нибудь об их внутренней жизни, их колебаниях и сомнениях? Скорее всего, таковых просто не было; они не были людьми тонкой душевной организации, а были людьми довольно простых идей, но решительных действий.

Когда Гамлет убегает за Призраком, Марцелл бросает фразу, ставшую пословицей: «Какая-то в державе датской гниль» (П.). Вернувшись, Гамлет как бы отвечает на эту фразу (Л, I-5-187):

*Век расшатался – и скверней всего,
Что я рожден восстановить его!*

То есть, казалось бы, мы слышим речь не мальчика, но мужа. Заметим, что есть определенное противоречие между задачей мести и выполнением долга в восстановлении порядка и уничтожении «гнили», и может показаться странным, что Шекспир поместил эти слова именно в сцену с Призраком. Но именно это противоречие и символизирует то, чему вся пьеса посвящена: показу несостоятельности Гамлета ни в чем – ни в мести, ни в любви, ни в государственности, ни, наконец, просто в сохранении жизни – полный провал, в силу нецельности его природы. Иннокентий Анненский так охарактеризовал трагедию и ее героя:

«Я не знаю, была ли когда-нибудь трагедия столь близкая человеку, как Гамлет – Шекспиру, только близкая не в самооценке и автобиографическом... нет, а как-то совсем по-другому близкая...» «Слова Гамлета глубоки и ярки, но действия его то опрометчивы, то ничтожны и чаще всего лунатичны». «Лица, его окружающие, несоизмеримы с ним...» <Люди> «должны соответствовать идеалу, его замыслам и ожиданиям, а иначе черт с ними, пусть их не будет вовсе...» «Гамлет завистлив и обидчив...» «Признаюсь, что меня лично Гамлет больше всего интригует. Думаю также, что и все мы не столько сострадаем Гамлету, сколько ему завидуем». (Последние слова поэта мне непонятны: зависти к Гамлету я не чувствую. Кстати, американский поэт Уистен

Оден заметил: «Странно, что все стремятся отождествить себя с Гамлетом, даже актрисы, – Сара Бернар умудрилась сыграть Гамлета, и я рад сообщить, что во время спектакля она сломала ногу».)

Нет ни одного близкого к Гамлету человека, включая отца и исключая Горацио, которого он бы не предал, и нет ни одного (опять, кроме Горацио), кто пережил бы контакт с ним. Иван Тургенев пишет, что Гамлет «*весь живет для самого себя, он эгоист... Но это Я, в которое он не верит, дорого Гамлету, ... он... не находит ничего в целом мире, к чему бы он мог прилепиться душою...*»

Почему Гамлет априорно враждебен к Клавдию, еще не зная о его преступлении? Мы не можем не согласиться с королем и матерью, что тридцатилетний мужчина и влиятельный придворный не может через месяц – полтора после кончины отца оставаться столь недееспособным из-за скорби. Мы сразу увидим, что только он относится с полным неприятием быстрого брака его матери с дядей, хотя все остальные смотрят на это как на естественную государственную необходимость. Зигмунд Фрейд полагал, что основой действий Гамлета является введенное Фрейдом понятие «Эдипова комплекса» – сексуальной фантазии мужчины (осуществленной или нет) об интимных отношениях с матерью. Его ученик Эрнст Джоунз написал большое эссе под названием «Эдипов комплекс как объяснение загадки Гамлета – изучение мотива». Я бы хотел быть предельно осторожным, рассуждая о фрейдизме, в котором смыслю очень мало. Но мне представляется, что как раз Эдип этим комплексом не обладал, несмотря на брак с матерью: ему убийство отца и брак с матерью были предсказаны Роком, он от него бежал, делал все, чтобы он не осуществился, но от Рока не убежишь. Тем не менее, к нему применимы слова Тютчева:

*Пускай олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.*

Но Гамлет – совсем иное дело, и неприятие брака матери для него даже важнее мести. Только он и Призрак употребляют такие слова:

*Кровосмеситель и прелюбодей,
Он чарами ума, коварством дарований –
О, гнусный ум и дарованья, что властны
Так обольщать! – снискал постыдной страстью склонность
Моей притворно-верной королевы.*

(Первая строка – П., остальное – К.Р., I-5-42)

Нет оснований полагать, что интимные отношения между Гертрудой и Клавдием были еще до смерти старого Гамлета, – а только в этом случае можно было бы говорить о прелюбодействе; также и кровосмешение здесь ни при чем ввиду отсутствия общей крови между новыми супругами. Говорить о «похоти» (“*lust*”, по словам Призрака), как о факторе в действиях Клавдия, смешно:

Гертруде как минимум пятьдесят, и это не такой возраст, при котором страсть к ней могла толкнуть Клавдия на убийство брата и захват власти. И где он был раньше – его брат был женат на Гертруде более 30 лет?! Заметим, что никому другому этот брак не кажется необычным, и все, что сделал Клавдий, было одобрено советниками (П., I-2-9):

*С тем и решили мы в супруги взять
Сестру и ныне королеву нашу,
Наследницу военных рубежей,
Со смешанными чувствами печали
И радости, с улыбкой и в слезах...
При этом шаге мы не погнушались
Содействием советников, во всем
Нам давших одобренье. Всем спасибо.*

Мы не чувствуем, что одобрение было дано в результате страха. Никто не выражает удивления. Даже Горацио, когда он говорит, что прибыл на похороны короля, а Гамлет ему возражает: «*Хотите, свадьбу матери, сказать?*», неохотно признает: «*Да, правда, это следовало быстро*», то есть без замечания Гамлета и ему бы не пришла в голову ненормальность ситуации.

Так почему все-таки старый Гамлет был убит? Шекспир не дает намек, но давайте взглянем на это с неожиданной стороны: а не было ли политических причин, хотя бы косвенно оправдывающих Клавдия? Отец правил более 30 лет, и именно он привел датскую державу к состоянию «гнили», «расшатавшегося» века, восстановить который Гамлет чувствует себя призванным. Клавдий был избран легко – значит, старый Гамлет порядком надоел. Клавдий показывает себя умелым правителем, который ладит с подданными, и он быстро становится популярен. Не можем ли мы заключить, что явление старого Гамлета в виде Призрака было его последним вкладом в «гниль» датской державы путем побуждения его впечатлительного сына к раздору?

Подобных событий в жизни царственных династий было полным-полно. Англия за 120–150 лет до написания трагедии прошла через Войну Роз, в которой цареубийство было скорее нормой, чем исключением. Мы знаем два аналога в истории дома Романовых: свержение и убийство Петра III Екатериной II в 1762 г., когда их сыну Павлу было около 8 лет, и свержение-убийство этого Павла его сыном Александром в 1801 году. (А уж то количество мужчин, через которое прошла жизнь Екатерины, наверняка можно было бы охарактеризовать словом «похоть».) Тем не менее, и историческая наука, и народная память не очень осуждают и Екатерину, и Александра за эти два переворота-убийства. Представьте себе, что лет через десять после убийства Петра III его дух явился бы к 18-летнему Павлу, настроил бы его на месть, тот сверг бы Екатерину и воцарился бы сам. Не было бы блестящего екатерининского века, а все отрицательные проблемы правления Павла проявились бы на 24 года раньше.

Естественно задать вопрос: а почему Гамлет не наследовал отцу

и не стал королем? В шекспировской Англии уже твердо был установлен принцип наследования от отца к детям, даже к женщине – «Гамлет» был написан при Елизавете I. Но Шекспир полагал, что в Скандинавии гамлетовского времени выборы и наследование братом были обычным делом. Мы видим, что в соседней Норвегии мучается от безделья Фортинбрас, отцу которого наследовал его дядя. Правда, во время смерти отца Фортинбрас был младенцем, но когда он вырос, он мог бы получить престол, однако и ему его никто не предлагал.

Гамлету тридцать лет, но, похоже, что он отроду не сталкивался ни с одной реальной проблемой. Вообще, было два Гамлета: второй – это тот, которого мы видим, а с первым, совершенно иным, мы знакомы только по характеристике Офелии (Л., III-1-152)²:

*О, что за гордый ум сражен! Вельможи,
Бойца, ученого – взор, меч, язык;
Цвет и надежда радостной державы,
Чекан изящества, зеркало вкуса,
Пример примерных – пал, пал до конца!
А я, всех женщин жалче и злосчастней,
Вкусившая от меда лирных клятв,
Смотрю, как этот мощный ум скрежещет,
Подобно треснувшим колоколам,
Как этот облик юности цветущей
Растерзан бредом; о, как сердцу снести:
Видав бывшее, видеть то, что есть!*

(Интересно, что режиссер советского фильма Козинцев выбросил этот монолог в соответствии с его представлением, реализованным Анастасией Вертинской, что Офелия – просто дурочка. Как она в таком случае могла привлечь Гамлета?)

Из этой характеристики мы видим, что Гамлет блистал при дворе, что он был все – советчик, даже солдат, законодатель вкусов и мод, яркая и любимая другими фигура. В условиях отсутствия жизненных проблем и испытаний.

Вам случалось видеть блестящих отличников в школе, из которых не вышло ничего примечательного в жизни, и такого «троечника», как Черчилль, который стал всем, что обещал обществу молодой Гамлет? Но вот Гамлет сталкивается с первой проблемой его жизни – и решает он ее топорно и, в общем, бесцельно.

Гете писал о Гамлете, что «прекрасное, чистое, благородное, высоконравственное существо, лишённое силы чувства, делающей героя,

² Этот монолог Офелии в переводе Лозинского, по моему мнению, в поэтическом отношении превосходит перевод Пастернака. Например, последняя строка у Шекспира: «*To have seen what I have seen, see what I see!*» у Лозинского звучит так: «*Видав бывшее, видеть то, что есть!*» Переводчик сохранил не только точность оригинала, но также и его мощь – по сравнению с довольно банальной концовкой у Пастернака: «*Куда все скрылось? Что передо мной?*»

гибнет под бременем, которого он не мог ни снести, ни сбросить. Всякий долг для него священен, а этот непомерно тяжел. Возможно, и советники государства видели, что Гамлет слаб и неопытен, потому и предпочли предоставить ему срок ученичества при короле? Гамлет же чувствует эту неполноценность, и она ему обидна. Для исправления государства ему нужно влияние на политику – то, что сразу Клавдий предложил Гамлету как своему советнику и наследнику (К.Р., I-2-115):

*Тебя мы просим: здесь остаться согласись
На утешение и радость нашим взорам,
Как первый из вельмож, племянник наш и сын.*

Каково подлинное отношение Клавдия к Гамлету? У нас нет оснований сомневаться в начальной благожелательности. Гамлет – сын его жены, детей у них с Гертрудой уже не будет, и Клавдий не может предполагать другого наследника. Но Гамлет отвечает холодно, а затем он встречается с Призраком отца, и сотрудничество с Клавдием для него исключается.

Между первым и вторым актом проходит два месяца, и король и королева не понимают продолжающейся враждебности Гамлета. К тому же он изображает помешательство. Правители вызывают на помощь школьных друзей Гамлета, Розенкранца и Гильденстерна, и просят о помощи в посредничестве. Королева (П., II-2-19):

*Он часто вспоминал вас, господа.
Я больше никого не знаю в мире,
Кому б он был так предан.*

Розенкранц и Гильденстерн являются к принцу, он вначале принимает их с восторгом и быстро добивается признания, что они не заехали случайно, а за ними было послано. Однако им не удается узнать ничего, что они могли бы рассказать королю. Но у Полония появляется идея, что Гамлет сошел с ума из-за любви к Офелии. Он заставляет дочь попасться Гамлету на глаза, пока он и король подслушивают. У Офелии нет выбора, кроме как исполнить приказ отца.

Перед этой встречей наш герой произносит монолог «Быть или не быть». Уже в первом акте и до встречи с Призраком он говорит о самоубийстве, в совершении которого ему мешает запрет церкви, и сейчас он повторяет ту же мысль. Не вчитавшись, я одно время думал, что речь идет о том, быть или не быть человеком, достойной личностью. А это всего лишь рассуждение о том, нужно ли кончать счеты с жизнью, так ничего в ней не совершив и даже не отомстив за отца, или все же пожить еще (П., III-1-56):

*Быть или не быть, вот в чем вопрос.
Достойно ль смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивление
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться.*

То есть Гамлет не мыслит себе иного «достойного»

сопротивления судьбе, кроме ухода из жизни? А разве он не обещал нам взять судьбу в свои руки и «восстановить» распатавшийся век?

*Это ли не цель
Желанная? Скончаться. Сном забыться.
Уснуть... и видеть сны? Вот и ответ.
Какие сны в том смертном сне приснятся,
Когда покров земного чувства снят?
Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет
Несчастьям нашим жизнь на столько лет.*

Мы продолжаем жить только из-за страха смерти?

Дальше:

*А то кто снес бы униженья века,
Неправду угнетателя, вельмож
Заносчивость, отринутое чувство,
Нескорый суд и более всего
Насмешки недостойных над достойным,
Когда так просто сводит все концы
Удар кинжала! Кто бы согласился,
Кряхтя, под ношей жизненной плестись,
Когда бы неизвестность после смерти,
Боязнь страны, откуда ни один
Не возвращался, не склоняла воли
Мириться лучше со знакомым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться!*

Здесь Гамлет переключается с героем 66-го сонета, что неудивительно, ибо у обоих один автор:

*Устал я жить и умереть хочу,
Достоинство в отрешеньи видя рваном,
Ничтожество – одетое в парчу,
И Веру, оскорбленную обманом,
И Девственность, поруганную зло,
И почестей неправых омерзенье,
И Силу, что Коварство оплело,
И Совершенство в горьком униженьи,
И Прямоту, что глупой прослыла,
И Глупость, проверяющую Знание,
И робкое Добро в оковах Зла,
Искусство, присужденное к молчанью.*

*Устал я жить и смерть зову скорбью.
Но на кого оставляю я тебя?!*

(Перевод А. М. Финкеля)

Один автор, но не один герой. Герой сонета остается жить, чтобы не покинуть близкого друга, а у Гамлета таких соображений нет, хотя рядом Офелия ждет его внимания. Гамлет же просто боится неизвестности после смерти:

*Так всех нас в трусов превращает мысль
И вянет, как цветок, решимость наша*

*В бесплодые умственного тупика.
Так погибают замыслы с размахом,
Вначале обещавшие успех,
От долгих отлагательств.*

Еще одна, но фундаментальная разница: герой сонета – мещанин, может быть аристократ, но явно без власти изменить мир, а Гамлет – Принц Датский, которого Клавдий приглашал почти в сопровители и который обещал избавить датскую державу от «гнили». В конечном же счете он «избавляет» державу от всей элиты, включая себя.

Появляется Офелия. Гамлет, возможно, подозревает подслушивание, о котором Офелия не осмеливается ему сообщить, и в любом случае он не может ожидать, что дочь не расскажет отцу о разговоре. Ведет он себя как мелкий садист и крупный подлец. Где-то до начала пьесы он активно ухаживал и дарил подарки, и до нас дошло послание (Л., II-2-116):

*Не верь, что солнце ясно,
Что звезды – рой огней,
Что правда лгать не властна,
Но верь любви моей.*

Теперь он холодно сообщает ей, что никогда ее не любил, и советует идти в монастырь. Назавтра, на представлении, в ответ на приглашение матери сесть рядом с ней бросает: «Нет, матушка. Здесь есть магнит попритягательней», унижает Офелию, ложится у ее ног, говорит, как это хорошо – лежать между (!) ног юной девушки. Я не знаю, существовал ли в шекспировское время институт пощечины, но Офелия же не может отпустить ее принцу, ведь он Принц Датский! Однако ее недовольство очевидно. А когда Офелия замечает, что пролог был коротковат, Гамлет отпускает: «Как женская любовь» (Л., III-2-152) – это после вчерашнего-то объяснения! Он хамит в ответ на любую ее реплику.

Были ли их брак возможен? И Полоний, и Лаэрт подчеркивают, что Офелия по своему рождению не может быть женой принца и будущего короля. Сами король и королева не высказывают своего отношения к возможности такого брака до смерти Офелии, когда, посыпая ее могилу цветами, королева говорит, что мечтала осыпать цветами их брачную с Гамлетом постель.

В том же подслушанном разговоре Гамлет бросает Офелии (Л., III-1-122): «Я очень горд, мстителен, честолюбив; к моим услугам столько прегрешений, что мне не хватает мыслей, чтобы о них подумать, воображения, чтобы придать им облик, и времени, чтобы их совершить».

Король, единственный в пьесе персонаж, кто не уступает Гамлету по интеллекту, все это слышит и совсем не верит ни в сумасшествие, ни в идею Полония о несчастной любви. А верит он тому, что Гамлет хочет трон. Тут уже ни о каком сотрудничестве речи быть не может, и Клавдий говорит Полонию, что пошлет Гамлета в Англию для сбора дани, ибо «безумье сильных требует надзора» (Л., III-1-190). Пока еще он не предполагает, что Гамлет

поедет не один, и у нас нет оснований думать, что уже в это время Клавдий думает об убийстве Гамлета.

Теперь главная цель Гамлета – убийство Клавдия, но убийство короля без доказательства его вины будет встречено протестом и возмущением и не доставит Гамлету корону. У Гамлета нет твердой уверенности в словах Призрака. В то время верили, что дух мог принять форму любого человека, в том числе и отца Гамлета. Тут удачно подворачиваются актеры, и Гамлет решает проверить слова Призрака театральной провокацией (П., II-2-590):

*Я где-то слышал,
Что люди с темным прошлым, находясь
На представленье, сходном по завязке,
Ошеломлялись живостью игры
И сами сознавались в злодеянье.
Убийство выдает себя без слов,
Хоть и молчит. Я поручу актерам
Сыграть пред дядей вещь по образцу
Отцовой смерти. Послежу за дядей –
Возьмет ли за живое. Если да,
Я знаю, как мне быть. Но может случиться,
Тот дух был дьявол. Дьявол мог принять
Любимый образ. Может быть, лукавый
Расчел, как я устал и удручен,
И пользуется этим мне на гибель.
Нужны улики поверней моих.
Я это представленье и задумал,
Чтоб совесть короля на нем суметь
Намеками, как на крючок, поддеть.*

Так. Но Гамлету нужен свидетель, который знал бы о смерти его отца то, что знает он сам, а потом мог бы подтвердить. Конечно, это Горацио. Гамлет предупреждает его и просит внимательно проследить за реакцией короля.

Провокация, казалось бы, блестяще удалась. В момент, когда после театрального «убийства» сообщается о предстоящей женитьбе «убийцы» на «вдове», взбешенный Клавдий покидает театр, и спектакль прекращается. Наблюдения Горацио сходятся с тем, что ожидал Гамлет. Айзек Азимов пишет, что «*весь двор видел поступок короля, и когда им все объяснят, ни у кого не останется сомнения в вине короля. Теперь Гамлет может его убить в любой момент*».

Совершенно не так.

Правду знает только сам Клавдий, который, конечно, потрясен тем, откуда она стала известна Гамлету. А двор видел лишь тяжелое оскорбление короля Гамлетом, обвинившим его необоснованно в убийстве брата в отместку за лишение его трона и женитьбу на матери. Все – Полоний, мать, Офелия, Розенкранц и Гильденстерн – видели только это, и у них нет к королю ничего, кроме сочувствия, поскольку он – очевидная жертва беспричинной злобы Гамлета.

Розенкранц и Гильденстерн приходят к Гамлету с поручением от матери – она зовет к себе сына. Они все еще хороши с принцем, и

именно здесь Розенкранц, клянясь в дружбе, умоляет принца сообщить ему о причинах своего расстройств (П., III-2-332): «Добрейший принц! В чем причина вашего нездоровья? Вы сами отрезаете путь к спасению, пряча свое горе от друга».

Казалось бы, вопрос не вполне уместен, и для Гамлета самое время его отшить, но тот вдруг с полной откровенностью отвечает, называя отказ от короны главной причиной недовольства:

Г а м л е т
Я нуждаюсь в служебном повышении.

Р о з е н к р а н ц
Как это возможно, когда сам король
назначил вас наследником датского престола?

Г а м л е т
Да, сэр, но "пока трава вырастет..." – старовата поговорка.

(Имеется в виду поговорка: «Пока трава вырастет, лошадь с голоду умрет».) Гамлету тридцать. Сколько лет ему останется для правления, когда король умрет?

Гильденстерн тоже пытается уверить Гамлета в дружбе, но тот берет флейту у музыкантов и публично унижает друга: дескать, и не думайте играть на мне, коль уж на флейте не умеете, хотя именно он, принц, безжалостно манипулирует всеми, но ему-то можно, ведь он – Принц Датский! Затем Розенкранц и Гильденстерн встречаются с королем, который открыт в своей ненависти к племяннику, и мы впервые слышим от двух друзей сочувствие ему. Но даже сейчас они остаются лояльными к Гамлету и, Б-же упаси! – не выдают притязания Гамлета на корону. Однако у Клавдия не может быть сомнения – Гамлет ведет борьбу не на жизнь, а на смерть. Розенкранц и Гильденстерн принимают задание сопровождать Гамлета в Англию, но им не может быть известно, что в запечатанном письме они повезут смертный приговор Гамлету.

Любопытно, а что было бы, если бы Гамлет до спектакля откликнулся на их настойчивые просьбы и рассказал им то, что знает Горацио? Возможно, их поведение было бы иным, а предположение Азимова оправданным. Но Гамлет упустил такую возможность.

Гамлет идет к матери. По дороге он проходит мимо молящегося беззащитного короля и беспричинно отказывается от убийства, потому что, дескать, тот молится и, стало быть, пойдет на небо, если умрет в этот момент. Такую причину называет зрителю Гамлет, который до сих пор не проявлял особой религиозности. Теперь же ему мало убийства, он хочет, чтобы Клавдий попал в Ад! Интересно, а если бы на месте Гамлета были Лаэрт или Фортинбрас, со знанием и правами Гамлета, – как вы думаете, сколько бы им понадобилось времени для утверждения своих прав, мести и захвата престола? Несколько дней, вряд ли больше. Но Гамлет – человек предельной нерешительности и импульсивности: всего минут через десять он, не задумываясь и не проверяя, убьет Полония, приняв его за короля.

Мы приходим, возможно, к самой сильной сцене (III-4) – у матери, и здесь Эдипов комплекс Гамлета расцветает, а библейских заповедей «*Почитай отца твоего и мать твою*» и «*Не убивай*» нет и в помине.

Гамлет входит и сразу агрессивно нападает. В один из первых моментов королева пугается, зовет на помощь, ей откликается спрятавшийся Полоний, и в мгновение ока он убит шпагой Гамлета. Казалось бы, на этом преступлении разговор должен быть прерван, и мать должна криком звать на помощь. Этого не происходит, и разговор, если можно так назвать происходящее, продолжается.

Гамлет сравнивает портреты двух братьев и говорит о неизмеримом превосходстве отца – с его точки зрения; истины мы не знаем. Вообще – где вы слышали о сыне, обсуждающем сальным языком постельную жизнь матери, да еще ей в лицо (Л., III-4-92):

*Нет, жить
В гнилом поту засаленной постели,
Варясь в разврате, нежась и любясь
На куче грязи...*

А мать просто не может понять, в чем она виновата. Но как же, она же вышла замуж за убийцу мужа! А вот этого-то ей Гамлет и не говорит.

Нет, говорит, и даже дважды, только это нельзя принять всерьез. Первый раз – в момент после убийства Полония (П., III-4-26):

*К о р о л е в а
Как ты жесток! Какое злодеянье!*

*Г а м л е т
Не больше, чем убийство короля
И обрученье с братом мужа, леди.*

*К о р о л е в а
Убийство короля?*

*Г а м л е т
Да, леди, да.
(Откидывает ковер и обнаруживает Полония.)
Прощай, вертявый, глупый хлопотун!
Тебя я спутал с кем-то поважнее.
Ты видишь, суетливость не к добру.*

Он сказал «убийство короля», но тут же отвлекся на Полония, и надолго. Так о серьезном убийстве не говорят. Это что-то вроде угрозы при домашнем скандале: «Я убью тебя!» Или: «Он убил ее своими упреками!»

И второй раз – не лучше (III-4-96):

*A murderer and a villain,...
A cutpurse of the empire and the rule
That **from a shelf** the precious diadem stole
And put it in his pocket!*

Почему я здесь даю английский текст? Чтобы привести пример

того, насколько важна каждая деталь. Лозинский упустил едва заметную, но очень важную тонкость:

*Убийца и холоп, ...
Вор, своровавший власть и государство,
Стянувший драгоценную корону
И снувший ее в карман!*

Зато ее подметил Пастернак:

*С убийцей и скотом, ...
С карманником на царстве. Он завидел
Венец на полке, взял исподтишка
И вынес под полою.*

Мы видим, что Клавдий не *стянул* корону с головы прежнего короля и не надел ее на себя сразу (в фигуральном смысле, конечно), а сначала корону, то есть власть, *положили на полку*. Это означает, что новый король должен был пройти через выборы, во время которых корона находилась на хранении. Украсть ее в таком положении невозможно, ибо речь идет не о физической вещи, а о легитимации власти. То, что она досталась Клавдию, а не Гамлету, принц злобно и необоснованно называет *карманным воровством*.

В этой дикой смеси необоснованных обвинений человеком, действующим в состоянии амока, еще одно обвинение – в убийстве – пропадает так же, как оно пропало в первый раз. А ведь Призрак специально просил Гамлета щадить мать!

И тут появляется Призрак.

Появляется ли? Мне кажется, что никто из критиков не заметил существенной разницы между его появлением в первом акте и сейчас. Тогда он был «реален»: приходил несколько раз, его видели все, кому случилось оказаться в том месте в то время. Сейчас его видит только Гамлет, и разговор Гамлета с кем-то, кого мать не видит, служит для нее, а наверно и для нас, подтверждением ненормальности ее сына. Это просто воображение Гамлета. Тем не менее, «Воображение» останавливает дикую атаку на мать и напоминает Гамлету о мести королю. Королева сообщает мужу о полном безумии сына. Оден так характеризует ситуацию:

«В пьесах елизаветинцев, если человеку причинили зло, но пострадавший заходит в мести слишком далеко, то Немезида поворачивается к нему спиной – примером чего может служить Шейлок. То, что воспринималось как долг, становится вопросом страсти и ненависти. Отвращение, омерзение, которое Гамлет испытывает к матери, представляется совершенно несоразмерным ее фактическому поведению».

Во время разговора с королевой Гамлет проявляет минутную видимость раскаяния по поводу Полония («А о нем, о человеке этом, сожалею»), но тут же опять оскорбляет погибшего, прячет тело и издевается над королем (П., IV-3-17):

*К о р о л ь
Гамлет, где Полоний?*

Г а м л е т
На ужине... Не там, где ест он, а где едят его самого.

К о р о л ь
Где Полоний?

Г а м л е т
*На небе. Пошлите посмотреть...
 Если он не съестся раньше месяца,
 вы носом почувете его у входа на галерею.*

По дворцу бродит неуправляемый, вооруженный, чрезвычайно опасный и, наверно, психически больной человек. В древнем мире гражданина могли казнить за убийство раба, а здесь король и королева вынуждены покрыть убийство принцем премьер-министра. Так можем ли мы упрекнуть Клавдия, который не видит более срочной задачи, чем избавление от этой угрозы?

В отличие от Розенкранца и Гильденстерна, Гамлет догадывается о содержании письма в Англию, крадет его, вскрывает и убеждается, что это приказ о его казни. Он заменяет его приказом о казни Розенкранца и Гильденстерна, без покаяния – как ему важно отправить своих противников в Ад после смерти! Рассказывает он об этом Горацио, почти шутя, с невыносимым высокомерием (Л., V-2-57):

*Что ж, им была по сердцу эта должность;
 Они мне совесть не гнетут; их гибель
 Их собственным вторженьем рождена.
 Ничтожному опасно попадаться
 Меж выпадов и пламенных клинков
 Могучих недругов.*

Они, видите ли, люди *“of baser nature”* – «ничтожные». Они, что, сами лезли в эту ситуацию? Не рассказали ли они сразу Гамлету, что их вызвал король? Они, подданные короля, были им вызваны, чтобы помочь ему разобраться с Гамлетом, и делали все возможное, чтобы не потонуть в манипулировании между двумя сторонами. Нигде по-крупному они Гамлета не предают. За что им смертная казнь? Вот отношение Гамлета даже к образованным людям его круга, которые классом пониже! Но он хорош с людьми, которые много ниже его на социальной лестнице: с солдатами, могильщиками.

Тургенев писал, что *«Гамлет много выигрывает в наших глазах от привязанности к нему Горацио»*. Так-то оно, может, и так, но Горацио – последователь и ученик, ни разу не осмелившийся возразить учителю. Кино- и театральные режиссеры волен использовать паузы как ему угодно, и в одном фильме я видел, как Горацио скривил рот в явном отвращении и осуждении. Но у Шекспира этого нет, и единственное, что интересует Горацио, это как Гамлет сумел запечатать письмо. И тут мы узнаем, что у «мальчика» в руках есть государственная печать, оставшаяся от отца!

Откуда она у него? Гамлет говорит (П., V-2-49):

*Со мной была отцовская, с которой
Теперешняя датская снята.*

Это невероятно, чтобы отец, который не собирался умирать, позаботился об изготовлении копии и дал ее сыну с собой в Германию. Значит, когда для Клавдия делали нынешнюю печать, никто не подумал об уничтожении старой, и Гамлет взял ее. Как сувенир и память об отце? Отнюдь. Чтобы при нужде использовать ее, действуя в качестве правителя. Так кто же «взял исподтишка и вынес под полою» власть? Кто здесь «карманник»?

Из этого следует, что Гамлет внутренне никогда не признавал избрания Клавдия королем, о чем он и говорит Горацио (Л., V-2-64):

*Не долг ли мой – тому, кто погубил
Честь матери моей и жизнь отца,
Стал меж избраньем и моей надеждой,
С таким коварством удочку закинул
Мне самому, – не правое ли дело
Воздать ему вот этою рукой?*

Теперь, по крайней мере, у Гамлета есть письменное свидетельство намерения Клавдия его убить, которое он мог бы использовать, требуя трон для себя.

Сцена у могилы. Хочется задушить Гамлета собственными руками. Он, видите ли, любил Офелию больше, чем «сорок тысяч братьев»! Он презирает горе Лаэрта, он даже вызывает его на дуэль! В этот момент он или действительно сумасшедший, или негодяй, на котором пробу ставить негде. Потом извиняется, объясняя свою грубость сумасшествием, о котором он знает, что он его симулировал (кроме как в сцене у матери).

Я пропущу поединок и интригу с отравленным клинком и ядом в вине. Но довольно нелепым выглядит внезапное предсмертное раскаяние Лаэрта (П., V-2-308):

*Я гибну сам за подлость и не встану.
Нет королевы. Больше не могу...
Всему король, король всему виновник!*

Король? Это король, легко и почти шутя, убил Полония, а затем надругался над его телом?! Король довел Офелию до самоубийства?! Почему вдруг Лаэрт как бы прощает Гамлету смерть отца и сестры?

Гамлет умирает, подавая голос за Фортинбраса, и его последние слова: «Дальше – тишина». Горацио говорит (П., V-2-349): «Разбилось сердце редкостное», а Фортинбрас приказывает (П., V-2-385):

*Пусть Гамлета к помосту отнесут,
Как воина, четыре капитана.*

Редкостное сердце? Кого это сердце грело? Воин? В каких боях? Разве что в том смысле, что «Гамлеты в хаки стреляют без колебаний»?

Гете, по словам А.Аникста, свою характеристику Гамлета завершил поэтическим сравнением: это все равно, – писал он, – как

если бы дуб посадили в фарфоровую вазу, корни дуба разрослись, и ваза разбилась. Но не нам, людям, пережившим 20-й век, симпатизировать оранжерейной жизни в фарфоровой вазе. Мне скорее приходит на ум подобная метафора из «Исповеди» Руссо: «Хорошо или дурно сделала природа, разбив форму, в которую она меня отлила, об этом можно судить, только прочтя мою исповедь». Свободный человек не должен жить в вазе или форме, а потому природа ее и разбивает, чтобы он мог сам найти свои пределы. Как, например, Фауст.

Вернемся к Эдипу. Уже старый и слепой изгнанник, все еще гонимый, он понимает, что был слишком строг к себе:

*Ответствуй мне: когда отцу вещанье
Лихую смерть от сына предрекло –
Заслуживаю я ли в том упрека?
Ни от отца тогда еще не принял
Зародыша грядущей жизни я,
Ни от нее, от матери моей.
Затем, родившись, бедственный подвижник,
Отца я встретил – и убил, не зная,
Ни что творю я, ни над кем творю;
И ты меня коришь невольным делом!..
Затем, тот брак... и ты не устыдился
Сестры родной несчастье разглашать.*

.....
*Не потерлю я, чтоб и в их глазах
Меня порочил ты упреком вечным,
Что мать свою познал я в брачном ложе
И пролил кровь священную отца.
Скажи мне, праведник: когда б тебя –
Вот здесь, вот ныне, враг убить задумал, –
Выпытывать ты стал бы, кто такой он,
И не отец ли он тебе – иль быстро
Мечом удар предупредил меча?*

(«Эдип в Колоне», пер. Ф. Ф. Зелинского.)

Фаддей Зелинский, известный эллинист и переводчик начала 20-го века, задает вопрос: за что страдает Эдип? Он находит ответ только в плане эстетическом: «Горе Эдипу, павшему жертвой рока; но благо человечеству, сумевшему создать величественные образы его жизни, борьбы и гибели».

И я скажу: Гамлет страдал, он прошел по жизни без тепла и радости, никого не ошастливив, никого не согрев, ничего не создав, и горе ему! Но мы, читатели, имели бы право на безграничное осуждение, если бы на тургеневской шкале Дон Кихот – Гамлет стояли бы ближе к Дон Кихоту. А мы не стоим. Мы могли бы бросить камень, если бы были безгрешны сами. Но мы небезгрешны. И потому, перефразируя Зелинского, я скажу: «Горе павшему Гамлету, но благо Шекспиру, сумевшему создать величественные образы его жизни, борьбы и гибели».



Юрий Солодкин – родился и всю жизнь до отъезда в Америку прожил в Новосибирске. Прошел все ступени научного сотрудника – от аспиранта до доктора технических наук, профессора. В Америке с 1996 года. Работает в метрологической лаборатории в Ньюарке. Рифмованные строчки любил писать всегда, но только в Америке стал заниматься этим серьезно. В итоге, в России вышло семь поэтических сборников.

Его божеством было Слово

Человек рождается поэтом, еще не зная ни языка, ни предназначения, и только много позже, когда этот человек научится говорить и писать, в нем включается при наличии каких-то жизненных обстоятельств, самых разных у разных поэтов, удивительный механизм сочинения стихов. Далеко не всегда это происходит. Многие проживают жизнь, не зная своего Божьего дара.

Он родился и стал поэтом. Очень непростая судьба вознесла его на высокий пьедестал лауреата Нобелевской премии, обеспечивший ему мировую славу. Тут же посыпались широкие публикации его стихов и эссе и многочисленные интервью для удовлетворения любопытства читающих масс. Из воспоминаний его друзей и из литературных исследований его творчества уже может быть составлена солидная библиотека. Мне, привыкшему с прогрессивным сомнением относиться к трактовкам и комментариям, захотелось самому обратиться к первоисточнику и понять (или не понять), что есть поэт Иосиф Бродский. Я исходил только из того, что написано или сказано самим поэтом. В дальнейшем тексте выделенные курсивом слова Бродского перемежаются с моим ощущением, с моим пониманием этих слов.

Естественно, меня как читателя изначально интересовало, как поэт отвечает на вопросы, возникающие в моей собственной голове. С одной стороны, это то, что в философии называется метафизикой, рассуждающей о первопричинах всего существующего, о том, что вне опыта и поэтому предполагает игру воображения, не исключаящую мистику. Тут поэту, как говорится, и карты в руки. С другой стороны, мне, рожденному в тот же год Дракона, что и поэт, и тоже от еврейских родителей, было любопытно, как это повлияло – и повлияло ли – на творчество поэта. Эти две стороны мне были интересны в первую очередь, и тем, как они мне открылись, я решил поделиться.

Его божеством было Слово. Вся его поэзия – это поклонение

Слову. Мы вторичны, Слово первично. Об этом Бродский пишет и говорит постоянно:

«...Я сказал бы, что поэт в конечном счете поклоняется только одному, и это одно не выразить ничем, кроме слов, короче, это... язык.

...мы считаем, что язык – орудие поэта. Ровно наоборот: поэт – орудие в руках языка, ибо язык существовал до нас и будет существовать после нас. Что касается меня, если бы я начал создавать какую бы то ни было теологию, я думаю, это была бы теология языка. Именно в этом смысле Слово для меня – это нечто священное.

...Детская привязанность к языку ... завершается для взрослого человека преклонением перед поэзией как формой высшей зрелости данного языка.

...Многие вещи определяют сознание помимо бытия, одна из таких вещей – язык.

... религиозное сознание нуждается в языке ... для молитвы. Вполне возможно, что будучи голосом человеческого сознания, язык вообще во всех его проявлениях и есть молитва.

...Поэт всегда знает, что то, что в просторечии именуется голосом Музы, есть на самом деле диктат языка; что не язык является его инструментом, а он – средством языка к продолжению своего существования.

...К чему поэт действительно прислушивается – это к языку: именно язык диктует ему следующую строчку.

...У поэта есть только один долг перед обществом: писать хорошо. Собственно, это долг не столько перед обществом, сколько по отношению к языку. Поэт, долг этот выполняющий, языком никогда оставлен не будет.

...Язык выталкивает поэта ... туда, откуда язык пришел, туда, где в начале было Слово или различимый звук.

...дух, ищущий плоть, но находящий слова. (Это о Мандельштаме, но то же самое он мог бы сказать о себе. – Ю.С.).

... поэзия не развлечение и в определенном смысле даже не искусство, но наша ... генетическая цель, эволюционный ... путеводитель. И в момент чтения вы становитесь тем, что вы читаете, вы совпадаете с состоянием языка, которое зафиксировано в стихотворении.

...Я родился в России и в ее языке.

...Единственное, во что я действительно верю, что дает мне опору в жизни – язык. Если бы мне пришлось создавать Бога для самого себя, кого-то, кто безраздельно правит, это был бы русский язык. Во всяком случае, русский язык был бы его важной частью.

...Самое святое, что у нас есть, – это, может быть, не наши иконы, и даже не наша история – это наш язык».

Можно продолжать и продолжать цитировать. Все творчество Бродского пронизано обожествлением Слова, поклонением Языку. Но поэту мало поместить язык в начало начал, наделить его независимой от человека духовной мощью. Бродский все

говорит о материальности языка:

«...Язык есть ... первая линия информации неодушевленного о себе, предоставленная одушевленному. Или ... язык есть разведенная форма материи. Создавая из него гармонию или даже дисгармонию, поэт, в общем-то бессознательно, перебирается в область чистой материи ...

...Помимо своей функции голоса сознания язык еще и самостоятельная стихия, способность которой сопротивляться ... выше, чем у сознания как такового».

Бродский приписывает языку невероятную внутреннюю силу, борьбу внутри себя, где сосуществуют все грани мироздания, где воистину реализует себя единство и борьба противоположностей. Имя этой силы – *«...всеядная прозорливость языка, которому в один прекрасный день становится мало Бога, человека, действительности, вины, смерти, бесконечности и Спасения, и тогда он набрасывается на себя».*

Набрасывается на себя, сжирает себя до бессмыслицы, до нелепого набора звуков, отражающих безумный хаос и никчемность существования.

Бродский не может смириться с тем, что понимание поэзии – это удел избранных:

«...Поэзия – самая высшая форма высказывания в любой культуре. Отказавшись от чтения стихов, общество обрекает себя на низшие речевые стереотипы в устах политика, бизнесмена или шарлатана, т.е. на собственные речевые возможности. Другими словами, оно лишается своего эволюционного потенциала, ибо то, что отличает нас от животных, это дар речи. Обвинения, то и дело предъявляемые поэзии, что она трудна, темна, герметична и что там еще, говорят не столько о состоянии поэзии, сколько о том, на какой низкой эволюционной ступени задержалось общество».

Бродский иронизирует, напоминая, что он сотрудник библиотеки Конгресса, и считает своей должностной обязанностью предложить выпуск лучших стихов миллионными тиражами по доступной каждому цене. Только это, по его мнению, может спасти общество от «низших речевых стереотипов». Книга лучших стихов, считает он, должна лежать рядом с Библией в каждом гостиничном номере. Но кто будет определять, какие стихи лучшие в многотонных книжных собраниях, а теперь и в гигабайтах памяти? Бродский предлагает – тут можно смеяться – двух-трех назначенных авторитетов (интересно, кем?!). Уверен, попроси его назвать этих двух-трех, он с присущим ему чувством юмора назвал бы одного-двух. От скромности поэт Бродский не страдал.

В блестящем от начала до конца стихе «Испанская танцовщица» есть два подряд четверостишия, которые являются, на мой взгляд, ярчайшей демонстрацией, что есть язык для Бродского в своем наивысшем поэтическом выражении. Зажигательный танец, вызывающий сам по себе восторги публики, для поэта – всё: все времена в одном мгновении, всё пространство в одной точке:

*В нем скорбь пространства
о точке в оном,
себя напрасно
считавшем фоном.*

*В нем – всё: угрозы,
надежда, гибель.
Стремленья розы
вернуться в стебель.*

Бесконечное пространство сошлось в точку. Танцовщица – его создание, его воплощение. Пространство не фон. Оно Творец. Энергия бесконечной пустоты сублимировалась в точке, в танцовщице. Она прекрасна, но временна, мгновенна, мимолетна, и пространство скорбит по этому поводу вместе с поэтом, который тоже – его создание. В танцовщице, в ее танце – все, что нас ждет: «угрозы, надежда, гибель», и все, что прошло, что утрачено, к чему нет возврата, есть только воспоминания, которые сродни стремленью розы «вернуться в стебель». Диссонансная рифма *гибель* – *стебель* с совпадающим безударным слогом заставляет остановиться, почувствовать важность момента и отдать должное мастерству поэта по имени Иосиф Бродский.

Метафоры в коротких рубленых строчках переклещивают друг друга. Вертикаль, уходящая в Небо, мстит горизонтали, опоясывающей Землю. Разряд молнии казнит равнину, и танец уже – как «кровь из раны, побег из тела в пейзаж без рамы». Мало? Тогда вот вам еще:

*О, этот танец!
В пространстве сжатый
протуберанец
вне солнца взятый!*

И этого мало? Тогда есть еще и «Рай», и (всемирное) «тяготение», и «престол небесный»:

*виденье Рая,
факт тяготенья,
чтоб, расширяя
свои владенья,*

*престол небесный
одеть в багрянец.
Так сросся с бездной
испанский танец.*

Вот «бездной» можно уже и закончить стих. Танец, как и бездна, без дна, т.е. неисчерпаем. В нем вся Вселенная, как в капле воды – океан.

После такого стиха становится понятным мистическое ощущение автора, что строки ему диктуются сверху. Это ощущение подкрепляется кажущейся легкостью написания на одном дыхании, под сильным впечатлением от увиденного. Испанский танец в блистательном исполнении разбудил такие вселенские видения в поэте, что ему ничего не оставалось, как исполнить предназначение

и написать блистательный стих.

Слова, считал Бродский, как и люди, имеют свою судьбу, свой статус. Слово «русский» у Бродского было не национальностью, а определением к слову «язык», а слово «еврей» – несомненным поддежающим, отягченным последствиями:

«...В печатном русском языке слово "еврей" встречалось так же редко, как "пресущствление" или "агорафобия". Вообще, по своему статусу оно близко к матерному слову или названию венерической болезни. У семилетнего словарь достаточен, чтобы ощутить редкость этого слова, и называть им себя крайне неприятно... Помню, что мне всегда было проще со словом "жид": оно явно оскорбительно, а потому бессмысленно, не отягощено нюансами. ...Все это не к тому говорится, что в нежном возрасте я страдал от своего еврейства; просто моя первая ложь была связана с определением моей личности.

...Подлинная история вашего сознания начинается с первой лжи. Свою я помню. Это было в школьной библиотеке, где мне полагалось заполнить читательскую карточку. Пятый пункт был, разумеется, "национальность". Семи лет от роду, я отлично знал, что я еврей, но сказал библиотекарше, что не знаю. Подозрительно оживившись, она предложила мне сходить домой и спросить у родителей. В эту библиотеку я больше не вернулся, хотя стал читателем многих других, где были такие же карточки. Я не стыдился того, что я еврей, и не боялся сознаться в этом... Я стыдился самого слова "еврей", независимо от нюансов его содержания.

...В школе быть "евреем" означало постоянную готовность защищаться. Меня называли "жидом". Я лез с кулаками. Я довольно болезненно реагировал на подобные "шутки", воспринимая их как личное оскорбление. Они меня задевали, потому что я еврей. Теперь я не нахожу в том ничего оскорбительного, но понимание этого пришло позже».

Да простятся мне столь длинные цитаты, но они для того, чтобы вызвать некоторое недоумение. Что за «еврейские» штучки! Слово «еврей» – одно, еврей Бродский – нечто другое.

В редких интервью не возникали вопросы о еврействе Бродского, его отношении к национальным корням, к истории предков и их вере. Тем более, что в стихах Бродский практически не касался этих вопросов. Упоминаются в этом контексте обычно два произведения Бродского: «Еврейское кладбище около Ленинграда» и «Исаак и Авраам». Первое было написано Бродским в 18-летнем возрасте. Вот что он сам о нем сказал:

«...Серьезное стихотворение, потому что это кладбище. В общем, это место довольно трагическое, оно впечатлило меня, и я написал стихотворение... на этом кладбище похоронены мои бабушка с дедушкой, мои тетки и т. д. Помню, я гулял там и размышлял, в основном, об их судьбе в контексте того, как и где они жили и умерли».

*Еврейское кладбище около Ленинграда.
Кривой забор из гнилой фанеры.
За кривым забором лежат рядом
юрсты, торговцы, музыканты, революционеры.*

Для меня здесь ключевая строчка – «Кривой забор из гнилой фанеры». Не просто забвение, а наплевательское – даже больше, глумливое – отношение ко всем, кто здесь лежит, кто

*...в этом мире, безвыходно материальном,
толковали Талмуд,
оставаясь идеалистами.
Может, видели больше.
А, возможно, верили слепо.
Но учили детей, чтобы были терпимы
и стали упорны.*

Да, терпимости и упорству учили нас родители, сами прошедшие горнило испытаний, да так и не нашедшие успокоения при жизни.

*...они обретали его
В виде распада материи.
Ничего не помня.
Ничего не забывая.*

В этом парадоксе «не помня – не забывая» уже чувствуется почерк будущего поэта.

Через пять лет, в 23 года, Бродский написал поэму «Исаак и Авраам». К этому времени он познакомился с Библией, но поэмой откликнулся только на историю с жертвоприношением Исаака. Много позже на вопрос в одном из интервью: «Как, по-вашему, жертвоприношение вообще целенаправленно?» – Бродский ответит:

«Только не для меня. Все зависит от целостности вашей личности. В этом заключается смысл истории Исаака и Авраама. В ней мне было интересно (если я правильно помню, столько лет прошло), мне было интересно не то, что... (здесь не мое многоточие, а пауза Бродского, ищущего ответ. – Ю.С.) Сама по себе идея проверки на вшивость мне была не по душе, она идет вразрез с моими принципами. Если Он всевидящ, к чему проверки? Мне просто нравилась сама история, не ахти какая по смыслу и все-таки великая. Может быть, потому, что в ней было что-то от литературы абсурда».

Вот те раз! Не просто литература, а еще и абсурда! А каково обозвать богову затею «проверкой на вшивость»? Это уж вы совсем, Иосиф Александрович! И почему вам в голову не пришла простая мысль, что Богу было важно знать, готовы ли мы пожертвовать во Имя Божье своими детьми? Есть и более прозаический взгляд на эту историю – прекратить человеческие жертвоприношения, которые еще бытовали в ту пору.

В поэме «Исаак и Авраам» все от начала до конца – это фантазии автора на заданную тему. Они не имеют никакого отношения к Библии, кроме названия и факта жертвоприношения.

И СновА жертвА на огне Кричит:

Вот то, что «ИСААК» по-русски значит.

Подчеркнутые буквы образуют слово «Исаак». Их игра завораживает автора. Он обращает внимание на то, что еврейское

«Исаак» стало русским «Исак»:

*...По-русски Исаак теряет звук.
Ни тень его, ни дух (стрела в излете)
не ропщут против буквы вместо двух...*

И Авраам утратил второе «А», и в результате:

*...Будто слух
от мозга заслонился стенкой красной
с тех пор, как он утратил гласный звук
и странно изменился шум согласной.*

Разве имеет какое-то значение для поэта, что Исак-Исаак изначально Ицхак, а Авраам получил второе «А» от Бога, который тем самым изменил его судьбу, и Сарай, ставшая Сарой, родила ему сына. Бродского больше занимает игра с буквами, со словами. У него свое божество – Язык, диктующий ему строчки. В поэме много красивых образов и метафор, но ни малейшего представления о месте драмы, об ее подоплеке, о природе, на фоне которой она происходила. И в каменной иудейской пустыне, к примеру, возникают в поэме песчаные барханы. Поэту все можно, но при чем тут Библия?

Есть, мне кажется, более глубокая причина, почему именно жертвоприношение Исаака стало темой поэмы. «...Мне просто нравилась сама история...» Но судьба четырех поколений семьи от Авраама до Иосифа избилует не менее потрясающими историями. Не исключено, что на подсознательном уровне поэт сам себя ощущал жертвой. Среда отторгала его, как инородное тело, убивала его. В истории с жертвоприношением поэт отразил собственную судьбу. О чем бы ни писал поэт, он всегда пишет о себе.

Почти десять лет спустя Бродский написал «Сретение» – новозаветную историю, посвященную Анне Ахматовой. Вот что он сам сказал о ней в одном из интервью:

«...Я также написал довольно неплохую вещь о Сретении. Знаете о таком празднике? Это о переходе от Старого Завета к Новому Завету. Это первое появление Христа в Библии, когда Мария приносит его в храм. А еще это о первой христианской смерти – святого Симеона. Мне кажется, хорошо получилось».

На 32-й день после обрезания младенца, т. е. сорока дней от роду, Мария и Иосиф по традиции принесли его в Храм, где их встретили

*...Святой Симеон и пророчица Анна.
И старец воспринял младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
младенца стояли...*

Три человека. А где же Иосиф? Он отсутствует в стихе. Уверен, по одной-единственной причине. Он тезка автора, поэтому стал бы очевидным побудительный мотив к написанию стиха – Иосиф и Анна, Бродский и Ахматова, которая пророчески предрекла «рыжему» карьеру.

Неразрывна связь новорожденного сына Божьего со Старым Заветом. ...И слава Израиля в нем – говорит Симеон. И благодарный Господу за то, что сподобился увидеть лучезарного младенца, почтенный старец заканчивает свое существование во времени и уходит в небытие, ... по пространству, лишенному тверди.

Вечные категории – Время и Пространство – постоянно волнуют поэта. Наша жизнь всего лишь точка в Пространстве и мгновение во Времени. Когда в одном интервью была упомянута известная фраза Маркса, Бродский отреагировал: «Я ее переделал на "небытие определяет сознание"».

Для Бродского не столь важно, ветхозаветная история или евангельская, эллинская или римская. Все это лишь фон для осознания, что есть Человек в этом бесконечном и вечном мире. Отвечая на вопрос о роли библейских сюжетов в поэзии, Бродский говорит:

«...Самое неприятное во всем этом, когда человек пытается библейскому, в частности, евангельскому, сюжету навязать свою собственную драму. Т.е. нечто нарциссическое, эгоистическое в данном случае имеет место, да? Когда современный художник начинает выкручиваться, демонстрируя свою замечательную технику за счет этого сюжета, мне всегда неприятно. Тут вы сталкиваетесь с фактом, когда меньшее интерпретирует большее».

Может, Бродский себя и не имел в виду («мне всегда неприятно»), но поэт всегда поэт, и что бы он ни писал, он присутствует сам в любом сюжете. А уж Бродский, так в максимальной степени.

Бродский многократно подчеркивал, что не исповедует никакую религию, не принадлежит ни к одной конфессии. Тем не менее в интервью постоянно возникали вопросы о его религиозных убеждениях :

О н а. Каковы ваши религиозные убеждения?

О н. Религиозные убеждения каждого человека – это его сугубо личное дело.

О н а. Именно поэтому я об этом и спросила...

О н. Именно поэтому я ничего рассказывать не стану.

В другом интервью на вопрос: «Вы человек религиозный, верующий?» – Бродский отвечает: «Я не знаю. Иногда да, иногда нет». Далее он соглашается, что он человек не церковный, не православный и не католик. «Может быть, – продолжает любопытствовать интервьюер, – какой-то вариант протестанства?» Следует ответ:

«...Кальвинизм. Но вообще о таких вещах может говорить только человек, в чем-то сильно убежденный. Я ни в чем сильно не убежден. В протестантизме тоже много такого, что мне в сильной степени не нравится. Почему я говорю о кальвинизме, не особо даже и всерьез, потому что согласно кальвинистской доктрине человек отвечает сам перед собой за все. Т.е. он сам до известной степени свой Страшный Суд. У меня нет

сил простить самого себя. И с другой стороны, тот, кто мог бы меня простить, не вызывает во мне особенной приязни или уважения».

Вот оно как – и убеждений сильных нет, и отвечать надо самому за все, и всепрощение не вызывает приязни. Как это все сочетается друг с другом? А дальше – еще больше:

«...у меня нет ни философии, ни принципов, ни убеждений. У меня есть только нервы. Вот и все. И... вот и все. Я просто не в состоянии подробно излагать свои соображения и т.д. – я способен только реагировать. Я в некотором роде как собака, или лучше, как кот. Когда мне что-то нравится, я к этому принохиваюсь и облизываюсь. Когда нет, то я немедленно... это самое... Главный орган чувств, которым я руковожествуюсь, обоняние».

В другой раз на вопрос, можно ли сказать, что он стопроцентный безбожник, Бродский забыл, что он кот, и изложил свое кредо:

«Я не верю в бесконечную силу разума, рационального начала. В рациональное я верю постольку, поскольку оно способно подвести меня к иррациональному. ...именно здесь вас ожидают откровения на стыке рационального и иррационального. Все это вряд ли совмещается с какой-либо четкой, упорядоченной религиозной системой. Вообще я не сторонник религиозных ритуалов или формального богослужения. Я придерживаюсь представления о Боге как о носителе абсолютно случайной, ничем не обусловленной воли».

На вопрос, о чем бы он хотел поговорить с теми, кого считает своими учителями, Бродский ответил: «Много о чем. Прежде всего, это вас может удивить, о своеволии и непредсказуемости Бога...»

Противоречивы высказывания Бродского о Ветхом и Новом Завете. Это ему не в укор. Истина всегда парадоксальна. Заслуживают и внимания и уважения высказывания ищущего человека, пытающегося не принять на веру, а понять, в согласии или несогласии догматы веры находятся с тем Богом, которого он чувствует в себе самом:

«...И начинаешь ощущать, что разнообразные формы религиозных доктрин (даже чрезвычайно тебе близкие) оказываются неудовлетворительными. Они не отражают твоего внутреннего метафизического ощущения. Это особенно часто происходит с поэтами. Я не знаю, происходит ли это со мной, но, видимо, и со мной тоже».

Эта неуверенность, сомнение в собственных оценках постоянно звучат практически во всех интервью, данных Бродским. «Я люблю доводить вещи до алогичного, до абсурдного конца», – признаётся он.

«...Наверное, я христианин, но не в том смысле, что католик или православный. Я христианин, потому что я не варвар. Некоторые вещи в христианстве мне нравятся. Да, в сущности, многое».

Тут же на просьбу пояснить, что он имеет в виду, Бродский продолжает:

«Мне нравится Ветхий Завет, ему я отдаю предпочтение, поскольку

книга эта по своему духу более возвышенна и... менее всепрощающа. Мне нравится в Ветхом Завете мысль о правосудии, не о конкретном правосудии, а о Божьем, и то, что там постоянно говорится о личной ответственности. Он отвергает все те оправдания, которые дает людям Евангелие».

- Значит, - не унимается спрашивающий, - вам нравится сочетание правосудия из Ветхого Завета и сострадания и всепрощения из Нового?

«В Евангелии мне нравится то, что развивает идеологию Ветхого Завета. Вот почему я написал стихотворение о переходном этапе между этими двумя книгами (имеется в виду «Сретение». - Ю.С.). К примеру, мне нравится в Новом Завете замечание Христа, страдающего в саду, когда он говорит, что он делает то, о чем говорится в Писании».

В другом интервью о сосуществовании двух Заветов сказано еще более определенно:

«Люди на Западе не могут должным образом принять то, что в России христианство и иудаизм не настолько разделены. В России мы рассматриваем Новый Завет как развитие Старого. В каком-то смысле мы скорее изучаем оба Завета, а не поклоняемся им... (Кто это «мы», неужели весь российский народ? Бродский чуть помедлил, не погорячился ли он с этим «мы», и закончил) ...по крайней мере, я».

А вот просто заблуждение, приписывающее христианству то, что ему не принадлежит:

«По сути, есть один критерий, который не отвергнет самый тонченный человек, вы должны относиться к себе подобным так, как вы бы хотели, чтобы они относились к вам. Это колоссальная мысль, данная нам христианством».

Эта мысль была высказана еврейским мудрецом Гилелем, когда странник попросил его объяснить суть иудаизма, пока тот будет стоять на одной ноге: «Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе».

На прямой вопрос о слухах, что Бродский обратился в христианство, он резко ответил: «Это абсолютно бредовая чушь!»

Трудно объяснить отношение Бродского к синагогам. У него было полное неприятие, даже отторжение синагоги как места, где он может появиться:

«Я был в синагоге только один раз, когда с группой приятелей зашел туда по пьяному делу, потому что она оказалась рядом. Любопытства ради... Особого впечатления это на меня не произвело».

Об этом посещении вспоминает в книге о Бродском бывшая в этой «группе приятелей» Людмила Штерн. Иосиф кипел по поводу условностей. Мужчин заставили надеть на головы завязанные на концах узелками носовые платки, затем девушек не пустили в основной зал, а попросили подняться наверх. Службы не было, смотреть и слушать было нечего, и минут через десять они ушли.

Далее Людмила вспоминает, что ее муж уже в Америке стал

ортодоксальным евреем и несколько раз звал Иосифа пойти с ним на службу хотя бы в Йом-Кипур, Судный день, день искупления грехов и Высшего суда, когда многие даже нерелигиозные евреи приходят в синагогу послушать Кол Нидрей – еврейскую молитву всепрощения. «Бродский, – пишет Людмила, – пожимал плечами и говорил, что ему неинтересно и не надо: "Я, Витя, со своим ощущением Божественного ближе к Богу, чем любой ортодокс"».

Удивительна и другая история, рассказанная Людмилой Штерн. Весной 1995 года Людмила уговорила Бродского поехать с выступлениями по Америке. В некоторых городах были арендованы залы в синагогах. Многие синагоги в Америке сдают свои залы для светских мероприятий. Увидев список снятых залов, Бродский резко сказал: «Никаких синагог, пожалуйста. В синагогах я выступать не буду». Уговорить его не удалось. Устроители потеряли довольно много денег.

Загадочным (это определение Людмилы Штерн, знавшей Бродского с младых ногтей) было и отношение Бродского к Израилю. Его не единожды приглашал Иерусалимский университет для чтения лекций и выступлений с вечерами. Ему предлагалось турне по шести израильским городам на великолепных условиях. Он даже не желал это обсуждать, каждый раз просто отшучиваясь.

Понимаю, что не все можно объяснить, но не исключено, что Бродский даже в малейшей степени не хотел, боялся, что его присутствие в синагоге, даже не на службе, а на встрече с читателями, или, тем более, в Израиле, даст повод говорить о его особости, о его еврействе. Ему важно было оставаться человеком мира. Даже близкие друзья не могли его уговорить, что быть евреем и быть человеком мира – совсем не взаимоисключающие понятия.

– Какое значение для вас имеет факт, что вы еврей? Идентифицируетесь ли вы каким-то образом с этим наследством, с этой традицией? – спрашивают Бродского, и он отвечает:

«Я абсолютный, стопроцентный еврей, т.е. на мой взгляд, быть больше евреем, чем я, нельзя. И мать, и отец, и т.д. и т.д. ...Я думаю, что человек должен спрашивать самого себя прежде всего о том, честен ли он, смел, не лгун ли он – да? И только потом определять себя в категориях расы, национальности, принадлежности к той или иной вере. Если уж говорить, еврей я или не еврей, думаю, что, быть может, я даже в большей степени еврей, чем те, кто соблюдает все обряды. Я считаю, что взял из иудаизма – впрочем, не столько считаю, сколько это просто существует во мне каким-то естественным образом – представление о Всемогущем как существе совершенно своевольном. Бог – своевольное существо в том смысле, что с ним нельзя вступать ни в какие практические отношения, ни в какие сделки».

В одном интервью – стопроцентный еврей, а в другом:

«...Я, в сущности, до конца не осознавал себя евреем. ...Если вы живете в контексте тотального атеизма, не столь уж важно, кто вы – еврей, христианин или не знаю, кто еще. В каком-то смысле мне это помогло

забыть свои исторические и этнические корни...»

Следующее интервью, и опять возвращение к своей «стоцентности»:

«...С течением лет я чувствую себя куда большим евреем, чем те люди, которые уезжают в Израиль или ходят в синагоги. Происходит это оттого, что у меня очень развито чувство высшей справедливости. И то, чем я занимаюсь по профессии, есть своего рода акт проверки, но только на бумаге. Стихи очень часто уводят туда, где ты не предполагал оказаться. Так что в этом смысле моя причастность... не столько, может быть, к этносу, сколько к его духовному субпродукту, если хотите, поскольку то, что касается идеи высшей справедливости в иудаизме, довольно крепко привязано к тому, чем я занимаюсь. Более того, природа этого ремесла в каком-то смысле делает тебя евреем, еврейство становится следствием. Все поэты по большому счету находятся в позиции изоляции в своем обществе».

Тут Бродского и спросили, как он относится к строчке Цветаевой «Все поэты – жида...»

«...Именно поэтому она так сказала. Ремесло обязывает. Или ты просто плохой ремесленник. ...Их ситуации не позавидуешь. Они изгнанники. Они не нужны. Отчужденные... Русская литература изрядно проперчена еврейским присутствием. Как минимум пятьдесят процентов из тех, кто в этом веке считал себя поэтом, были евреями. ...Говоря коротко, это происходит оттого, что мы народ Книги. У нас это, так сказать, генетически. На вопрос о том, почему евреи такие умные, я всегда говорил: это потому, что у них в генах заложено читать справа налево. А когда ты вырастаешь и оказываешься в обществе, где читают слева направо... И вот каждый раз, когда ты читаешь, ты подсознательно пытаешься вывернуть строку наизнанку и проверить, все ли там верно».

Как это блестяще, емко и исчерпывающе подмечено! Но вот новое интервью, и на вопрос о самоидентификации Бродский отвечает несколько иначе:

«Я... всегда старался, возможно самонадеянно, определить себя жестче, чем то допускают понятия "раса" или "национальность". Говоря иначе, из меня плохой еврей. Надеюсь, что и плохой русский. Вряд ли я хороший американец. Самое большее, что я могу о себе сказать: я есть я, я писатель».

«Я есть Я!» Вам это ничего не напоминает?

Откуда этот клубок противоречий и парадоксов, самоуверенности и сомнений, глубочайших мыслей и непонятных глупостей, широких знаний и не менее широких незнаний – и все это по имени Иосиф Бродский? Самый простой ответ – таким мама родила. Каким же?

В четыре года мать научила его читать. Казалось бы, замечательный и смысленный мальчик. Но в школе возникли серьезные проблемы. «Из всех эмоций, переполнявших меня, – вспоминает Бродский, – я помню только отвращение к себе за то, что я слишком молод и многому позволяю управлять собой».

Мальчика заставляли делать то, что было для него совершенно чужеродным, что он просто не мог воспринимать. Физика и химия явились непреодолимыми препятствиями. Детский протест выражался плохим поведением. «...Меня в пятом или шестом классе несколько раз пытались исключить из школы за поведение». Когда он остался в седьмом классе на второй год, его перевели в другую школу.

«В общем, я учился в семи или шести школах до восьмого класса, из которого я просто сбежал, во-первых, потому что мне все это уже осточертело, а во-вторых, в семье не очень благополучно было с деньгами, даже крайне неблагоприятно: мать работала, отец работал, и этого едва хватало. И я пошел на завод, когда мне было пятнадцать лет, и стал работать фрезеровщиком. Сначала был три месяца учеником, потом получил разряд и работал около года. После этого начались другие пассажи: я поступил работать в морг, потому что у меня была такая амбиция – стать нейрохирургом. После начал ездить в геологические экспедиции, чтобы путешествовать. Несколько лет так прошло, а после этого, я уже не помню, работал фотографом, кочегаром, матросом, ...смотрителем маяка».

Стоп! Вполне достаточно, чтобы заключить: мальчик, а затем и юноша, не совсем адекватен окружающей среде. Психика остается самой неизученной областью медицины, и неискушенные в медицине люди ставят собственный диагноз – «не от мира сего». После возвращения из ссылки в 1965 году Бродского, который генетически не мог приобщиться к коллективному сознанию, дважды помещают в психиатрическую больницу. Он вспоминает:

«Это было самое ужасное из того, что мне довелось пережить. Действительно, ничего нет хуже. Они добиваются многого – публичного покаяния, перемены в поведении. Они вытаскивают тебя среди ночи из постели, заворачивают в простыню и погружают в холодную воду. Они пичкают тебя инъекциями, используя всевозможные подтачивающие здоровье средства».

– Вы ненавидели людей, которые проделывали с вами такое? – спрашивают его.

«Не то чтобы. Я знал, что они хозяева, а я это просто я. Люди, которые делают скверные вещи, заслуживают жалости. Понимаете, я был молодым и довольно легкомысленным. В то время у меня был первый и последний в моей жизни серьезный треугольник. Обычное дело, двое мужчин и женщина, и потому голова моя была занята главным образом этим. То, что происходит в голове, беспокоит гораздо больше, чем то, что происходит с телом».

Не ненависть к мучителям, а жалость, как у того, который всех простил, «ибо не ведают, что творят». Правда, это Бродский говорит уже в Америке, где он, наконец, обрел право быть личностью, где он, по его признанию, жил, еще находясь в Советском Союзе.

Поэт Бродский сказал про себя:

«У тебя, что касается тебя самого, есть только две вещи: твоя жизнь и твоя поэзия. Из этих двух приходится выбирать. Что-то одно ты

делаешь серьезно, а в другом ты только делаешь вид, что работаешь серьезно. Нельзя с успехом выступать одновременно в двух шоу. В одном из них приходится халтурить. Я предпочитаю халтурить в жизни».

Улыбнемся самоиронии поэта по поводу халтуры в жизни. Но жизнь это жизнь, а поэзия – божество, которое нашло в Иосифе Бродском своего ярчайшего проповедника.

